УФИМСКАЯ СИРЕНЬ
(Уфа в художественной и мемуарной литературе)

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ

Воспоминания, дневники и письма уфимцев и эвакуированных в Уфу о Великой Отечественной войне

Уфа 2020 г.

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6-444.23
В 85

Вспоминая войну [Текст]: воспоминания, дневники и письма уфимцев и эвакуированных в Уфу о Великой Отечественной войне / ред.-сост. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2020. – 282 с. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 5).

Великая Отечественная война в нашей стране не обошла ни одну семью. И хотя со времени её окончания прошло уже 75 лет, память о ней живёт не только в сердцах свидетелей, но и новых поколений.

В настоящем сборнике собраны воспоминания уфимцев и эвакуированных в Уфу, рассказывающие о военных буднях в глубоком тылу: в школах и на заводах, в детских садах и уцелевших храмах, в городских квартирах и деревенских избах. Эту картину дополняют дневники свидетелей тех лет и письма с фронта.

Редколлегия серии: В.В. Борисова, Р.А. Гильмиянова, И.О. Прокофьева, С.Н. Сабирова, Я.С. Свице, О.С. Тарасенко, П.И. Фёдоров, А.Л. Чечуха, С.Р. Чураева

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В нашей стране нет практически ни одной семьи, которой бы в той или иной степени не коснулась Великая Отечественная война. Не обошла она и Уфу. И хотя наш город находился в глубоком тылу, тысячи уфимцев воевали на различных фронтах, работали на оборонных заводах и в госпиталях. Уфа была местом эвакуации не только военных предприятий, но и гражданского населения. Особое место в пантеоне героев Великой Отечественной занимает подвиг Александра Матросова, ушедшего на фронт из Уфы. Из Уфы ушли на войну будущий народный поэт Башкортостана Мустай Карим и будущий ректор Дипломатической академии МИД, посол Советского Союза в Норвегии, Бельгии и Испании Сергей Романовский, героиня книги Е. Ильиной «Четвёртая высота» Гуля Королёва и многие другие известные и никому неизвестные защитники Родины. Уфимец Евгений Сбитнев вспоминал: «Однажды в начале войны мы с Володей [Скачиловым] оказались свидетелями такой картины. Ранним утром до восхода солнца, когда город ещё спал, по улице К. Маркса, молча, чеканя шаг, в сторону железнодорожного вокзала уходили на фронт маршевые роты. Колонна была столь велика, что, когда её головная часть приближалась к вокзалу, задние ряды ещё не вышли из солдатских казарм. В предрассветных сумерках эта нескончаемая вереница людей производила какое-то фантастическое зрелище. И вдруг негромко, вполголоса, чтобы не разбудить спящих тревожным сном жителей города, кто-то затянул походную песню. Песня плыла по рядам, а мы напряженно всматривались в лица уходящих солдат, надеясь разглядеть среди них наших дворовых и школьных друзей. В этот час мы особенно глубоко почувствовали, что такое Россия»[1]. В дальнейшем этих бойцов ждала разная участь. Как писал А. Твардовский,

Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, -
Ни приметы, ни следа[2].

[1] Скачилов В.А. О прожитом, пережитом: (записки врача) / общ. ред., вступ. ст., подготовка текста, библиогр. и примеч. Т.В. Романкевич и П.И. Фёдорова. 2-е изд., испр. и доп. Уфа, 2003. С. 39-40.

[2] Твардовский А.Т. Василий Тёркин: книга про бойца // Стихотворения. Поэмы / А.Т. Твардовский. Москва, 1971. С. 324.

В уфимской эвакуации находились один из величайших русских писателей XX века Андрей Платонов, выдающийся скульптор Сосланбек Тавасиев и будущий народный артист СССР Юрий Яковлев. В военные годы здесь родились писатель Сергей Довлатов и дирижёр Владимир Спиваков. Всё это оставило глубокий след в памяти не только самого военного поколения, но и тех, кто встретил войну в детском возрасте, а также их детей и внуков.

В настоящем сборнике собраны воспоминания, дневники и письма, как уже опубликованные ранее, так и публикующиеся впервые, не только непосредственных свидетелей военной поры, но и записи бесед и переписки с ними представителей более молодых поколений. В отличие от многих других подобных сборников здесь не так много воспоминаний о героических подвигах на полях сражений и на оборонных предприятиях. Основное внимание мемуаристов уделено будням военного времени, когда каждый день состоял из преодоления страха, уныния и чувства голода. Но были и праздники освобождения советских городов, возвращения близких людей с войны и, наконец, главный праздник – День Победы 1945 года.

Сборник открывает очерк известного уфимского врача и краеведа Владимира Скачилова «Вечеринка» о встрече бывшими одноклассниками уфимской школы № 1 нового 1943 года. Завершает очерк перечень судеб одноклассников, павших на полях сражений, переживших войну и добившихся успехов в мирной жизни.

Детский врач и журналист Татьяна Романкевич вспоминает военные годы учёбы в Башкирском медицинском институте, в котором, несмотря на голод и холод, продолжался учебный процесс. Татьяна Владимировна сохранила благодарные воспоминания о замечательных уфимских преподавателях и эвакуированных в наш город знаменитых врачах из Москвы и Киева. Характерно, что студенты-медики той поры не ограничивались одной учёбой и выживанием, а активно участвовали в литературно-художественном кружке, выступая на нём с докладами о творчестве отечественных и зарубежных писателей и художников.

Пелагея Сбитнева в своих воспоминаниях, написанных в конце 70-х – начале 80-х годов XX века, рассказывает о своей работе в детском саду кирпичного завода. В записках о рабочих буднях заведующей в годы войны, её встречах с уфимскими и московскими чиновниками и эвакуированными с Украины проходит мысль о сохранении совести и милосердия, в каких бы тяжёлых условиях человек ни оказался.

Заведующая библиотекой Ольга Белоусова публикует письма с фронта домой своего дяди – Сергея Безсчётнова. Эти письма потомка уфимских купцов, написанные в коротких перерывах между боями, пронизаны любовью к родителям и родному городу, заботой о будущем младшего брата и сестры.

Воспоминания уфимского врача Нины Григораш посвящены эвакуации раненых в начале войны из Таллина в Ленинград, рождению ребёнка в Уфе и работе в Дёмском госпитале.

В годы войны в Соловецкую школу юнг уехали из Башкирии около 120 подростков. Воспоминания о героических подвигах одного из них – уфимца Генри Таращука – записала учительница уфимской школы-интерната № 2 Валентина Гончарова.

Биохимик Эвилина Иванова в своём очерке, основанном на воспоминаниях уфимцев старшего поколения, пытается раскрыть загадку подробностей секретной эвакуации тела Ленина из Москвы в Тюмень в июле 1941 года. Была ли на этом пути остановка в Уфе, и находился ли «Объект № 1» в подвале оперного театра рядом с мединститутом?

Судьба советского военного в фашистском плену представлена в воспоминаниях Валериана Курчатова.

Известный уфимский историк и краевед Борис Попов создал целый мемуарный цикл статей, посвящённый военному времени. О героической работе врачей эвакогоспиталя № 1741 рассказывает его статья «Люди эры милосердия». Судьбе друзей и соседей, ушедших на войну с улицы Пушкина, посвящён его щемящий очерк «Стали тихими наши дворы…». В нескольких статьях-воспоминаниях Б. Попов с чувством самоиронии и глубоким историческим знанием той эпохи рассказывает о своём пути вчерашнего капризного школьника в авиационный техникум, а затем на военный завод, где он получил трудовое крещение и отработал два военных года. Трагическим судьбам дочери царского

генерала А. Артемьева и её детей, высланных из Ленинграда в Уфу, посвящена статья «Горькая судьбина».

Из книги воспоминаний Наталии Шабановой, изданной в Санкт-Петербурге в 2010 году, в этом сборнике публикуется отрывок, посвящённый периоду эвакуации в Уфу во время Великой Отечественной войны и работе в Башконторе Госбанка СССР.

Воспоминания выпускницы уфимской школы № 1 Нелли Морозовой о годах войны посвящены в основном борьбе её матери и её братьев за свои гражданские права и личное достоинство.

Очерк известной уфимской журналистки Галины Фадеевой «Витькины голуби» посвящён почти мистической истории о том, как голуби, которых держал младший брат её матери – Виктор Окунев, на три месяца опередили его похоронку и улетели навсегда в день его гибели.

Статья заведующей библиотекой Крестовоздвиженского храма города Уфы Ирины Ентальцевой «Стояние в вере» рассказывает о малоизвестных фактах духовного подвига уфимских священников, сохранивших православные традиции в последнем работающем храме на территории Башкирии в начале войны – Сергиевском соборе. Интересно, что именно тогда в этой церкви тайно крестили маленького Петю Храмова, ставшего впоследствии художником и писателем, продолжившим во второй половине XX века традиции русской православной литературы в своём романе «Инок».

В сборнике много воспоминаний людей, переживших войну в детском и подростковом возрасте. В воспоминаниях Александра Светлакова, чьё военное детство прошло в деревне Загорск Иглинского района Башкирии, передан ещё сохранившийся в те годы в русском крестьянстве общинный дух, стремление к бескорыстной взаимопомощи. Старший научный сотрудник Дома-музея С.Т. Аксакова Галина Иванова подготовила для печати дневники своего отца, которые он вёл школьником в уфимской эвакуации с 1943 по 1945 годы. Российско-израильский писатель Геннадий Малкин вспоминает ужасы бегства из Брянска вместе с матерью в Уфу. Его детская память сохранила многое из того, что было забыто взрослыми. Генетическая память уфимского художника Николая Пахомова, пережившего в детском возрасте войну, когда в магазинах ничего не было, не было никакой еды,

газа и электричества, сохранила любовь к избам, печкам, картошке, колодцам, помогавшим выжить в те тяжёлые годы. Доктор биологических наук Эвилина Иванова опубликовала воспоминания своей коллеги Наталии Прониной об эвакуации из Рыбинска в Уфу в годы войны. Наш город запомнился маленькой Наташе своим гостеприимством и дружбой людей разных национальностей. Советско-американский искусствовед, сценарист и писатель Инга Каретникова в детские годы встречалась в уфимской эвакуации с родным братом премьер-министра Российской империи С. Витте, актрисой Марией Стрелковой, женой генерала Судоплатова. Об этих встречах она рассказала в своих мемуарах «Портреты разного размера».

Особое место в детских воспоминаниях о войне занимают художественные произведения Ларисы Румарчук и Петра Храмова. Если в воспоминаниях Л. Румарчук много юмора и детских фантазий, то в романе П. Храмова «Инок» прослежен духовный путь ребёнка к вере. Оба автора используют широкую палитру красок: военные годы они рисуют не только мрачными тонами, но и светлыми детскими впечатлениями. В романе «Инок» большую роль играют художественные образы-символы, доводящие конкретные факты до глубоких религиозно-философских обобщений. Так, образ лесопилки на берегу реки Белой, где грубые кнутобойцы жестоко издеваются над лошадьми, везущими в гору тяжёлые брёвна, рисует суровые сталинские порядки в годы войны. Образ неугасимой свечечки символизирует вечную православную Россию, а река Белая – течение времени из земной жизни в вечность.

Можно сравнить этот сборник с гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк», участники которого ведут народную летопись о поколении Великой Отечественной войны. Воспоминания, дневники и письма уфимцев и эвакуированных в Уфу в годы войны при всех их различиях по содержанию и форме изложения дают широкую картину жизни людей в ту суровую эпоху. Главным уроком военного поколения для нас служит их опыт не только выживания в тяжелейших условиях той поры, но и борьбы добра со злом, проходившей через разум и чувства каждого человека.

Наш народ ценой неимоверных жертв не только одержал великую победу над фашизмом, но и преодолел в своём собственном сознании чувство классовой ненависти. Вторая мировая война, как это ни покажется парадоксальным, стала для человечества школой гуманизма, поскольку массовое истребление людей с неимоверной жестокостью и цинизмом породило у многих помимо ненависти и справедливого стремления к возмездию ещё и желание не допускать подобного впредь. Именно в годы войны в Советском Союзе расцвёл жанр лирической песни, воскресающей семейные ценности, ради которых люди шли в бой. Тогда же впервые после двух десятилетий открытых гонений на церковь стали открываться закрытые ранее и новые храмы. Возможно, впервые со времён реформ Петра Великого маятник истории нашей страны качнулся в обратную сторону. И хотя в последующие десятилетия были и остановки, и движения вспять, большое историческое время уже работало не на революционные ломки и метания, а на духовное возрождение, заключающееся в восстановлении религиозно-нравственных традиций нашего Отечества. Не случайно Россию называют семьёй семей. Война показала, что все мы, несмотря на социальные, национальные и конфессиональные различия, единый народ. Не зря тот же Твардовский вывел в своей «Библии Великой Отечественной» чеканную формулу:

От Ивана до Фомы,
Мёртвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия[3].

Если сравнить одну секунду отдельного человека, пережившего войну на фронте или в тылу, с каплей крови, то минуты, часы, дни, недели, месяцы и годы войны всего нашего народа будут подобны ручьям, сливающимся в реки и вливающимся в море народного подвига и страдания. Это море невозможно забыть, как бы ни старались этого добиться наши

[3] Твардовский А.Т. Василий Тёркин: книга про бойца // Стихотворения. Поэмы / А.Т. Твардовский. Москва, 1971. С. 331.

идеологические противники. Поэтому наш «Бессмертный полк» останется навсегда в памяти потомков.

Пётр Фёдоров

Владимир СКАЧИЛОВ

Владимир Анатольевич Скачилов (1923-1996) родился 6 июля 1923 года в г. Уфе. В 1947 году по окончании Башкирского государственного медицинского института был направлен главным врачом в Кармаскалинский район Башкирской АССР. В 1951 г. переведен в рабочий поселок Ново-Александровка г.Черниковска на должность начмеда больницы № 4 медсанчасти треста № 21.

С 1957 по 1959 гг. работал заместителем заведующего горздравотделом г.Уфы. С 1959 по 1984 гг. - главный врач больницы № 1 Минздрава БАССР. С 1985 по 1996 гг. был преподавателем училища повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием Министерства здравоохранения Башкортостана.

С 1969 года начал заниматься историей здравоохранения Башкортостана, опубликовал ряд статей на эту тему в местных газетах и журнале «Советское здравоохранение». В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Общественно-политическая и революционная деятельность медиков и их влияние на развитие здравоохранения Башкирии (1880-1922)».

Автор книг «Люди подвига и долга» (издания 1973 и 1979 гг.), мемуаров «О прожитом, пережитом» (издания 1998 и 2003 гг.), более 80-ти научных и
научно-популярных статей, в том числе предисловий к книге С.Я. Елпатьевского «Воспоминания за пятьдесят лет» (Уфа,1984) и А.И. Веретенниковой «Записки земского врача» (Уфа,1979 и 1984). Составитель и один из авторов четырёх краеведческих сборников.

Был участником нескольких краеведческих Бирюковских чтений. В 1980 году ему было присвоено звание лауреата Бирюковской премии. Делегат 1-го и 2-го Всесоюзных съездов историков медицины.

Врачебная деятельность отмечена наградами: орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак почета», медалями, значком «Отличник здравоохранения», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР. Присвоены звания: «Заслуженный врач Башкирской АССР» и «Заслуженный врач РСФСР».

Умер 7 февраля 1996 года, похоронен в г.Уфе.

ВЕЧЕРИНКА

Последние часы уходящего 1942 года. Года трудного, полуголодного, наполненного горестями, часто печальными фронтовыми известиями. На улице мороз под 40 градусов. Настроение у всех не ахти какое. И все-таки хочется встретить Новый год как всегда торжественно, с друзьями. В Уфе есть еще кое-кто из нашей бывшей школьной компании, и мы решили собраться на квартире одноклассницы Веры Гавриловой. Обычного предпраздничного настроения, конечно, нет. Мы раньше всегда отмечали праздники либо у Мокшановых, либо у Гавриловых; они проходили прекрасно, хотя и без всякого винного застолья, но запоминались весельем, играми, спорами, песнями, танцами. Нынче же нам как-то не хочется и думать о возможном веселье. Брат Веры Гавриловой Ленчик (полное имя его Ленин) на фронте. Там же Володя Быстров, Петя Киселев, Юра Арцимович и другие ребята. Где-то по пути на фронт должен следовать Миша Фоменков - организатор, руководитель и аккомпаниатор классного хора, украшение нашей школьной самодеятельности. Да и некоторые девчата покинули Уфу. Не будет Нелли Морозовой, ставшей студенткой сценарного факультета ВГИКа, не будет солистки нашего хора Лины Афанасьевой, заводилы веселых танцев Любы Елькиной (позднее по мужу Езовой). Многие девочки встретят Новый год у станков в холодных заводских цехах. И я ругаю себя, что согласился быть организатором сегодняшней вечеринки. Мне поручено привести ребят. Кого? Они все далеко отсюда. Будут лишь мальчики с нашего двора - не по возрасту длинный 15-летний Гена Басенник, музыкальный, общительный, да Илюша Литваков, ровесник Гены.

Я зашел с приглашением к однокласснику Юре Дешко, но соседи по квартире сказали, что его четвертые сутки нет дома: работает на оборонном заводе слесарем-зуборезчиком и часто после двухсменной работы у станка ночует прямо в цеху. Оставил ему записку.

... И вот мы за новогодним очень скромным (если не сказать - бедным) столом. Тревога за ребят, ушедших на фронт, чувство какой-то вины, что ты не можешь быть вместе с ними, грустное настроение у большинства собравшихся как-то не вяжутся с наступающим праздником. Юра Дешко пришел усталый, даже не снявший рабочей одежды, с жадностью набросился на винегрет и картошку. Кто-то из девчат запел довоенную песню, но она быстро смолкла: уронив голову на стол, крепко спал Юра. Наступила тишина, разговаривали вполголоса, лица у всех тревожные, ни улыбок, ни смеха.

Я вышел на тускло освещенную лестничную площадку курить. Внезапно услышал какой-то шум со стороны чердачной лестницы - там кто-то был. На мой окрик - молчание. Затем появились на ступеньках сапоги, потом шинель, спина человека с мешком за плечами. И вот он повернулся лицом... У меня перехватило дыхание: «Мишка!». Я рванул дверь в комнату: «Ми-и-и-шка пришел!». За мной стоял Миша Фоменков с неразлучным своим баяном! Окруженный друзьями, смущенный их объятиями, поцелуями, рукопожатиями, он рассказывал, как напугал Скачу, то есть меня. Спрятавшись на лестнице, он хотел войти в квартиру внезапно, новогодним подарком. Ему дали увольнительную на три часа. Радости нашей не было предела, особенно была довольна Мишина подруга Люся Короткова.

Когда все успокоились, Миша вынул из футляра свой баян, и зазвучали наши любимые и довоенные, и первые военные песни. Слаженный хор заглушил бой часов, извещавших о наступлении нового, 1943 года. Был провозглашен тост: «За скорую победу! Чтобы все вернулись с войны домой!».

Всей компанией мы вышли провожать своего дорогого солдата. Ему нужно было с улицы Худайбердина дойти до конца Глумилино, где в районе радиомачт дислоцировалась его часть. Позднее мы узнали, что уже к утру их погрузили в эшелон и отправили на фронт.

* * *

Прошло более полувека с того времени. Не вернулся с войны Ленчик Гаврилов. В письмах он писал мне: «Скаченька, дорогой, ты хранитель наших уфимских традиций. Пиши чаще, да не забудь насыпать в конверт махры, а то она у нас не всегда бывает». Погиб наш богатырь и весельчак. Не дождалась своего друга участница нашей новогодней встречи Тося Рыкина (по мужу Денисова). Позднее я встречался с ней, она работала окулистом в одной из поликлиник города. Более десяти лет тому назад Тося умерла. Тяжелораненным вернулся с фронта Юра Арцимович. Володя Быстров, служивший радиотехником в морской авиации, демобилизовался после войны в звании лейтенанта и умер в 1972 году от гипертонической болезни в Мурманске. Через три года после него умер Юра Дешко, кандидат технических наук, руководитель одного из НИИ в Москве. Неоднократно приезжал с Украины Петя Киселев, двоюродный брат Любы Елькиной. Первый раз мы встретились спустя 30 лет после нашей разлуки. Он позвонил мне по телефону, и мы договорились о встрече в сквере. Я пришел раньше, боясь не узнать его. Оказалось, так же сделал и он. Я искал глазами подполковника, а проходили все люди в штатском. И вдруг увидел у входа в сквер пожилого мужчину, внимательно всматривающегося в прохожих. Подошел к нему. «Извините, вы Киселев?». И тут же оказался в крепких объятиях друга. Он искал человека на костылях (таким знал меня в школе), а я избавился от них в 1959 году после удачной операции. Шли мимо люди, оборачивались на нас, смотрели, как два немолодых человека плачут в объятиях друг друга.

Гена Басеник работал заместителем начальника главупра одного из министерств, жил в Москве. До этого с ним, главным инженером завода гибких валов, мы частенько встречались.

Илюша Литваков живет в Одессе. Лауреат премии Совета Министров СССР, талантливый инженер.

Люба Елькина (Езова) работала инженером в Ишимбае, позднее заместителем заведующего отделом Башкирского обкома КПСС. А затем в течение 16 лет возглавляла Орджоникидзевский райком КПСС.

Высокая, стройная, серьезная Вера Гаврилова (по мужу Нарукова) многие годы работала инженером в Башкирском главке молочной промышленности. С ней мы встречаемся и по сегодняшний день.

И, наконец, о главном герое моего рассказа - Мише Фоменкове. Много встретил он невзгод на дорогах войны, воевал, побывал в госпиталях. После победы вернулся в родной город, женился на Люсе Коротковой. Она вместе со мной закончила Башкирский мединститут, защитила диссертацию и до самого выхода на пенсию трудилась в Институте глазных болезней.

А Михаил Петрович Фоменков - заслуженный деятель искусств РБ, хормейстер, профессор, проректор по науке Уфимского института искусств. Встречаясь с ним, мы часто вспоминаем встречу нового, 1943 года, вспоминаем нашу юность и друзей.

Веч. Уфа. 1994. 13 дек.

Татьяна РОМАНКЕВИЧ

Татьяна Владимировна Романкевич (1923-2008) родилась в семье известного уфимского хирурга-морфолога, одного из основателей Башкирского медицинского института и станции переливания крови Владимира Михайловича Романкевича (1889-1966) и активной участницы революционного движения в России, соратницы М.В. Фрунзе, учёного-гидробиолога Сусанны Альбертовны Дамской (1889-1929). Татьяна Владимировна унаследовала от своих родителей не только литературный талант и силу духа, но и такие редкие в нынешнем потребительском обществе качества, как душевное благородство и преданность памяти ушедших. В последние годы она, не взирая на возраст и болезни, оставалась душой своей большой и дружной семьи и по крупицам собирала неоконченные мемуары своего мужа – заслуженного врача РБ и РФ, историка здравоохранения и краеведа Владимира Анатольевича Скачилова (1923-1996). Результатом её усилий стало два издания книги «О прожитом, пережитом» (1998 и 2003), мгновенно разошедшихся среди

краеведов республики. К сожалению, из-за этой работы свои собственные воспоминания она довела лишь до середины 1930-х годов. Лишь 2007 году её воспоминания «Татьянино детство» вышли в сборнике семейных историй «Семейные хроники XX века», изданного библиотекой БГПУ и домом-музеем С. Т. Аксакова крохотным тиражом и недоступном широкому читателю. А в октябре 2008 года Татьяна Владимировна ушла из жизни.

УЧЕБА И ДРУЖБА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Январь 1942 года. Идет война. Я работаю радистом-оператором в радиоотделе Уфимского телеграфа. Тяжелые двенадцатичасовые то дневные, то ночные смены. От голода часто давит желудок и кружится голова, но иногда бригадир посылает нас по очереди в столовую, где без карточек дают какую-то мучную похлебку с кусочками мороженого картофеля, свеклы, капусты, и это уже счастье. Вместе со мной работает Володя Быстров: мы оба кончили Осоавиахимовские курсы радистов по путевкам комсомола. Но его через 2-3 месяца призывают в армию. В отделе остаются только девушки, да и то некоторые тоже уходят на фронт.

У меня туберкулез легких, лечусь плохо, нерегулярно, но летом 42-го мне дают путевку в санаторий Шафраново, и там после активного лечения и хорошего питания я оживаю. Осенью этого же года поступаю в Башкирский медицинский институт. На одном из первых практических занятий замечаю знакомое лицо - паренек с пышной белокурой шевелюрой, слегка прихрамывающий. Да это же товарищ Володи Быстрова, он заходил иногда к нему на работу! Так произошло наше знакомство с Володей Скачиловым. С 3-го курса мы особенно сблизились, бывали в одних компаниях, вместе занимались, читали, иногда ходили на галерку в оперный театр. И что удивительно: никогда не ссорились. Хотя по характеру были совершенно разными людьми. Он мягкий, спокойный, уравновешенный (жил с матерью, простой работницей, без отца). Я же росла с отцом (мама умерла, когда мне было шесть лет), была очень начитана, писала стихи, по характеру резкая, с мальчишескими замашками, хорошо дралась (жизнь заставила),

много бегала на лыжах и коньках. Сближали нас книги, любовь к истории, театру, участие в самодеятельности, общественная работа.

Володя ходил с палочкой, а иногда и на костылях, это ежедневно 2-3 километра в институт и обратно. И несмотря на холод в аудиториях, недоедание, учились все с каким-то даже азартом. Да и каков был состав преподавателей! Нам читали часть лекций прекрасные уфимские профессора: Д.И. Татаринов, В.А. Самцов, В.А. Жухин, Н.И. Савченко, А.А. Полянцев, Г.А. Пандиков, Н.А. Шерстенников, И.А. Лерман, В.Г. Кузнецов, кроме того, члены Украинской Академии наук (эвакуированной в то время в Уфу): А.В. Палладин, А.А. Богомолец, Н.Д. Стражеско, профессора 2-го Московского медицинского института: Я.В. Ролл, Е.С. Бурксер, Н.Д. Маргулис, М.М. Кузнец и многие, многие другие блестящие ученые.

Где-то в 1944 году мой отец, доцент мединститута В.М. Романкевич, большой любитель и знаток литературы и искусства, организовал студенческий литературный кружок. Собрания его проходили у нас дома. О многих писателях, поэтах, художниках мы делали доклады. Отец имел прекрасные альбомы репродукций известных мастеров, хорошую библиотеку. Было нас, студентов, человек 18-20, с трудом размещались в нашей небольшой комнатушке, но как бурно и интересно проходили эти занятия! Сколько нового мы узнавали! Готовясь к докладу, каждый изучал много литературы, рассказывал о самых интересных, а иной раз и о малоизвестных произведениях. Посещал этот кружок и Володя. Помню его доклад об А.П. Чехове, который мы бурно обсуждали и сделали внушение докладчику «за узкое освещение творчества писателя». Вот какие были критики!

Отец мой был требовательным преподавателем. И даже зная о нашей с Володей дружбе, строго гонял его на экзамене по оперативной хирургии (иногда даже неправильно подсказывал) и заставил его сдавать экзамен дважды.

Затаив дыхание, мы бывали на сложнейших операциях профессора Александра Андриановича Полянцева, который умел, работая на операционном поле, одновременно рассказывать студентам все этапы операции, приучая этим к систематизации работы.

С удовольствием занимались мы с Володей в кружке нервных болезней. Руководителем его был доцент Николай Иванович Воробьев. Обследуя с нами больных, он иногда открывал такие необычайные истоки болезни, ее проявления, возможности излечения, что мы диву давались.

Сухой и трудный предмет патологической анатомии Виктором Александровичем Жухиным преподносился как интереснейшая история битвы против злейшего врага человека - болезни, и мы даже забывали записывать его лекции, слушая их порой как чарующую сказку.

Но, кроме занятий, мы возили на санках дрова в институт с Правой Белой. Иногда бревна вмерзали в речной лед, и приходилось вырубать их. Ездили в колхоз на уборку картошки и свеклы, работали на субботниках.

Уже в конце 5-го курса мы решили с Володей пожениться и после института уехали в Кармаскалинский район, где и началось наше становление как врачей. Вскоре к нам приехала и Володина мама, добрая, хотя и властная женщина. Мне, выросшей без матери, первое время было трудновато находиться под ее началом. Но ее тактичность, ненавязчивые советы, искреннее ко мне чувство привязанности сыграли свою роль, и она стала для меня таким же близким человеком, как Володя.

Скачилов В.А. О прожитом, пережитом: (записки врача) / общ. ред., вступ. ст., подгот. текста, библиогр. и примеч. Т.В. Романкевич и П.И. Федорова. 2-е изд., испр. и доп. Уфа, 2003. С. 53-56.

Пелагея СБИТНЕВА

Пелагея Ивановна Сбитнева (1902-1996) родилась 21 октября 1902 года в селе Загорское Свято-Троицкой волости Уфимского уезда Уфимской губернии в крестьянской семье Ивана Васильевича (1870-1935) и Вассы Зотиковны (1870-1952) Светлаковых. Первые шесть лет училась в Загорской земской школе. С 1919 по 1921 гг. училась в 3-й советской школе 2-й ступени в Уфе. С 1921 по 1923 гг. работала учителем в деревне Покровка Иглинского района

Башкирии. В эти же годы занималась в драматическом кружке в селе Загорское под руководством учителей Огородниковых. В 1927 г. вышла замуж за жителя Уфы, машиниста Александра Никитича Сбитнева (1900-1936). Работала воспитательницей и заведующей детскими садами г. Уфы с 1931 по 1954 гг. В 1931 году пошла работать в детский сад № 6 станции Уфа. В 1933 году была назначена заведующей детским садом № 15 г. Уфы. В 1934 году окончила педагогический техникум. В 1936 году после смерти мужа вновь перешла на работу в детский сад № 6. В том же году была переведена на полную ставку в детский сад № 15 и проработала там до 1943 года. В 1943 году была переведена на прорыв в детский сад № 31 кирпичного завода № 1. С 1947 по 1949 гг. работала учителем в железнодорожной школе. В 1949 году перешла на работу в детский сад № 2 станции Уфа, проработав там до 1954 года. В 1955 году ушла на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Вырастила и воспитала двоих детей: Евгения (1928-2016) и Алевтину (1930-2018), а также внуков и правнучку. В конце 1970-х годов начала вести дневник и писать мемуары об истории своей семьи и рода Светлаковых. Умерла в Уфе 5 ноября 1996 года. Похоронена на Северном кладбище.

ГОДЫ ВОЙНЫ

Когда началась война, в Уфу приехали из Киева писатели, художники и другие, люди потерпевшие, видевшие страх. В нашем доме жили П. Тычина, Пустовойт и другие. У нас в каждой квартире площадью 40-45 кв. метров жило по две семьи. У меня в двух маленьких комнатах 15,5 кв. м – нас трое: я и двое ребят школьного возраста.

Пришёл художник [Никита Романович Попенко], оставшийся без квартиры, временно поселился у меня. Через месяц приехала жена Рая с дочкой ясельного возраста Наталкой, [и стали жить] две семьи. Я работала в д/саду № 31 воспитательницей, дети учились, время было тяжёлое. Я приняла пострадавших людей с душой, предоставила им всё, что у меня было (домашняя утварь), но они чувствовали себя как-то [неловко], в общем, переживали, что меня стесняют, и ничем не могут мне помочь. Топливо подвезти, продукты купить, всё было невозможно. Но у меня немного было, я

старалась чем-то помочь им. Помню, к Новому году я из старой своей кофточки сшила Наталке белое платьице, вышила разными цветными нитками. Как они все, не только Наталка, но и родители – Никита Романович Попенко и Рая – были рады. А, конечно, больше всех довольна была я: очень люблю делать хорошее для людей, согреть их душу, сочувствовать положению. Никогда не брала деньги за квартиру. Перекладывали мы эти деньги с места на место, а когда они уезжали в октябре 1943 года, я деньги тайно от них положила в сумочку. Писали мне письма благодарности, но я их не сохранила. Если бы молодость знала… А мне тогда было 40 лет, уж не так и молода, а вот сейчас, да и лет 20 тому назад, думаю: почему эти учёные, да не так уж учёные, кроме Богомольца, которого я имела счастье видеть (мне он очень понравился – душевный был человек). У нас в детском саду была зав. д/садом С. А. (отчество забыла), бездушный человек, чуть что не угоди ей она отправит на завод, а завод-то был далеко… Работала в д/саду хохлушка (забыла имя и фамилию), эвакуированная, она её хотела отправить на завод, а у ней не было даже тёплой одежды. Я переживала за неё. А ведь у кого что болит, тот про то и говорит. Я и расскажи всё Богомольцу. Так ведь он её забрал к себе из д/сада, не дал погибнуть человеку (академик, а она уборщица). Славный был, человечный старичок (забыла имя и отчество). Так вот, и думаю: зачем же эти художники ехали в глубокий тыл, а не боролись за свой родной Киев, не гнали фашистов? Их было 5 человек только в нашем доме. Молодые здоровые люди здесь ничего не делали, а уехали обратно раньше всех, угнали забрать жильё получше. Всё делали для себя, а не для Родины.

С 1936 по 1943 годы я работала в детском саду № 15. В 1943 году было сокращение районных дошкольных инспекторов: 4 райинспектора нужно и 4 детских сада. Мой детский сад был неплохой, я много сделала хорошего, поэтому в него на моё место назначили бывшего инспектора, а меня перевели на прорыв в детский сад № 31 кирпичного завода. Этот сад я сделала образцовым, и меня наградили почётной грамотой горисполкома. Как было обидно сдавать благоустроенный своими руками детский сад и брать опять развалину! Как ни хлопотали в горторге, но заведующий гороно Б. устроил на моё место свою любовницу. Наш сад приняла инспектор К. Когда я ей сдавала, мне так жалко было,

хотя бы она меня воспитательницей оставила. Она была в тесной связи с зав. гороно Б., а горторг, как ни старался, не мог ничего сделать. Сдавала я ей дня два или три. Работы производились по договорам, нужно всё было проверить. К. мне сделала замечание: почему я не разрезала большие простыни на маленькие. Белья хватало, не было в этом необходимости. Она мне грубо сказала: «Вы будете сдавать так же по акту. Я не собираюсь уходить». И зачем я ей ответила не очень прилично: «А, может, и вынесут»? И года не проработала, заболела туберкулёзом и умерла. И говорила своей приятельнице: «Это Сбитнева мне сделала». А что я могу сделать? Я никаким наговорам не верю, а вот после этого случая я поверила в какую-то природную силу.

В 1943 году меня перевели зав. д/садом № 31 кирпичного завода № 1. Д/сад помещался в барачном помещении; ни двора, ни площадки не было, постельного белья нет, кроватки без <…>, дети вшивые, родители полуголодные. Одна группа, три комнаты, в каждой комнате подпол, выложенный кирпичом. Я села на стул, воспитательница подбежала: «Да, Вы, не пугайтесь». Видимо, я изменилась в лице. Заведующая, молодая, цветущая женщина – Н. – положила на стол список вещей, сама ушла и унесла печать. Сотрудники ходили несколько раз, через неделю прислала с кем-то, а сама так и не показывалась. Бухгалтерия мне заявила, что у Вас большое расхождение, придётся Вам проводить <…>. Я говорю: «Так я ещё не работала!». «Всё равно надо проверить». Было большое расхождение в деньгах с магазином (на 2 тысячи с лишним рублей). Директор завода поручил мне всё выверить. Я занималась этим дней 5-6. Очень трудно было мне с этим делом справиться: в накладных магазина числились колбаса, чай и другие ценные продукты, а в детский сад они не поступали. А работала она года 2-3. Это сколько нужно времени потерять, чтобы всё проверить! Я стала вести свой учёт с 17 октября 1943 года, а как они с ней поступили, я не знаю. Стала сама записывать, а потом Александр Михайлович (фамилию забыла), толковый старичок, вёл всю бухгалтерию.

Детский сад был так запущен: кругом бедность, масса вшей, топлива нет, дети голодные. Нужно было искать выход в военных условиях. Со вшами справились по опыту наших предков. Моя бабушка говорила нам о том, что надо рубахи жарить. В жареной

рубахе вошь не заведётся. Дала воспитательнице задание каждый понедельник как придёт ребёнок в детский сад всё с него перегладить утюгом. А родителей попросила не пачкать дома это бельё и приводить в нём своего ребёнка всю неделю. Топливо в те годы невозможно было достать, поэтому мы брали пористый кирпич, клали его в негодную олифу и через 8-10 часов, дав олифе стечь, клали в плиту вместо дров, добавив немного гудрона. Когда суп и каша закипали, доставали раскалённые кирпичи, клали их на плиту и на них ставили допревать варево. Планы продумывала ночью. При Н. ни воспитательной, ни хозяйственной работы не велось, дети в детский сад ходили до 10-11 лет: в школу ходить было не в чем, а рабочие руки заводу были нужны. Рядом с детским садом был военный склад НКО. У меня в саду были дети работников этого склада. Я пошла к начальнику склада товарищу Старцеву, он нам помог с дровами и давал тряпьё мыть полы (а часть мы использовали на простынки). Игровой площадки тоже не было. Пошла я в психбольницу, поскольку к нам ходили дети её сотрудников. Дали фанеры, материала и рабочих. Построила детскую площадку. Однажды приехал на завод представитель из Москвы. Я его попросила зайти в детский сад. Он пришёл и увидел, в чём дети ходят и на чём спят. Обещал помочь. Не помню когда, я поехала в Москву, в главк. Сумела попасть в московские хоромы на второй день и, когда села в кресло, со мной было дурно. Я потеряла дар речи: настолько себя чувствовала униженной. Начальник меня будто не заметил: стал разговаривать по телефону. Я в это время собралась с силами и подала докладную. Он мне подписал всё, что я просила. И обрадовалась же я! А что дальше делать – не знаю, да и не в моей силёнке возиться с материалами. Поехала домой. Директор завода (забыла какой: они часто менялись) послал своего зама, и он привёз мне половину того, что было выписано. Приняла по акту. А куда дели половину, не знаю. Рада была и этому. Накроила халатов, простыней, наволочек. Шила сама. Часть продали, купили скатерти, сделали ремонт. Садик стал похож на горенку.

Состав детей был от 3-х до 11-ти лет. Мы весной взяли гектар земли, посадили картошку. Землю вспахали, садили под плуг. Пололи сами и копали сами. Помогал студент Гена Бассейник.

Было голодное время, мы его кормили. А он старательным оказался, очень хорошо нам помог.

Директором завода был Ф. Меня он не любил, потому что я его и его друзей не угощала. А он просил, даже требовал под угрозой увольнения приготовить обед на 5 человек. Я говорю: «Давай деньги, приготовлю». А он требовал за счёт детского сада сделать. Я тогда ему ответила: «Я на вас продуктов не получаю и готовить не буду». (А сама переживала: мог бы выгнать). Когда мы копали картошку, он не давал транспорта её привезти, и нам приходилось по очереди ночью её караулить. А ночи тёмные. Сколько мы горя видели с этой картошкой! Его, жулика, убрали – он был несоветский человек. Был суд. Ясли его угощали, так их вызывали в суд, а нас не вызывали.

Дело было весной, земли было много, договорилась с директором в отношении посадки картофеля. Обещал вскопать землю и обеспечить семенами. Землю копали пленные немцы, хорошо работали, не помню, сколько соток, но не меньше 50-ти. Дети [в детском саду были] большие (по 9-10 лет), в школу ходить было не в чем, и школа далеко. <…> Картошки мы накопали очень много, все три подпола были забиты. Ели картофельные оладьи, давали родителям. Некоторые родители или просто пенсионеры голодали. Мы их всех выручали: Марусю безрукую, Хабибовых… Галя и Лёня Волковы безвозмездно носили картошку голодающим. Себе картошку тоже садила. Сколько мучений было носить по оврагам мешки или возить на тачке!

Во время войны приходилось много работать на производстве и дома, чтобы не умереть с голоду. В 1943 году я работала в д/саду № 31 на кирпичном заводе заведующей д/садом и не думала, что настанет время, [когда] мы будем есть белый хлеб, крендели, которые мы раньше ели только в дожинки. Сажали картошку за 5-10 км. от дома, носили на себе семена да и урожай частенько возили на тачках. Приходилось садить картошку на буграх кирпичного завода. Помню, как Аля была подростком, не сумела направить тачку правильно, дорожек не было, и её придавило. Ой, как я переживала! Думала, что она не встанет. Видно, бог меня и её пожалел: встала. Дня два болела, и всё прошло. А вот сейчас ей 55 лет, а всё у неё, особенно ноги и поясница, болит. Может, повлиял непосильный труд. Копали целину под просо. Сеяли просо,

получали хороший урожай. Делали совместно с родителями Волковыми «ток», на котором молотили просо. Я жила и родилась в деревне (с. Загорское Иглинского р-на), умела молотить, а у Волковых была семья большая, и мы в шесть молотил молотили. Создавалась прекрасная музыка, не хуже современной гитары. Собиралось народу смотреть и слушать, как молотит зав. д/садом. А просо ещё нужно ободрать. Делали это в ступе, толкли с мочалом, потом на ветру веяли, мякина отлетала, и получалось пшено. Можно пшено толочь в ступе, получится мука. К праздникам я приносила просо, родители его обрабатывали до муки, [из которой] пекли торты. Получались очень хорошие. Дети ждали праздники, считали дни, зная, что будет угощение. Выходных дней у меня не было.

Каким-то образом узнал управляющий. Через некоторое время вызывает меня в управление. А перед этим у меня в д/саду была неприятность: комиссия при проверке обнаружила 2 кг. сахара, который был предназначен на выпечку праздничных гостинцев для ребят, т. к. в магазинах ничего не было: ни конфет, ни пряников. А ведь ребёнку, когда мы проводили утренники, нужно почувствовать это торжество. Вот я и старалась, сама умела выпекать разные угощения. Обо всём этом знали коллектив и родители. Но ведь есть такие службисты, которым нужно чем-то выхвалиться перед неудачным начальником. И вот тянули это дело долго. Переживала, думала, что вызовет начальник в отношении сахара, а он так вежливо со мной побеседовал, спросил: отдыхаю ли я в выходные дни? Я сказала, что одна воспитываю двоих детей. Он мне сказал, чтобы я в выходные отдыхала. Как мне было приятно, радостно на душе! Почему-то у меня слёзы пошли, заплакала, но тут же взяла себя в руки, встала, поблагодарила, простилась рукопожатием и ушла.

Пришла к врачу, прикреплённому к заводу и обслуживающему д/сад, рассказала ей всё, и она сказала: «С этого дня мы в выходные дни будем ходить на природу». Врачом была Промтова Валентина Вячеславовна, было ей лет 35, у неё по соседству жили Онищенко Амалия Ивановна и её муж Михаил. И вот мы втроём – Михаил, я и Валя – ходили на природу за р. Белую.

Помню, было собрание работников дошкольных учреждений в Доме учителя. Стали зачитывать список награждённых. А я не

знала, что меня наградят. Когда я пошла получать почётную грамоту от горисполкома, сказала, что буду работать ещё лучше. И неделю мучилась: зачем сказала, ведь я не могу лучше-то работать. Поделилась этим сомнением с Маргаритой Петровной Стебаковой. Она сказала: «Успокойся и работай так же, как работала».

Ходить на работу было далеко. Условий не было. Детсад помещался в бараке. Деньги носила с собой и карточки тоже (была карточная система). И вот однажды задержалась в карточном бюро, торопилась ехать в сад, и, когда садилась в трамвай, у меня вытащили сумку с деньгами и документами. Я сильно испугалась и закричала, и слышу кто-то сказал: «Отдайте!». Смотрю – Мишка, Нюры Титовой брат. Трамвай остановился, Мишка несёт мне сумку. Сказал: «За вашу доброту чуть не сделал подлость». Если бы мне сумку не отдали, я бы сидела в тюрьме.

Ездила в детский сад на трамвае и на повороте на улицу Мингажева прыгала на ходу, так как ходить по Революционной ближе. И как я только осталась жива? Наверное, ради детей Бог меня сохранил, а сейчас сажусь в трамвай ползком – ноги мои отёкшие не поднимаются. Врачи говорят: неправильный обмен веществ.

Сбитнева П.И. Воспоминания. Дневники. Письма / подгот. текста и вступ. ст. П.И. Фёдорова. Уфа: Вагант, 2010. С. 56-64.

Александр СВЕТЛАКОВ

Александр Михайлович Светлаков родился 30 ноября 1940 года в деревне Загорск Иглинского района Башкирии в семье Михаила Ивановича и Татьяны Егоровны Светлаковых. После окончания Загорской семилетней школы в 1956 году поступил на учёбу в ФЗО при 21-м тресте. В 1957 году поступил учиться в Уфимский автотранспортный техникум. С 1959 по 1962 гг. служил в армии на Дальнем Востоке. В 1962-1964 гг. завершил обучение в техникуме. С 1964 по 1999 гг. работал техником-механиком в Башавтотрансе, начиная со слесаря по ремонту автомобилей, заканчивая главным инженером предприятия.

Почётный автотранспортник России. В 1996 году начал обрабатывать земельный участок в Загорске. После выхода на пенсию собственными руками построил дом на своей малой родине и успешно занимается пчеловодством.

Был женат на Эльвире Андреевне Светлаковой (урождённой Мельниковой). Имел дочь Ольгу и внучек – Диану и Ульяну. Являлся последним представителем рода Ивана Васильевича Светлакова (1870-1935) по мужской линии в Башкирии. Умер в Уфе 10 января 2017 года. Похоронен на Северном кладбище.

МОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Я родился в 1940 году. В ноябре родился, а в 1941-м в июне началась война. Отец пошёл на фронт, я ползал. Вот мать осталась одна с десятилетней дочерью, девятилетним сыном и со мною ползающим. Эту семью надо было кормить, воспитывать, смотреть за ними. А ещё от восхода до заката работа в колхозе. Не пойдёшь работать, лошадь не дадут. А лошадь не дадут, дров не привезёшь. А дров не привезёшь, замёрзнешь зимой. Вот за то, чтобы дали лошадь привезти дрова, вот за это она и работала всю жизнь. Ну, там ещё было военное время, серьёзные требования и к колхозникам, и к рабочим. В общем, жила она. В 1942-м пришёл из госпиталя отец. Собралась вся деревня. А у нас избёнка маленькая была, пошли к Семёну Целищеву. А Семён – это сосед, муж папиной сестры тётеньки Даши. Я всё бегал к ней: «Тётечка Дашечка, дай хоть корочку хлеба». Годы-то голодные, дома жрать нечего. Вернее, это сейчас жрать, а тогда хоть маленько пожевать корочку хлеба: «Тётечка Дашечка, дай корочку хлеба». Тётечка Дашечка, 35-летняя женщина, у самой трое таких же детей, которые просят кушать. Тем не менее она, отворачиваясь, скрывая свои слёзы, то кусочек свёклы варёной, то картошечку даст. Вот я через картошку, через усадьбу бегал к ней. «Тётечка Дашечка, дай корочку хлеба». О Семёне Аверьяновиче, человеке прекраснейшей души, я расскажу потом, там был случай.

Самовар

Ну вот, собралась у него в доме вся деревня посмотреть на первого солдата, вернувшегося с фронта искалеченного. И все бабы:

- Не видел ли моего? Не видел ли там моего?

- Да где там?

- Да мой тоже на том фронте был.

Фронт-то он на тысячу километров протянулся. Где там увидишь? Во всяком случае, до меня им дела никакого не было. А мне уже было около двух лет. Поставили они самовар ведра на два, потому что угощения больше никакого не было: капуста да чай, ну мёд был, потому что пчёлы были. Собрались у Семёна Аверьяновича все бабы деревни, потому что мужиков уже не было, посмотреть на этого искалеченного человека, вернувшегося с фронта. Двухведёрный самовар кипит на табуретке, они за столом сидят, разговаривают. А я подошёл: самовар-то медный, блестящий, крутил-крутил его за этот кран; самовар-то возьми и свались вместе с табуреткой и со мной на пол. И вся вода, кипящая, двухведёрная – на меня. Вылить на двухлетнего ребёнка два ведра кипящей воды. Ох, спасибо тёте Варе Селезнёвой, у нас в соседях жила на краю деревни, которая единственная не растерялась. Она сказала: «Бабы, быстро домой, все яйца, которые есть, несите сюда!». По мере приноса яиц она наколола целый таз. Она в таз сливала только белок, а желток выбрасывала. И когда накопилось достаточно, они меня раздели и всего обмазали этим белком. И я через 15-20 минут был в панцире из высохшего белка яиц. Орал, не орал, я не знаю. Может, орал, а может, в шоке был; никто ничего не знает, история об этом умалчивает. Во всяком случае, до сегодняшнего дня у меня сохранились шрамы на левом боку и на спине. Это там, где, раздевая, впопыхах порвали вздувшиеся пузыри, там остались шрамы. А где обмазали белком или кожа не успела вспузыриться, ничего не было. Никакой больницы, ничего, с ожогами не меньше 70-80% двухлетний ребёнок выжил. Слава богу, остальное всё сохранилось, дал Бог жену, детей и внуков. Спасибо и на этом. Но вот отголосок войны: не только отца, он и меня коснулся.

Тарантас

А другой случай ещё могу рассказать. Вспоминая Семёна Аверьяновича, я уже говорил, что это прекраснейшей души человек. В 1942-м голодном году весной, отец ещё был в госпитале, я видел, что люди собирают вдоль забора траву. Что это за траву они собирали, я не знаю, наверное, как сейчас догадываюсь, крапиву. Я тоже голодный вышел на улицу, солнце пригревает, пошёл вдоль забора, нарвал травы, наелся. Какой – не знаю, может, той же крапивы. В общем, наелся, голод утолил. Мать на работе, бабка одна дома, и меня после этого вздуло. Вся деревня собралась, я валяюсь, как футбольный мяч, на ногах стоять не могу, падаю. Пригласили Семёна Аверьяновича, он служил раньше ветеринаром в конном полку каком-то, а здесь ухаживал за племенными жеребцами. У нас ведь тогда в колхозе была племенная ферма, где держали лошадей, на которых не работали. Они давали только племенное потомство для рабочих ферм. Здесь были племенные жеребцы. Привозили с Дона дончаков, племенных кобыл подбирали. Вот он занимался жеребцами. А жеребцам-то нужен променаж. И вот он запрягал в санки или в тарантас жеребца и по деревне гонял вдоль деревни или вокруг неё. Он пришёл, видит, что я валяюсь, и деревня ничего не может сделать, одни бабы, что они сделают? Он схватил жеребца, запряг его в председательский выездной тарантас (на дубовых лотошечках стояла плетёная корзина, он был, как на рессорах, мягкий). Он знал, что если кто-то на него донесёт, то его за то, что он погубил народное имущество или взял без спроса колхозный инвентарь, могут и посадить, и загнать в тот же Карлаг или в Сибирь. Несмотря на это, он запряг племенного жеребца в председательский тарантас, бросил этот «футбольный мяч» в кошёвку, потому что оттуда я никуда не выпаду, и напрямки, по бездорожью помчал в районную больницу. По каким буеракам летел тарантас, не знаю. Но переехав Бароновский овраг, выехав на Бароновское поле, я обмарал и дяденьку Семёна, и всю эту председательскую кошёвку, и племенного жеребца, всё, что в этой таратайке, и запросился домой: «Дядя Семён, отвези меня домой, я домой хочу!». Вот и всё лечение. Слава богу, Семён Аверьянович. Если бы он не растряс

меня при такой бешенной гонке, я бы, наверное, лопнул от вздутия. Спас он меня.

Тётя Даша тоже добрейшей души человек. Но что они могли сделать? Это подневольные люди, без паспортов, без ничего. Если нужно было выехать на рынок, шли в сельсовет взять справку о том, что «мы жители деревни Загорск выезжаем в город». Вот жизнь какая была.

Братья Светлаковы

Брат моего деда – Пётр Васильевич Светлаков, как его звали, дядя Пётр был очень здоровый, сильный мужик. Ростом он был выше Ивана Васильевича и всё мечтал пойти на медведя с рогатиной, побороться с медведем. Были у дяди Петра сыновья – красавцы-мужики. Началась война, и всех четверых забрали на фронт. Муж тёти Насти Светлаковой, мой двоюродный дядя Николай был убит на фронте. Сын его с фронта пришёл с инфарктом и умер. На фронте тоже инфаркты получали, и большие инфаркты, и много их было.

Сергей Петрович пришёл без ног с фронта. По двенадцать сантиметров берцовой кости осталось. Ни протез не цепляется, ничего. Были у него какие-то кожаные удлинители, через плечо их одевал. Но что он мог сделать? Он был ростом на этих удлинителях примерно двенадцатилетнего мальчишки. Он всё делал на руках, на костылях. На руках надо подняться на табуретку, на руках надо подняться на стул, на руках подняться и сесть за стол. Всё у него делали руки. Бедный мужик! Сидя на табуретке, он мог столярничать, мог строгать, мог писать, работал учителем. К доске тоже надо подойти. А как возили его! Пурга, дорогу всю передуло, лошадь пройти не может по сугробам. Утром учителя везут ребятишки в школу. А это где-то с километр до школы. По сугробам, на санках, санки перевернутся, учитель – головой в снег. А что он может сделать на своих обрубках? Руками барахтается, а они в снег проваливаются. Его поднимут, снова на санки посадят, пока до школы довезут, сами все умучаются и учителя умучают. Около печки погреется…

Он построил домишко. Потом купил дом. И ещё ученики его не слушались. Он же не может за шиворот никого взять, догнать не

может, бежать не может. Все считали его неполноценным человеком. Ну, инвалид, инвалид. Боялись, уважали, но слушаться ребятишки не слушались. А в лес-то он ходить не мог. Столярничать мог, а материала у него не было. Надо же заготовить в лесу. Он просил моего отца:

- Михаил Иванович, сделай мне указку длинную, чтобы на доске показывать.

Сидел он сбоку от доски. Михаил Иванович пришёл домой и говорит сыну своему:

- Лёнь, Сергей Петрович просит указку длинную, чтобы хватало до четвёртой парты.

Лёня получил задание, пошёл, сделал. Сходил, нашёл кленовую заготовку, сделал указку. А парты стояли в три ряда по три парты. Классы небольшие были. Он сделал такую указку, что её хватало у Сергея Петровича до третьей парты. Кто начинал баловаться, он этой указкой – по башке. Он тогда вообще из-за стола не вставал, командовал только. Но указка эта была легенда. Все этой указки боялись как чёрт ладана.

Повесился мужик от такой жизни. Хотя у него были дети, но жена стала на стороне связи искать. Он дома сидит на костылях, а она уходит за ягодами с любовником. Вся деревня это видит, и ученики видят. Не выдержал мужик такого позора, повесился в своём доме на чердаке. Она от позора уехала.

Третий брат Семён Петрович тоже погиб на фронте. И остался один-единственный Алексей Петрович, который жил в Уфе. И у него двое детей, мои троюродные сестра и брат – Нина Алексеевна и Анатолий Алексеевич.

Светлаков А.М. «Мы все отсюда родом…» // Планета Загорское: (история деревни Загорск Иглинского района Башкирии в воспоминаниях её уроженцев и их близких) / сост. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров. Уфа, 2015. С.158-161, 131-132.

Валентина ГОНЧАРОВА

Валентина Фёдоровна Гончарова (р. 1933) родилась в г. Аше 22 февраля 1933 года в семье Фёдора Алексеевича и Антониды

Ивановны Гончаровых. Её единственный брат Сергей погиб в 1944 году при освобождении Эстонии. В 1940 году поступила в начальную школу № 8 г. Аши. В 1944 году после 4 класса пошла в неполную среднюю школу № 3 г. Аши и училась там до 7 класса. В 1950 году окончила 10 классов в средней школе № 1 г. Аши. В 1954 году окончила литфак Челябинского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в школе посёлка Каштак Челябинской области. В 1955 году перешла на работу в неполную среднюю школу № 6 г. Аши. С 1957 по 1964 гг. работала в средней школе № 1 г. Аши и одновременно исполняла обязанности корректора в Миньярской районной газете «Стальная искра». Осенью 1964 года переехала в Уфу, где стала работать в детском саду № 184. Потом перешла в железнодорожный детский сад № 209, одновременно работая корректором в газете «Вечерняя Уфа». В 70-е годы перешла на работу в школу-интернат № 2, откуда ушла на пенсию в 1988 году. Состояла в браке с Александром Котенковым. Родила и воспитала двоих детей: дочь Елену и сына Алексея. Живёт в Уфе.

«ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО»

В 1970-80-е годы я работала воспитателем в уфимской школе-интернате № 2. 18 января 1971 года к нам в школу пришли члены телевизионного совета ветеранов-юнг, которые 15-16-летними мальчишками в июле 1942 года от Сафроновской пристани [г. Уфы] на пароходе «Зюйд» отправились в школу юнг на Соловецкие острова в Белом море. Они обратились на торжественной линейке к учащимся с просьбой помочь разыскать своих боевых друзей. Так был дан старт поисковой операции «Голубые дороги».

Из Башкирии прибыло около 120 юнг, а всего там было 1500 ребят. И среди многих воспитанников Соловецкой школы юнг был человек удивительной судьбы, живущий по принципу «всем смертям на зло», наш земляк-уфимец Генри Николаевич Таращук (1928-2009). Человек из легенды, он живым побывал на своей могиле. Запись беседы с ним легла в основу этих воспоминаний.

В семье он рос один. В 1938 году умерла мать, а когда началась война, отца забрали в армию. Генри «заболел» болезнью всех мальчишек того времени – мечтал попасть на фронт. Но что было делать с его 14-ю годами?! Прибавив себе год, он в составе 120 добровольцев поехал в школу юнг на Соловецкие острова.

Жить стали за каменными стенами Соловецкого монастыря. В 150 км – полярный круг, в 60 – фронт. С утра до вечера усиленные занятия. Весна. Зимующие птицы сбиваются в стаи, собираясь на материк. А для Генри померк день: пришло известие о гибели отца. Генри один. Один на всём белом свете, исчезла последняя родная нить. Идут выпускные экзамены. По всем предметам – 5. Последний прощальный «сбор» горниста. Прощай, учёба, прощай, юность. Мы – североморцы.

Началась боевая морская служба 15-летнего юнги на торпедном катере. В выполнении боевых заданий, в изнурительных походах в море прошло лето 1944 года. А осенью 1944 года Генри направили боцманом на один из лучших торпедных катеров Северного флота «ТК-13», имеющий на своём боевом счету 9 побед.

14 сентября 1944 года «ТК-13», выйдя в море с заданием отыскать конвой противника, принял неравный бой с 20-ю вражескими катерами. Снаряд попал в моторный отсек и там взорвался. Ранило мотористов. Все три мотора сразу заглохли. Вода хлынула в пробоину, и катер начал оседать на корму. Видя, что катер потерял ход, фашисты расстреливали его прямой наводкой. Носовой пулемёт разнесло взрывом снаряда, а пулемётчику Саше Фомину оторвало руку. Тут же из строя вышла пушка. Вместе с командиром её сорвало взрывом и выбросило в море. Налетел огненный смерч. Корабли ударили из орудий. Генри ранило в кисть левой руки, а затем разбило предплечье правой. Боль такая, что пошли кровавые круги в глазах.

Г.Н. вспоминает: «Я переваливаюсь через пламя, вырывающееся из моторного отсека, и диктую радисту: «Командир убит. Моторы вышли из строя. Личный состав тонет. Прощайте!». Выбираюсь на палубу. Катер уже осел и накренился почти до самой палубы, и через неё перекатываются волны. Теперь наш счастливый «ТК-13» можно добить одним попаданием. Но гитлеровцы прекратили стрельбу, видно, хотят катер взять на

буксир. «Надо взорвать катер. Патроны там, в рубке», - путаются мысли в затуманенном мозгу. Ползу к развороченной взрывом рубке. Сознание угасает…

Очнулся в море. Верно, от холодной воды или от боли. Открываю глаза и вижу, что фашисты подходят к нашему катеру и заводят буксир. И вдруг полузатонувший катер заваливается на корму и погружается в море… Молодец, счастливый «ТК-13», не дался в руки фашистам! И опять провал в памяти. Опомнился от ударов головой о борт. Словно сквозь сон приглушённый галдёж чужих голосов и треск разрываемой одежды. Это меня цепляют опорным крюком. Хлебаю воду, хочу утонуть. И вновь будто лечу в долгую пропасть. Лечу и никак не могу долететь до дна. Очнулся уже на палубе, лежу в каком-то оцепенении, не в силах пошевелиться. Язык огромный, сухой, заполнил весь рот. Потом тело взрывается болью, словно его начинают перемалывать жернова и одновременно в него вонзают сотни раскалённых игл. Зубы стучат с такой силой, что если бы во рту не было этого огромного языка, они давно бы уже высыпались.

… Прихожу в себя от нестерпимой боли. Особенно ужасная боль в предплечье. От неё-то, видно, всё время теряю сознание. Предплечье перебито. Надо повернуться и найти такое положение, чтобы в предплечье не цеплялись друг за друга перебитые кости. Переваливаюсь и опять теряю сознание. Страшная боль оглушает меня. Я кричу. Это упала гильза снаряда на раздробленную руку. … Около щеки что-то тёплое. Будто кто-то погладил меня. Это вытекает кровь из моего разбитого предплечья. Стало так жалко себя, что из закрытых глаз полились слёзы. Слёзы текут и вроде успокаивают мою боль. Всё становится безразличным. «Вот так, наверное, умирают люди». Боль в ногах и предплечье закрывает всё, и я опять теряю сознание. Слышу, как моё тело бросают на носилки, а разбитую правую руку забыли положить. Она тащится по палубе, и я чувствую, как в ней цепляются друг за друга кости. Боли уже нет. Всё плывёт в розовом тумане. С носилок сваливают, кажется, в кузов машины. Век открыть не могу. Видно, теперь уже конец. А на дворе всё ещё раннее утро 15 сентября 1944 года. Сколько же времени прошло, как «ТК-13» рванулся вслед за катером Острякова? Наверное, не более часа, а я уже прожил несколько жизней!

Пришёл в себя в бараке. Это был лазарет при лагере военнопленных в местечке Эльвенес, недалеко от Киркенеса в Норвегии. Пленный фельдшер Николай Иванович перочинным ножом, шилом, ножницами без наркоза сделал операцию: зашивал живот, вынимал осколки из предплечья, а потом вложил разбитые кости, наложил на них гипс из цемента высокой прочности. Тянутся долгие, как годы, лагерные дни. Начал потихоньку подниматься на ноги.

И начался допрос: «Сколько торпедных катеров в части, как подойти к базе, где минные поля?». За ответ «Не знаю» немец бьёт наотмашь по лицу… «Щенок, кого дуришь? Всё равно живым отсюда не выйдешь!». В руках появляется хлыст, от ударов которого я потерял сознание. Облив водой, снова стал бить. Кровь из разбитого лица потекла под гипс. Страшно болит голова, звон в ушах. Били по голове. Очнулся в бараке. Это был домик-изолятор. Вся территория опутана оголёнными проводами, через которые пропускают ток. По углам сторожевые вышки с прожекторами и пулемётами. Фашисты озверели, чувствуя, что им приходит конец. Пленных почти перестали кормить. Давали всего по 50-100 граммов хлеба пополам с землёй и соломой и один раз в день баланду, сваренную из гнилых стручков фасоли.

Пришёл день рождения 8 октября 1944 года. Мне 16 лет. Это был, наверное, мой самый тяжёлый день. Но я решил, сколько дней от своих 16-ти проживу, столько и буду вредить гитлеровцам. Вышел во двор и шестом с гвоздём оборвал провода, идущие к прожектору на вышке. За это был так избит, что неделю не мог ни сидеть, ни лежать. На следующую «шкоду»: открыв задвижку водопроводного колодца, подтопил немецкие склады, - немцы пообещали повесить. «Нет, вешать мы тебя не будем, а лучше сожжём». Приведя за домик-изолятор, привязали к столбу, а к ногам принесли доски и солому. От гаража шёл фашист, в руках у него ведро с бензином. «Конец. Что же делать?». Рву верёвки, но они держат. Немец спешит, вот он уже метрах в семидесяти, и вдруг фашист как-то странно споткнулся и упал. Он лежал в луже бензина и не поднимался. Его убили! Гремит оглушительный взрыв, и меня вместе со столбом швыряет на землю. Контузило. Но я выжил. Смерть меня обходит. «Жив! Жив! Всё-таки жив!». Немцы отступали.

А утром 25 октября ворота лагеря распахнулись, и вошли наши бойцы. Обнимались, плакали.

После проверки на контрольном пункте Г. Таращук был отправлен в Мурманск, а потом в Петрозаводский госпиталь. Начались госпитальные мытарства. Правое предплечье пришлось ломать, кости срослись неправильно. Сняли гипс, а рука не действовала. Врачи вгоняли в неё иглы, а боли не чувствовалось. Сделали ещё одну операцию. Много было мороки, но хороший уход, старания врачей и молодость 16-ти лет брали своё. Генри стал поправляться.

Весной 1945 года он был демобилизован по состоянию здоровья. Работал в Северном порту в Химках. Инвалид второй группы, он добился, чтобы его направили на работу в освобождённые районы Германии: «У меня свои счёты с фашистами». Демобилизовавшись из армии окончательно в июле 1945 года, приехал в Уфу, работал главным инженером в конструкторско-технологическом бюро.

А до 1960 года Г.Н. Таращук считался погибшим. На высоком берегу Баренцева моря стоит обелиск с фамилиями погибших моряков-североморцев. И среди них его фамилия. Приехав на встречу катерников Северного флота в 1960 году, Генри Николаевич живым постоял у своей могилы. А за боевую операцию ему вручили орден Отечественной войны.

«Война не даёт забывать себя. Старые хвори год от года злее. Наседают… А я держусь. Иначе нельзя», - пишет Генри Николаевич.

История семьи Гончаровых
/ автор-составитель В.Ф. Гончарова;
ред. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров
Уфа: Изд-во БГПУ, 2015. С. 210-215.

Ольга БЕЛОУСОВА

Ольга Альбертовна Белоусова (урождённая Тимофеева) родилась в Уфе 18 ноября 1949 года. С 1957 по 1967 гг. училась в 39-й средней школе. Увлекалась литературой, была постоянным

членом редколлегии классной и школьной стенгазет. Её любимой школьной учительницей была заслуженный учитель РФ Нина Аркадьевна Тарасова. С 1967 по 1969 гг. училась в Уфимском библиотечном техникуме. Там ей особенно запомнилась преподаватель зарубежной литературы Каролина Наумовна Неговская. Свою профессиональную карьеру Ольга Альбертовна начала в технической библиотеке УКБ «Молния», проработав там с 1969 по 1970 гг. В 1970 году она поступила в недавно открывшийся Башкирский государственный педагогический институт. За годы учёбы на филфаке ей довелось познакомиться с целой плеядой замечательных преподавателей, среди которых были особенно близки М.Н. Межевая, В.Б. Смирнов, Р.Я. Вельц. В 1970 году Оля Тимофеева вышла замуж за Аркадия Белоусова и в 1971 году родила сына Олега. В 1975 году после окончания филфака БГПИ она пришла в библиотеку этого же вуза заведовать читальным залом. В 1981 году родила дочь Татьяну и после декретного отпуска с 1984 по 1991 гг. работала в 96-й школе учителем начальных классов. Выпустила два класса. Последний, любимый встречается с ней до сих пор. С 1991 по 2007 гг. Ольга Альбертовна работала директором библиотеки БГПУ.

ДЯДЯ СЕРЁЖА

Очень трогательно и очень много можно говорить о дяде Серёже. Понятно, что о мёртвых говорят хорошо, но, по всей видимости, из троих детей у него был самый лёгкий характер. Видимо, годы были трудные (он родился до войны), не очень сытый и не очень хорошо одетый. Так у него сложилась жизнь, что Бог ему дал светлый ум и хорошие руки. Личная жизнь у него не очень хорошо сложилась. Он женился на некой Руфине Павловне. Она родила ему двух мальчиков, мальчики умерли в младенчестве, детей больше не было. Это уже после института. И, когда он ушёл на войну, она, по воспоминаниям моей мамы, начала изменять ему.

Дядя Серёжа с войны прислал письмо, а на войне у него тоже не очень гладко всё сложилось: он в Киеве попал в окружение. А все знают: кто попал в окружение – это штрафбат. Хотя уже потом выяснилось (Аркадий Алексеевич ездил в Киев сам и выяснил), что он всё это время был в Киеве в партизанском подполье и очень много сделал для освобождения этого города. Но в годы войны никто ничего не разбирал, и его отправили в штрафбат. А из штрафбата – на передовую, он разведчиком был. Он попал в Западную Украину и, что интересно, прошёл места, откуда родом мой отец и бабушка со стороны отца. Он был в Житомире, в Бердичеве, во всех местах, где мы потом часто бывали, он в годы войны все эти места прошёл. И с войны написал письмо, спрашивая мою маму, тогда ещё девочку: «Что там с моей Руфиной? Что-то она мне не пишет». Ну а мама была маленькой ещё, она взяла и написала: «Твоя жена гуляет». И он (потом очевидец приезжал и рассказывал) сам попросился в разведку и погиб в Западной Украине. Долго этот факт скрывали от бабушки, потому что бабушка очень любила первого своего сына: он главный был помощник, очень серьёзный, надёжный. Когда ей сказали, она не просто кричала, она выла целый день, это было что-то страшное, а потом замолчала и не как-нибудь, а на всю жизнь. Она о нём почти не говорила. Если говорила, то очень мало. Единственное, что говорила: «Вот, Оля, я умру, в шкафу лежат Серёженькины письма, я тебя прошу: положи их мне в гроб». Я её просьбу выполнила. Правда, мама чуть нарушила: некоторые письма оставила. Они до сих пор хранятся у меня. А основную пачку положили, как она просила.

Письма Сергея Безсчётнова родным в Уфу

Сарны, пятница 16 августа 1940 г.

Дорогая сестрёнка Нина!

Сейчас вечер, сижу у открытого на улицу окна, солнце садится, сегодня уже день второй половины последнего летнего

месяца, природа и музыка всегда заставляют меня грустить, когда вдруг на минутку обратишь на них внимание. Сейчас припоминаю, что в прошлом году в эти дни я проводил свой последний отпуск после окончания института у вас в жёлтеньком домике. Как бы я ещё хотел там побывать, пожить запросто, где каждый уголок, каждый кустик напоминает детство. Нинушка, что может быть дороже и прекраснее детства, жаль, что, когда живёшь в этот период, то не понимаешь всего прекрасного, вот и ты, наверное, как и я в своё время, так же хочешь стать скорее «большой», не понимая в сущности того, что торопишься жить, и ведь жизнь-то, к сожалению, ограничена определённой продолжительностью, и вдруг оглянешься этак, да уж глядишь и прожил положенное тебе время, да уж и поздно.

Ругаем мы все почему-то этот жёлтенький домик и рвёмся все из него, и я тоже ещё мальчиком имел стремление скорее уйти, скорее начать жить самому, да в сущности так и получилось: в 32 г. встали мы, помню, все, по привычке, к переднему углу, и уехал я в Ленинград – так вот с тех пор и езжу. Папенька с маменькой там старятся, вы, наверное, уже большущие стали, а я где-то всё больше сам с собой, - обидно.

Твоя открыточка ещё от 27-ого июля лежит передо мной, до сего времени не отвечал потому, что всё как-то не знаю: как и с чего начать, как писать своей сестрёнке, хочется мне поговорить, побеседовать, да не с кем, Женька и тот что-то мне ничего не напишет, ты вот молодец, ты мне присылаешь всё-таки писульки.

Ты, Ночка, никому не говори: я очень страдаю, что мне не пишут. Вот получают друзья мои письма, а мне завидно и больно, как бедному ребёнку, которому не дали конфетки, а спросят другой раз: почему это у тебя мол так, не любят что ли или некому, так врать приходится, бросится кровь в лицо, да подумаешь: правы, вроде, они.

Со вчерашнего дня числюсь на паровозной практике, жду вызова на паровоз. Практика здесь в Сарнах, адрес мой старый. За это время послал маме телеграмму, заказное письмо и письмо папе.

Жду от тебя что-нибудь.

Целую, твой брат Сергей Без.

Киев 3 декабря 1943 г.

Дорогие Папа и Мама!

Посылаю Вам 3-е и последнее письмо из Киева, завтра иду снова на фронт.

Очень жалею, что не получил от Вас так с нетерпением мной ожидаемых, дорогих мне строчек, но, может быть, даст Бог если Вы мне пришлёте письма в адрес, где я сейчас живу, и я буду жив, так мне их перешлют.

Конечно, при первой возможности сообщу вам свой новый адрес.

Многое бы хотелось узнать от Вас, многое хотелось бы сообщить и Вам, но бумага тесна для всего того, что пришлось пережить за этот период, даст Бог свидеться, всё расскажу.

Дорогие мои, если бы вы видели сейчас мои сборы, и смеялись бы, и плакали, ведь провожать-то собственно некому, там, где я сейчас живу, материально окончательно <…>. Сегодня ходили по знакомым (их за это время жизни в Киеве уже порядочно), кто даст кусок хлеба, кто что может, свет не без добрых людей. Маманька, прошу Вас от моего имени пришлите благодарственное письмишко Анне Николаевне Шаровенко, женщине имеющей 7 человек детей, действительно понимающей нужду и в нужде своей не забывшей таких несчастных, каким я был во время, когда бежал из плена. Она моя спасительница, и нет границ моей благодарности, которую я бы оказал ей.

<u>Больше писем в этот адрес не пишите.</u>

Когда начал писать письмо, вспомнил своё детство, вспомнил как в тяжёлые голодные годы, когда ты посылала папаньке письма, обычно посылала в них отпечаток маленькой моей ручонки, в память об этом посылаю Вам теперь уже не ручонку, а целую лапу.

Дорогие мои, не беспокойтесь за меня, сын Ваш не посрамит славное имя воина Красной Армии.

Целую Вас крепко-крепко, целуйте за меня дорогих сестрёнку Нинушку и братишку Жуньку, поди большущие стали.

Целую крепко и свою Руфочку, если она этого достойна, пусть не обижается, что не писал ей, я ведь не знаю: следует ли мне это делать.

Ваш сын Сергей Без.

Киев 10 декабря 1943 г.

Дорогие мои!

Спешу послать вам поздравительную новогоднюю открыточку.

Поздравляю вас, моих дорогих, с новым тысяча девятьсот сорок четвёртым годом. В этот знаменательный час все мои мысли, мои думы будут вместе с вами, так же, как в сорок втором и сорок третьем годах. За меня не беспокойтесь – здоров.

Целую вас всех крепко, думаю следующий новый год встретить вместе.

Ваш сын Сергей.

23 января 1944 г.

Дорогие мои Папа и Мама!

Последний раз написал вам открыточку в одном из сёл, не знаю, как послали вам её или нет, я просил послать её хозяйку, у которой ночевал.

Сейчас вновь пишу на ночёвке в одном из сёл Винницкой области – совершенно случайно попал ночевать в интеллигентную семью, семью учителя. Сделали мне конверт, и я воспользовался случаем сообщить о себе.

Очень жалею, что не имею от вас никаких известий, а по сему весьма ограничен в адресатах, ну когда-нибудь получу и от вас, тогда буду знать больше.

Целую всех вас.

Передайте привет всем знакомым.

Маманька дорогая, если помнит меня моя жена, делись с ней всеми моими сообщениями.

Ваш Сергей.

2 мая 1944 г.

Дорогой мой брат Женя.

Вчера получил твоё письмо, которое ты послал 26-го марта, радуюсь здесь вот твоим успехам – ну и молоток же ты, что избрал себе электротехническую специальность, ведь это не какие-нибудь там «строители». Вот только я никак не придумаю:

почему это тебе «пришлось уйти» из 8-ого класса? Уж не так ли как мне в своё время «пришлось уйти» из 9-ого? Брат мой, не забывай меня, пописывай мне, ты не поймёшь как радостно и радужно на душе, имея слова близких. Маманьке, старушке моей, передай, что письма и открыточки ваши получил. Ну, дорогой, учись, добивайся, а я здесь на фронте вместе с другими буду оберегать таких как ты, рвущихся к жизни юношей.

10 мая 1944 г.

Старушка моя!

Первого мая получил от вас по письму, на другой же день ответил и также послал вам каждому по письму.

Сегодня посылаю вам свою фронтовую «фотографию» - посмотришь на своего «мальчика». На днях получил Нинушкину открытку, я здесь вместе с друзьями восхищался свободным слогом, которым Нинушка владеет, ведь оставил-то я её ещё клопом. Какие вы теперь стали – и не представляю. Может быть, пришлёте какие-нибудь фотографии.

Жду ваших писем, целую крепко.

Привет всем знакомым от гвардейца-разведчика.

Твой сын Сергей Без.

28 мая 1944 г.

Маманька, родная моя!

На днях получил письмо от Лены из Киева, пишет мне, что ты беспокоишься обо мне, не получая от меня писем. Всё дело здесь, видимо, только в том, что пошаливает почта, потому что я послал всем изрядное количество писем и на все ваши письма послал ответы, кроме всего, послал письмо со своим портретом. Как вы там, дорогие мои, пишите больше – вас ведь там много, каждый по письмишку – и мне тут отраднее будет. Спрашивал я сестру, спрашивал отца, теперь спрошу тебя: почему никто из вас не напишет мне про жену, что с ней и где она, и знает ли она, что я жив, знать обо всём этом обязывает меня мой долг, дабы не быть впоследствии причиной недоразумения, да и, откровенно, пока в безвестности тоскую. А, может быть, и тосковать-то не стоит? Может быть, всему мешает твоё старое предубеждение к ней? Да и не только твоё, а и отца.

Целую всех вас.
Твой сын Сергей Без.

17 июня 1944 г.
Дорогая моя мама!

Вчера получил целый ворох ваших писем – три твоих открыточки от 11, 13, 18 мая, два Нинушкиных письма от 21 и 23 мая и Женюркино письмо от 15-ого мая, ты всё ещё меня поругиваешь за то, что мало вам пишу, да я за промежуток времени с 1-ого мая послал вам с десяток писем, числа 10-ого мая послал тебе письмо со своим портретом и в каждом из последующих спрашиваю: получила ли ты это письмо? И, как видно из этих ваших писем, вы это моё письмо ещё не получили.

Очень я удручён известием о гибели Глебки, Шуры и Николая Спасского, будто что-то оборвалось внутри – ну пока я сам жив, отомщу за них мерзавцам. Нинушка обижается, что я тебя старушкой величаю – ты, говорит, завиваешься и не так уж стара, а на меня говорит: если ты с усами и бородой, так не рыпайся. Уж очень, видно, Нинушка удручена тем, что ей придётся пройти повторный курс в школе, пусть не тратит зря энергии – жизнь её вся ещё впереди, и какой-нибудь год в её лета ничего не значит, помнишь, я в своё время сколько потерял, а того, что было нужно, всё-таки добился.

Через месяц будет 5 лет как я получил диплом инженера, у вас и телеграмма, кажется, моя об этом сохранилась, пять лет прошло как я побывал в своём родном уголке. Как коряво складывалась и сложилась жизнь – я почему-то и в то время чувствовал и переживал это, призадумаюсь другой раз и теперь анализирую всё прошедшее и жаль становится уже безвозвратно потерянного времени. Вот другой раз ночью смотрю на «большую медведицу – ковшик» и вспомню отца, как бывало вечером по моём приезде из Москвы хочется ему со мной пройтись, рюмочку выпить. И говорит он тебе: пойдём, мол, с Сергеем Уфу посмотреть – а ты всё знаешь, тебя не обманешь, знаешь какую Уфу смотреть. А мы выйдем бывало за калиточку да и на небо смотрим. Отец говорит: «вызвездело», и хорошо обоим, побеждает это величие чего-то колоссального, неизведанного, и бредём вместе, не сговариваясь, опрокинуть рюмочку.

Зачерствел и огрубел я за эти годы, а вот музыка до сих пор действует на меня, вспомнишь какой-нибудь любимый наш напев, наполняется грудь, сжимается горло. «Но Доротея, пропотев…» вспоминаю холодный лютый Челябинск, солёные блины, сосульки на умывальнике и мышей, шибздик я тогда был, а вот врезалось в память – будто вчера это было.

Тридцать лет скоро стукнет, бегут годы, и жаль их, жаль даже и те, которые были полны тягот, забот и всяких передряг.

Вчера вот земляка встретил – Зотова, сына нашей старшей сторожихи в школе, как с родным встретились, обещал написать обо мне своей матери.

Здесь у меня товарищ хороший есть – Сидельников Степан Иванович, доцент Сталинградского университета, сам он окончил Ленинградский университет, делимся с ним о всяких радостях и горестях. Вчера сообщил он мне, что жена его бросила сына его матери и сама куда-то девалась. Неужели это у нас там в тылу такая практика, а мы-то здесь только и живём, что именами дорогих нашему сердцу, и песни наши только и проникнуты грустью и надеждой на любимые имена.

Всё обижаешься ты, что мало пишу о себе. Я – разведчик одной из гвардейских, дважды краснознамённой, ордена Ленина, ордена Богдана Хмельницкого Глуховской дивизии –нахожусь в нашей Западной Украине. Лето вступило в полные свои права – богатая, сочная растительность, вот в землянке передо мной стоят пионы, у нас дома в садике тоже, наверное, цветут.

Ну, маманька, кланяйся всем моим знакомым, может быть, кто черкнёт мне записочку.

Жду ваших писем, сейчас напишу ещё Нинушке и Женюрке, бате тоже напишу.

Целую крепко.

Твой сын Сергей Без.

17 июня 1944 г.

Любимая сестрёнка!

Спасибо тебе за письма, вчера получил сразу два твоих письма от 21 и 23 мая – ты тоже меня в них ругаешь за то, что мало пишу. Совершенно это необоснованно: я тебе послал немало писем, правда, ответы почему-то я имею не на все. Нинушка, родненькая

моя, как ты мне напоминаешь про наш родной уголок, как всё это близко моему сердцу.

Прошу тебя: не переутомляй себя, смирись с мыслью пройти повторный курс в школе, меньше всего обращай внимания на злые языки в данном вопросе и всегда добьешься того, что ты хочешь взять у жизни.

Пиши мне почаще такие письма, мои друзья и те завидуют мне, что я имею такую сестрёнку, которая так просто задушевно-хорошо обо всём пишет.

Ты угадала, дорогая сестрёнка, что имя Руфы для меня не просто имя, я ей написал письмо, может быть, она ответит – не знаю, попрошу тебя в свою очередь: напиши ей коротенькую записочку, в которой сообщи ей, что я послал ей письмо. С мамой по этому вопросу лучше не говори – пусть все неприятности переживу только я сам.

У нас здесь тоже всё цветёт, пошлю тебе лепестки пиона.

Может быть, приведёт Бог, приеду вместе с вами урожай вкушать. Жду с нетерпением твоей фотографии.

Кланяйся от меня Нине Арцимович, передайте привет Анне Васильевне Дроздовой, как поживают Нина и Муза?

Пиши мне больше и почаще.

Любящий тебя твой брат Сергей Без.

P. S. Никогда не забывай ставить дату на своих письмах.

24 июня 1944 г.

Дорогая сестрёнка!

Вчера получил твоё письмо за 25 мая. Ну и молодчина ты! Стишок твой всем моим товарищам понравился, ну а я так просто в восторге. Поздравляю тебя с днём твоего рождения, моим подарком тебе пусть служат ушедшие на тот свет фрицы в ночь с 22-ого на 23-е число в одной из операций под моим командованием, а я как раз отметил третью годовщину войны, да и вообще, дорогая моя сестрёнка, не беспокойся за меня, отомщу мерзавцам и за лишние морщины и за мою изломанную жизнь – это ведь я им всему обязан. Теперь я всё знаю, благодарю тебя за откровенность и правду. Теперь для меня этого имени больше не существует, и прошу вас всех больше его не вспоминать. А вот если погибну я, тогда прошу тебя: отблагодари её от моего имени,

напомни ей, что моя кровь 1941-го года принесла ей её счастье, пусть она это запомнит на всю свою жизнь. Мои фотографии и мой черновой диплом, мой институтский матрикул потребуйте от неё – она на них не имеет никакого права, напомните ей, чтобы больше не смела грубить моей матери, ибо если фронтовик будет жив, он сумеет по-своему, по-фронтовому заставить забыть раз и навсегда как грубить. Фамилию мою она так же не имеет права носить, пусть не смеет порочить нашей доброй семьи.

На днях напишу ещё, сейчас «скрипят» и заставляют гасить свет.

Художник, что рисовал меня – это мой товарищ Николай Салтыков, шлёт тебе привет, а фрицев он бьёт не хуже, чем рисует, он – партизан. Скажи маме, что получил её открыточку за 23 мая. Кланяйся всем моим знакомым.

Целую всех вас.

Твой брат Сергей Без.

Действующая армия

11 июля 1944 г.

Дорогая маманька!

Пишу на досуге эту записочку, получил сегодня твою открыточку за 12 июня и коротенькое письмо от 13 июня с вложенным в него письмом от товарища моего по тяжёлым дням плена Голубева, товарища, с которым одновременно был осуществлён побег и с которым делили пополам каждую съедобную краюшку. Очень я рад его письму, это один из уцелевших товарищей моей последней жизни, другие многие уже погибли. Я сейчас здоров, вкушаю все прелести тыловой жизни, вспоминаю родной жёлтенький домик с его обитателями, вспоминаю шумную Москву. Через 12 дней – пятая годовщина защиты диплома. Как всё это близко кажется, а сколько пережито.

Целую всех вас.

Твой сын Сергей.

Действующая армия

4 августа 1944 г.

Дорогая мама!

Получил твоё письмо от 13 июля, дней несколько тому назад я послал тебе письмо с боевой дороги.

Ну вот и Женюрка, стало быть, начал свою трудовую карьеру. Я вспомнил как я впервые в жизни поехал в командировку в Дюртюли, помню как ты меня провожала и Женюрку тоже вообразил.

Ты мне пишешь, что имеется возможность покинуть Уфу, я лично одобряю такого рода стремление, совершенно напрасно и ни к чему ожидать меня для исполнения этого замечательного дела, Уфа ведь и для меня никогда не была местом, которое бы мне приносило счастье. Что касается в отношении выбора направления, так я лично стою за Ленинград. Женюрке так и передай, что я на него возлагаю большие надежды, и пусть он свято хранит мою мать – если я сам не сумел этого сделать. Ждать меня нужно долго, я на продолжительное время выпал и ушёл от мирских сует, и если приведёт Бог остаться в живых, так мне ещё много придётся потрудиться для того, чтобы вновь встать в свою орбиту.

О наших здесь успехах, конечно, читали в газетах, нахожусь сейчас в «настоящей заграницe». Постепенно налаживаю письменную связь, недавно получил письмо от Милочки Колдобской, Борис пропал без вести, Георгий и Серёжа в Свердловске, мать и отец в Москве – очень были рады моему письму. Из Киева также изредка получаю письма. Получил письмо от Нины Арцимович, послал ей ответ. Обязательно сообщите адрес Анны Васильевны Дроздовой, даже сходите к ней и кланяйтесь от меня, я ей обязательно напишу письмо.

Посылаю вам ещё одну свою копию, художник – тот же товарищ по боям Коля Салтыков.

Кланяйтесь от меня всем моим знакомым.

Целую всех вас крепко.

Твой сын Сергей Без.

Белоусова О.А. История нашего рода // Семейные хроники XX века: (сб. семейных историй) / сост. П.И. Фёдоров. Уфа, 2007. С. 47-70.

Нина ГРИГОРАШ

Эта история, рассказанная замечательным человеком, в прошлом талантливым уфимским врачом Ниной Корниловной Григораш (1919-2006), – ещё один штрих к трагической и вместе с тем высокой истории России в XX веке. Через бытовые подробности истории своей семьи Нина Корниловна выходит к важным нравственно-философским проблемам человеческого существования. Некоторые части её воспоминаний, такие, как история деда Фирса Платоновича Крысина, отца Корнилия Яковлевича Григораша, мужа Василия Антоновича Иванова и её собственной работы в органах здравоохранения Башкортостана, имеют несомненную краеведческую ценность. Думается, что эти мемуары будут интересны не только родственникам и друзьям автора, но и зрелым и молодым читателям, поскольку трагический опыт этой семьи помогает взглянуть на себя и свою жизнь другими глазами.

ОТ КРОНШТАДТА ДО КУРИЛ
(История одной семьи)

Начало войны

Из Таллина наш госпиталь был эвакуирован 30 июля 1941 года морским путём вместе со штабом Балтийского флота на одном пароходе. Часть раненых и моряков переправлялись за нами на барже. Весь путь до Кронштадта мы шли под постоянным обстрелом немцев с воды и воздуха. Наш пароход был торпедирован немецкой подводной лодкой, но все-таки дошел до Ленинграда своим ходом. А в баржу было прямое попадание авиабомбы. Там погибли многие, в том числе начальник терапевтического отделения госпиталя Серафим Александрович Копырин и другие знакомые мне врачи. В Ленинграде нам был дан приказ организовать госпиталь в селе Мартышкино на базе детского санатория на берегу Балтийского моря. Мы развернулись, но немцы подошли к Ориенбауму, и нам приказали расформировать госпиталь и организовать медсанбат. Госпиталь уехал в район Кингисеппа, а я осталась одна на берегу, потому что ждала ребёнка. В середине дня прибыла машина из воинской части

мужа. Меня довезли до вокзала и втолкнули в вагон к солдатам одного из последних, уходящих из Ленинграда эшелонов. Недалеко от станции Бологое немцы разбомбили дорогу, и нам пришлось добираться до станции пешком, а оттуда я добралась до Москвы пассажирским поездом. Из Москвы я ехала в мягком вагоне с семьей Стаханова и генералами. Меня поместили на верхнюю полку в купе, а нижние места занимали два генерала, раненых в финскую войну. Роды могли начаться в любой момент, поэтому я приняла все необходимые меры. Один из генералов имел небольшой медицинский опыт и вызвался быть моим акушером. К счастью, роды в вагоне не состоялись, и мы благополучно доехали до Куйбышева. Там мои попутчики вышли. А у меня при посадке в Москве все вещи и документы остались у носильщика, и я осталась с одним билетом до Уфы. Один из генералов вызвал своего ординарца и поручил ему доставить меня до места назначения. 8 августа 1941 года я приехала в Уфу и в этот же день родила сына Сергея.

В Дёмском госпитале

В декабре 1942 года по распоряжению райвоенкомата Уфимского района меня направили в Дёмский эвакогоспиталь № 5918 ординатором хирургического отделения. Специализацией госпиталя было лечение опорно-двигательного аппарата. Госпиталь находился в здании поселковой школы станции Дёма. Начальником госпиталя был Шульгин. Вскоре его сменил Николай Семенович Слепов. Он был в ранге капитана, очень строгий. После войны он работал физиотерапевтом в мединституте. Госпиталь был на 350 коек. Всего в нём работало три врача: старший хирург Леонид Александрович Серебров и два ординатора. Все классные комнаты были приспособлены под палаты, операционные, гипсовальню, физкабинет. Нагрузка врачей была огромная. Через двое суток после обычного рабочего дня мы оставались на ночные дежурства.

Самым сложным в работе врачей этого госпиталя было принимать тяжёлых больных по распоряжению коменданта станции. Сейчас из Дёмы в Уфу можно добраться за 15 минут, а тогда это было большое расстояние. От станции до госпиталя больных несли на носилках. Кроме лошади не было никакого транспорта. С поезда снимали тяжёлых раненых с поражением

нижних и верхних конечностей, тут же отправляли их в санузел, потому что все они были завшивленные, одежду сжигали, снимали гипс и отправляли в чистые палаты. Мне особенно запомнились раненые офицеры Сергей Романовский и капитан Александр Павлович из Камышина с огнестрельным поражением легкого. Они были восстановлены нашими врачами. Самые тяжёлые больные были с поражением бедра и таза. Им ампутировали здоровые ноги, так как в те времена еще не было операций на суставах. Мы складывали ампутированные руки и ноги в специальные гробики и хоронили на кладбище. Тут было очень много слёз. Особенно трагичной была судьба больных, лишившихся обеих рук. Многие из них потом спивались.

Перед нашим медицинским коллективом стояло две задачи: 1) восстановить больного и направить его на фронт через медкомиссию, 2) восстановить здоровье и отправить в тыл. Обе эти задачи выполнялись, поскольку коллектив был слаженный, квалифицированный, заботливый. Средний медицинский персонал был хорошо обучен. Набирался в основном из жителей посёлка Дёма. Госпиталь был как одна семья. В коллективе не было никаких распрей. Курировал наш госпиталь молодой, смелый, уверенный заведующий кафедрой общей хирургии Башкирского мединститута, профессор Александр Андрианович Полянцев.

Однажды в моё дежурство в начале 1943 года в госпитале случился пожар, во время тушения которого проявилась сплоченность нашего коллектива. Не было никакой паники. Один из больных организовал эвакуацию тяжёлых раненых. Местные жители несли лестницы, другие – приспособления для тушения пожара. Общими усилиями пожар был ликвидирован без серьёзных потерь, и вскоре работа госпиталя вошла в свой привычный ритм.

Госпиталь имел свою землю около деревни Баланово. Раненые, которые могли передвигаться, выращивали там картошку, морковь для нашей столовой. Мы сдавали свои продуктовые карточки и на них питались в госпитале. Жили иногда в Уфе, а преимущественно в клубе станции Дёма. Была удивительная слаженность и организованность медперсонала и больных. Госпиталь, по сути, был на полном самообслуживании. Никакого воровства на кухне не было, потому что там были дежурные из больных.

Раненые находились в госпитале от трёх месяцев до года. Лекарства были все, только не хватало бинтов и марли, поэтому использованные бинты стирались и использовались повторно. В качестве наркоза применялись только эфир и хлороформ. Нужен был большой навык, чтобы подобрать правильную дозу и следить за дыханием и сердечной деятельностью. Нагрузка в операционной была огромной. Мы оперировали через день от пяти до десяти раз за смену. Кроме операционной мы были заняты в гипсовальне. И всё равно люди влюблялись, пели, танцевали. Всё, что было свойственно живому человеку, всё было там: и работа, и любовь, и страдания, и смерть, и радость.

В июле 1944 года, после прорыва блокады, я уехала к мужу в Ленинград, госпиталь через два месяца был отправлен на фронт, а вместо него был организован госпиталь для немцев.

На Балтике

После госпиталя я первое время работала врачом на базе подводных лодок, а потом перевелась на должность старшего хирурга в городскую поликлинику Кронштадта.

Мой муж после окончания института был призван на Балтийский подводный флот. В Ленинграде он закончил военную академию и был направлен в Кронштадт начальником медицинской службы бригады подводных лодок. С первого до последнего дня войны он занимался подготовкой водолазов к спуску на большие глубины для быстрого проникновения в затонувшие немецкие корабли и подводные лодки. После войны штаб флота перевели в Таллин, где он был главным физиологом Балтийского флота.

Григораш Н.К. От Кронштадта до Курил: (история одной семьи) // Семейные хроники XX века: (сб. семейных историй) / сост. П.И. Фёдоров. Уфа, 2007. С. 87-92.

Галина ИВАНОВА

Галина Олеговна Иванова родилась 1 октября 1958 года (в один день с любимым писателем С.Т. Аксаковым) в деревне Уса-

Степановка Благовещенского района Башкирии, куда после окончания медицинского института были распределены родители. Семья возвратилась в Уфу в 1960 году. В 1976 г. окончила уфимскую среднюю школу № 44 (математический класс). Параллельно обучалась по классу фортепиано в Музыкальной школе № 4. 1976-1981 - годы учебы на филологическом факультете Башгосуниверситета, где специализировалась по русскому фольклору под руководством проф. Л.Г. Барага. После окончания университета работала «выпускающим» в Госкомиздате БАССР, одновременно училась на вечернем отделении Уфимской художественной школы № 2 в классе художника А.Ш. Кашаева, а позже посещала скульптурную студию Н.А. Калинушкина. Во второй половине 1980-х пару лет работала старшим лаборантом на кафедре знаменитой проф. В.С. Синенко, с 1990 по 1992 гг. – редактором издательского отдела печально известного банка «Восток». И лишь в августе 1992 г. судьба в лице П.И. Федорова привела меня в Дом-музей С.Т. Аксакова, где я служу старшим научным сотрудником и хранителем по сей день. Самые яркие события работы в музее – организация выставки к 95-летию Первой мировой войны и выставки к 190-летию со дня рождения И.С. Аксакова.

ДНЕВНИК МОЕГО ОТЦА
Олега Валентиновича Иванова (1931-2000)

Когда началась война, моей бабушке Евдокии Тимофеевне Хильчевской чудом удалось эвакуироваться, разместившись в последнем поезде, уезжавшем под бомбами из Гомеля. Ее муж, Иванов Валентин Харитонович, был ведущим инженером на гомельском тракторном заводе, который срочно эвакуировали в Омск, где он преобразовался в танковый завод, а Иванов вскоре стал главным инженером. По-видимому, ему удалось в последний момент получить разрешение для эвакуации семьи. Бабушка вспоминала, что всем настоятельно рекомендовали ничего с собой не брать, убеждали, что война закончится через несколько недель,

поэтому выехали в летней одежде, взяв с собой самое необходимое. Она рассказывала, что поезд долго стоял на станциях, добирались до Уфы около месяца, и одежда на теле от грязи и пота как бы истлела. Семья состояла из 10-летнего сына Олежика, старой матери Агрипины и пожилой свекрови Евдокии Ивановны.

В центре Уфы находилось учреждение, где беженцам выдавали ордера на заселение. Перед домом был большой двор, заросший травой, на котором, как цыгане, разместились приехавшие. На этом дворе под небом так и жили, дожидаясь своей очереди на вселение. Бабушка вспоминала, что однажды на крыльцо вышел уполномоченный и долго кричал, подзывая кого-то. Наконец, выяснилось, что он обращался к ней. В молодости бабушка была яркой и привлекательной, она боялась, что мужчина, давшей ей ордер без очереди, воспользуется положением, тем более, что он знал ее адрес, и будет домогаться. Но выбирать не приходилось, и она приняла помощь, как оказалось… без последствий.

Семью разместили в проходной комнатке в доме на улице Гоголя. Утром Евдокия Тимофеевна, взяв сумочку, где находились все деньги, отправилась на базар за продуктами и одеждой. Базар размещался на месте нынешних корпусов авиационного университета. Часть площади была огорожена металлической решеткой, и когда бабушка в задумчивости остановилась с одной ее стороны, через решетку босяк протянул руку и выхватил сумку со всеми сбережениями. Положение было катастрофическим: две пожилые женщины и мальчик на руках и ни одного знакомого в чужом городе… Вскоре свекровь уехала в Омск к сыну, а бабушка решила остаться в Уфе.

В Гомеле Евдокия Тимофеевна окончила гимназию и служила чертежницей, но в Уфе по специальности она не могла устроиться и нашла работу неподалеку от нового жилья – на Кировском заводе на пересечении улиц Маркса и Фрунзе (ныне Валиди). В 1941 г. из Ленинграда в Уфу был эвакуирован (среди прочих 50-ти предприятий) завод «Красная заря» № 628 (называвшийся с 1973 г. «кировским»), где изготавливали военно-полевые телефонные аппараты и коммутаторы. Находился он напротив стадиона «Динамо». По воспоминаниям бабушки, на этом заводе был и цех, выпускающий снаряды, где она какое-то время работала за

станками. Однажды в ночную смену, ослабнув от голода и недосыпания, она задремала стоя и не заметила, как край теплого шерстяного платка стал наматываться на станок. В одно мгновение ее начало душить, а потом перебросило на противоположную сторону. Чудом она осталась в живых, а с шеи еще долго не сходили страшные кровоподтеки. Недоедание и недосыпание – самая характерная деталь военного времени. Многие рабочие, эвакуированные вместе с заводами, даже умирали от дистрофии и голода.

26 июня 1940 года указом президиума Верховного Совета СССР были введены 7-дневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, однако с началом войны он увеличился до 9-11 часов. За опоздание на работу более чем на 21 минуту полагалась уголовная ответственность. Запрещалось увольнение по собственному желанию. За опоздание давали 5 лет лагерей, за брак – до 10-ти лет строгого режима. Семидневку отменили в 1946 году, а уголовную ответственность за опоздание – в 1956 г. Только с 5 марта 1944 г. было разрешено подросткам младше 16 лет отдыхать один день в неделю и иметь отпуск.

У коренных жителей Уфы, имеющих свой дом и небольшой приусадебный участок, была возможность делать на зиму небольшие запасы, держать кур, козу, свинью и даже корову, что помогло продержаться и не умереть в голодные военные и послевоенные годы. Так и жила другая моя бабушка, которая смогла сохранить и вырастить четверых детей. Но для эвакуированных выжить было очень трудно. Евдокия Тимофеевна вспоминала, что от постоянного голода у нее и 11-летнего сына на лице выросли длинные тонкие прозрачные волоски. Такой же рассказ я слышала от старушки-блокадницы из Ленинграда.

Моя прабабушка Агриппина, вероятно, отдававшая маленькому внуку Олежику свой хлеб (норма хлеба для неработающих до декабря 1943 года была 400 граммов, а позже – всего 300, но талоны нужно было еще и «отоварить», выстояв длинную очередь, иногда и безрезультатно) умерла в 1942 году от голода. Царство ей небесное, иначе не было бы ни меня, ни моей дочери, ни внуков! Жили тогда все в той же проходной комнате. Переодев ее в чистую и относительно новую одежду, Евдокия Тимофеевна с сыном ушли за ордером на погребение, а когда

вернулись … обнаружили, что тело умершей прикрыто одной рубашечкой. Соседи полностью раздели ее! Сегодня и судить их за это нельзя, потому что людям просто нечего было носить…

В своем дневнике отец вспоминает, что были дни, когда совсем нечего было есть. И тогда его Мама сдавала кровь, получала талоны, которые в специальном магазине для доноров можно было обменять на продукты. Значит, была и такая практика военного времени в Уфе: чтобы поддержать и спасти детей и близких,- сдавали кровь…

Бабушка на склоне лет вспоминала добрых людей, семью сослуживицы, которая несколько раз отдавала им часть своих продуктовых карточек, потому что ее отец был начальником и имел дополнительный паек. Эти карточки спасли им жизнь. В 1970-е годы бабушка и папа как-то обсуждали, какой постельный комплект лучше купить, чтобы отблагодарить в новогодние дни своих спасителей.

Незадолго до своей смерти бабушка Евдокия Тимофеевна распределила скромное наследство между мной и братом Сашей. Мне досталась швейная машинка тети Лины «Пфафф», а брату - вязальная чулочная машинка, длинная и довольно громоздкая. О ее судьбе не знаю, но машинка эта в голодные военные годы помогла выжить. На ней бабушка вывязывала чулки, которые окрашивались в красный, коричневый и черный цвета и продавались на базаре или обменивались на продукты. Есть упоминание, что бабушка покупала готовые чулки, которые привлекательно «облагораживались»: окрашивались в разные цвета. Возможно, машинка была куплена позже после таких чулочных опытов.

В моем детстве Евдокия Тимофеевна часто готовила для нас с братом густой травяной борщ, когда летом мы подолгу жили у нее на улице Кирова. В дело шла вся трава, растущая в маленьком садике, но больше всего в борще было лебеды. Именно эта питательная трава с серебристыми листочками помогала выжить в войну. Через несколько десятилетий я вдруг стала сама готовить такой борщ, в котором ложка стоит, хотя меня никогда этому не учили.

Вспоминаю, чем еще отзывалась война в моем детстве, в 1960-70-е годы… Всплывает в памяти такая картинка. Мы с братом, упитанные, краснощекие, не хотим полностью доедать

обед или ужин. Папа не разрешает нам уйти с кухни, пока тарелки полностью не опустеют: он все еще не забыл свое голодное детство. Помнится, как отец, не спеша, медленно, с наслаждением вкушал ужин за чтением свежей газеты. Отрезался от сыра или докторской колбасы (которая была верхом лакомства и редкостью в нашем доме) почти прозрачный ломтик, за ним – следующий и последующий… Удовольствие растягивалось, он был настоящий гурман. Привычка следить за политическими событиями в стране и мире сформировалась у него в 10-летнем возрасте и сохранилась до последнего его дня.

После освобождения Белоруссии от фашистов и после завершения учебного года, когда мой отец окончил 6-й класс, в июле 1945 года моя бабушка Евдокия Тимофеевна с 14-летним сыном Олегом вернулись на родину. Во время бомбежки Гомеля бомба упала рядом с их домом: он уцелел, но остался без крыши. На усадьбе сохранился большой сад, однако забор, сарай, ставни и крыльцо разобрали соседи для отопления своих домов. Во время войны в доме какое-то время жили немецкие солдаты, потом чужие люди. Пол на несколько сантиметров был покрыт слоем грязи и земли, а когда его отмыли, - нашли стальной нож со свастикой. Этим ножом бабушка пользовалась всю жизнь, за годы лезвие сточилось и стало коротким. Он до сих пор хранится как реликвия в нашей семье.

Соседи вернули в дом самовар, кухонные предметы, но нажитое поколениями добро пропало. В Гомеле мой отец завершил среднее образование, закончив 7-10 классы, некоторые предметы преподавались на белорусском языке. Чтобы выжить, бабушка пустила жить в дом около десяти девушек, приехавших из деревень в поисках работы. Они расплачивались продуктами, из них она готовила им еду, которую ели и сами. После окончания школы дом был продан, а Евдокия Тимофеевна с сыном вернулись в Уфу, где он поступил в медицинский институт.

Вниманию читателей предлагается детский дневник, который мой отец начал вести в 12-летнем возрасте в 1943 году. Почему он начал это делать? Несомненно, в первую очередь, это характер, беседа с самим собой в долгой одинокой тишине, подсознательное желание сказать себе: я выжил, я жив (почти каждую запись он помечает своим именем – «Олег», вспоминая родственников и

знакомых, погибших под бомбами, в плену, на войне, и бабушку, угасшую на глазах от голода). Это и горячее желание приблизить конец войны и вернуться в родной дом: три года он рисует две карты и следит за продвижением линии фронта, внимательно записывая в дневник каждый освобожденный город. Было и много свободного времени, которое не с кем было разделить. Самый близкий человек – Мама – с утра до ночи на работе. По характеру быстро с другими людьми он не сходился, не было одежды и денег, чтобы даже ходить в школу, а в гости или играть и гулять на улице, - это все осталось в другой жизни.

В тексте дневников часто встречаются упоминания о салютах в честь освобождения городов. Долгое время я думала, что в годы войны такое использование снарядов было нерачительно, и поэтому по радио включали специальную их запись, или это были просто слова. И только недавно прочла в интернете подробную информацию об этом интересном факте. Оказывается, салюты были! иногда даже несколько раз в день в зависимости от количества побед, чтобы поднять боевой дух, внести бодрость и веру в сердца и умы усталых, голодных людей.

Первый салют Великой Отечественной войны состоялся в Москве в августе 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд холостыми снарядами вели 100 зенитных орудий и 24 горные пушки кремлевского дивизиона (сохранилось фото этого первого салюта). Традиция победных салютов началась в 1943 году, автором идеи, по свидетельству маршала А.Еременко, был Иосиф Сталин.

Тогда же, в 1943, было установлены три категории салютов. 1-я степень (24 залпа из 324 орудий) - при особо выдающихся событиях (освобождения столиц, достижения госграниц). Первый такой салют состоялся 6 ноября 1943 года в день освобождения Киева, а последний – 3 сентября 1945 года в честь победы над Японией. Всего их было – 26.

2-я степень (20 залпов из 224 орудий) – в честь освобождения крупных городов, форсирования больших рек, завершения важных операций. Всего таких салютов было 206.

3-я степень (12 залпов из 124 орудий) – по поводу важных операций: окружения крупных группировок врага, овладения важными ж/д, морскими и др. пунктами. Всего их было 122.

Каждый раз салюты назначал Сталин, и проходили они в Москве, за исключением салюта 1-й степени в Ленинграде 27 января 1944 г. в честь снятия блокады. Иногда за вечер в Москве производилось несколько салютов.

Салют Победы был дан 9 мая 1945 года - 30 залпов из 1 тысячи орудий! Он сопровождался перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. А первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года.

В последующие годы 9 мая в 21 час традиционно производился салют из 20-30 залпов. В 1985 году на 40-летие Победы было 40 залпов. Салюты были в столицах, а с 1960 года – и в городах-героях, в центрах военных округов, флотов и флотилий.

С 1965 г. – День Победы был объявлен праздничным и выходным днем. Этот день отмечали военным парадом на Красной площади, салютом из 30-ти залпов и фейерверками. После распада СССР парады возобновились в юбилейный 1995 год и проводятся ежегодно.

Примечание. Слова, обозначенные курсивом в скобках, являются дополнительной информацией или комментариями Ивановой Г.О. Выделения в тексте дневника соответствуют оригинальной записи.

1-я ТЕТРАДЬ ДНЕВНИКА

16/II 1943 г.

Я долго ждал последних известий, до 1-го часа ночи. Мама работала на 2-й смене. Наконец я услышал слова: «Говорит Москва, передаем сообщение советского информбюро. В последний час. Наши войска взяли ХАРЬКОВ». Я был очень рад, когда услышал эти слова. Большая охота тогда взяла меня работать, я даже пошел *(на колонку)* и принес воды, вскипятил чай к маминому приходу. Олег.

7/IX. 1943 г. Вторник. Уфа.

Сегодня наши войска заняли в Донбассе большие города: Макеевку, Константиновку, Краматорск, Славянск. Заняв

Макеевку, советские войска, очевидно, завтра займут сердце Донбасса – Сталино. Как радостно слушать теперь оперативные сводки, которые сообщают о новых и новых советских городах, которые освобождает Советская Армия. 5/VIII-43 г. Красная Армия перешла в наступление против немцев и заняла города Орел и Белгород. Наша столица Москва по приказу Сталина салютовала 13 залпами из 224 орудий. В небе Москвы был будто фейферик (фейерверк). Вслед за этой победой наши войска 23/VIII заняли Харьков, Рыльск. Наша Москва дважды салютовала доблестным войскам. Сейчас наши солдаты стоят у ворот Смоленска и Полтавы. Сегодня сообщили по радио, которое провел я позавчера, что наши войска, успешно развивая наступление, заняли крупную железнодорожную станцию **Конотоп** (в северной Украине). Я очень был рад этому сообщению, так как если взяли Конотоп, послезавтра займут **Бахмач.** А если Бахмач взят, значит и наш любимый **Гомель** также будет взят. Кроме того, железнодорожная линия идет на Киев и Прилуки. Немцы уже почти со всего Донбасса выгнаны**.** Олег.

И с каждым днем
все больше во мне
боевого духа.
Сегодня отправлю
Сергею Степановичу
письмо, в котором
поздравлю его
с новой победой.

(Сергей Степанович Грушко был соседом по Гомелю. Его семья проживала через несколько домов за углом. Дружили всю жизнь. С.Г. Грушко был на фронте в достаточно высоком командном чине).

8/IX. 1943 г. Среда.

Вчера я ходил по магазинам почти весь день. И только в 11 ч. пришел домой. Сначала я пошел в военный магазин № 3. Там давали рыбу. Я подал карточку, но противный мальчишка перевернул карточку и отдал обратно, потому что я не был прикреплен там. В магазине была еще одна продавщица, только она не отпускала рыбу. Я сходил в Башкниготорг за книжками, из которых я или мама делали коробки. Мама купила пудру «Май» в

магазине правительства Украины. Мы в коробки насыпали пудру и продавали на базаре. Вчера мама продала при мне коробочку за 40 рублей. Книг нужных мне не было. Я опять пошел в военный магазин. Другая продавщица тоже посмотрела и тоже отдала карточку обратно. Так я и не получил рыбу. Надежда Михайловна (*видимо, соседка по квартире*) сегодня заболела, ей доктор сказал, что у нее воспаление легких. Она дала мне книжку, чтобы я ей прикрепил карточки. Но я не прикрепил, потому что в столовой на заводе, где работает мама, не было хлеба. Так что я с вечера пошел на завод за хлебом *(Кировский завод на перекрестке улиц Маркса и Фрунзе)*. Хлеба долго не было. Только в 9 часов 30 м. вечера хлеб привезли. Я получил его и пошел домой. Мама в это время дежурила в конторе завода. Я пришел домой, поел картошки с селедкой и лег спать. В 12.30 вечера сообщили последние известия. Сообщили о новых больших населенных пунктах, занятых Красной Армией в Донбассе. Наши войска значительно приблизились к Сталино. Я заснул крепким сном. Утром в 1 час мама пришла с дежурства. Вечером было важное сообщение. Диктор объявил миру о новой победе советских войск, которые освободили наш Донбасс, нашу кочегарку и важный промышленный район. Заняли города Сталино и другие.

29/IX 1943 г.

Сегодня я что-то долго засиделся. Мама дежурила на заводе. Я делал коробки. Я досидел до 12 часов ночи. Собирался было спать, и уже лег, как заговорило радио: «Внимание, говорит Москва. Товарищи, сегодня 29-го будет передано по радио важное сообщение». Радио говорило очень тихо. Я его скорее включил. Сообщили, что наши войска заняли предместное укрепление гор. Кременчуг на Днепре. Я был очень рад этой новой победе. По приказу верховного главнокомандующего маршала тов. **Сталина** Москва салютовала нашим войскам, занявшим Кременчуг, 121 орудийными залпами из 124 орудий. В репродукторе послышался звон Кремлевских часов. Потом последовал мощный 1-й залп, за ним последовали остальные. Я пишу не красиво, потому что пишу это в кровати. Я решил подождать последних известий.

6 ноября 1943 г.

В 6 ч. 20 м. вечера по радио сказали, что будет передано важное сообщение. По радио сообщили о том, что наши войска овладели

столицей Украины городом **Киев**. Это хорошее сообщение. Как раз перед Октябрем. Завтра праздник. Сегодня выступал по радио верховный главнокомандующий маршал Советского Союза тов. Сталин, он сказал, что война близится к развязке.

XI - 1943 г.

Сегодня после Киева наши войска заняли **Житомир.** Это было в 9 часов вечера.

XI -1943 г.

Сегодня после Житомира заняли **Овруч**, а раньше этого **Коростень** и **Речицу**. Красная Армия продолжает наступать.

Пятница. 26/XI. 1943 г. 10 ч. 30 м.

Мы сидели дома. Уже собирались ложиться спать. Вдруг нам сказали соседи, что по радио сообщили, что скоро будет передано важное сообщение. Маме сказали, что взяли Гомель. Мама так и вскрикнула. Но оказывается еще неизвестно, что взяли. Я пошел слушать радио (тогда у нас снова не было радиоприемника). И вот говорит диктор в Москве: «Войска белорусского фронта в результате упорных боев и обходного маневра овладели крупным городом **БССР ГОМЕЛЬ.** Я был очень рад. Скоро, наверное, поедем домой.

30/XI. 1943 г. Вчера немецкие войска в районе Житомира начали контрнаступление и заняли несколько населенных пунктов. А сегодня немцы опять заняли Житомир. Эта весть ошеломила меня.

3/XII. 1943 г.

Сегодня наши войска под напором немцев и по приказу верховного главнокомандующего оставили гор. **Коростень**. Немцы опять жмут на Киев.

9/XII. 1943 г.

Я теперь заболел. Завтра уже пойду в школу. Сегодня оперативная сводка такова: южнее и юго-западнее Кременчуга наши войска заняли районные центры Кировоградской обл. города Новую Прагу и Елизаветградку и перерезали жел. дорогу Знаменка-Николаевка и Кривой Рог. Северо-восточнее Черняхова наши войска вели упорные бои и под напором немцев оставили несколько населенных пунктов. Подбито 96 немецких танков, из них 84 под Черняховым. Немцы, очевидно, хотят связать железной дорогой Житомир с Коростенем и потом наступать на Киев. Но Красная

Армия только расшатает немецкую оборону и нанесет сокрушительные удары зимой.

10/XII. 1943 г. Пятница. г.Уфа.

Сегодня я пошел в школу. Когда я пришел со школы, у нас не было ни кусочка хлеба. ***Хлеб уменьшили на 100 гр., и теперь я получаю 300 гр., а мама 400 гр. вместо 500 гр.*** Я очень хотел хлеба. Мама пошла на базар, а потом в магазин за хлебом. Она зашла в **1-й магазин доноров** (выделено ИГО), этот магазин только для прикрепленных. Там были пирожки. Она получила пирожки на сегодняшний день. А потом пошла в следующий военный магазин № 3. Там люди узнали, что напротив дают хлеб не прикрепленным. Мама пошла туда. Хлеб она получила только по своей карточке 400 гр. Мама пока стояла за хлебом, съела свои пирожки. Она пришла домой и сказала: «На твои пирожки. Я свои уже съела».

Мы вечером уже обедали, как услышали, будто говорят по радио: «Важное сообщение». Мы прислушались и – да, это был приказ о том, что наши войска сломили сопротивление немцев и заняли гор. Знаменку – важный узел сопротивления немцев на Кировоградском направлении. Сегодня оперативная сводка такова: возле Кременчуга наши войска заняли несколько населенных пунктов, под Черняховым продолжались ожесточенные бои. Уничтожено 78 немецких танков, из них 75 под Черняховым. Завтра напишу письмо в Гомель. Сейчас уже 11 часов вечера. Я буду ложиться спать.

29/XII. 43 г. Среда. Уфа.

Сегодня я получил по арифметике и грамматике «отлично». По грамматике я один получил «отлично» из всего класса. Учительница у нас новая. Все на нее обижались. А мне еще лучше, что строгая на отметки.

23/XII-43г. мама получила письмо из Ржаницы от тети Лины (*ее сестра, пережившая оккупацию). Тетя Лина писала, что дом ее сожгли немцы, а ее мужа Григория Борисовича немцы забрали с собой 1 марта 1942 г., и* что осталась с коровой. *(Моя бабушка Е.Т. Хильчевская рассказывала неоднократно, что в ответ на акции партизан немцы ночью согнали всех жителей деревни Ржаницы к оврагу за село и расстреляли. Тетя Лина в ночной рубашке босиком выскочила в окно, выходящее в сад, выгнала корову из сарая и убежала в соседнюю деревню. Вскоре погибли и*

два ее сына, призванные в армию: один – Евгений Родионов – летчик, штурман, защищавший небо над Москвой, другой – пехотинец. В нашей семье хранится фотография 20-летнего Евгения, так похожего на моего отца. Сохранились две семейные реликвии, связанные с тетей Линой: расшитый народным узором рушник и швейная машинка «Пфафф». В прежние годы машинка была большой ценностью, потому что магазины были пусты и большинство жителей России в советские годы одежду шили и перешивали сами. Когда пришли немцы, тетя Лина завернула машинку в полотенце и закопала до лучших времен в саду у дома. После освобождения Белоруссии ее благополучно откопали и пользовались ею еще много десятилетий. И сегодня она стоит как реликвия в моем уфимском доме).

Я был очень рад, что хоть тетя Лина осталась жива. Она писала, что поедет в Гомель посмотреть, цел ли наш дом.

На фронтах дело стало заметно нарастающе улучшаться. Южнее Невеля или севернее Витебска наши войска прорвали оборону немцев и заняли районный центр Витебской обл. Езерище. Затем заняли гор. Городок. Теперь наши войска находятся в 10-8 км от Витебска. Войска 1-го Украинского фронта, отбив все атаки немцев, перешли в наступление и заняли гор. Радомышль и районный центр Житомирской обл. Порельно и другие.

27-28/XII. 43 г. Сегодня наши войска заняли город Коростышев и один районный центр (28-29/XII) и находятся в 20-25 км от города Житомир. Это хорошая победа Красной Армии. Завтра напишу письмо в Ржаницу тете Лине и Сергею Степановичу (*на фронт*). У нас через два дня начинаются каникулы. От Сергея Степановича долго нет писем.

31/XII. 43 г. Пятница. Уфа.

Сегодня вечером хорошо. Сегодня наступает новый 1944 год. Я ходил за водой. Был тихий вечер. Я смотрел на звезды на небе и ***вспомнил про наш дом*** (*в Гомеле*)**.** Вечером сообщили, что наши войска заняли гор. Житомир, а вчера гор. Коростень и Черняхов. Я был рад и спокойно и радостно заснул.

2/I. 1944 г.

Сегодня было важное сообщение. Наши войска заняли много городов, в том числе город Казатин, Сквиру, Червоно-Волынский.

Ходил к Софье Яковлевне и слушал сообщение. Москва салютовала 20 залпами из 224 орудий.

3/I. 44 г. Понедельник. Уфа.

Мы вечером разговаривали. Вдруг по радио сказали: «Приказ верховного главнокомандующего генералу армии Ватутину». Я подумал, что взяли город Бердичев. Но вот передали: «Войска 1-го украинского фронта овладели гор. Новоград-Волынский». Это почти на границе. Москва салютовала 20 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

4/I. 44 г. Вторник. Уфа.

Сегодня опять было важное сообщение. Войска 1-го украинского фронта после 4-дневных ожесточенных боев штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией **Белая Церковь,** а также заняли 40 населенных пунктов и среди них районный центр Винницкой обл. Плисков, районный центр Киевской обл. – Ставице.

6/I. 44 г. Четверг. Уфа.

Мы спали. Я проснулся и услышал, как по радио говорили, что будет важное сообщение. Сказали, что войска 1-го украинского фронта после многодневных ожесточенных боев овладели городом и крупным железнодорожным узлом Бердичев. Я был рад, что, наконец, наши войска взяли Бердичев. Москва салютовала доблестным войскам 1-го украинского фронта 20 залпами из 224 орудий.

Наши войска, кроме того, заняли 60 населенных пунктов, в том числе районный центр Киевской обл. гор. Таращу.

В последние дни войска 1-го украинского фронта продолжали успешное наступление и заняли более 300 населенных пунктов, и среди них районные центры Киевской обл. – Ржицев, Жажков, Узин, Ракитно, Буки, Качарлык, Маньковка; районные центры Житомирской обл. – города Чуднов, Янушполь, Городница, Любар, район.центры Винницкой обл. – Комсомольское, Липовец, Вороновица, Немиров, район. центры Ровенской обл. – Ракитно, Клесов, Березно, Людвиполь; район. центр Каменец-Подольской обл. – гор. Полонное.

Войска 1-го украинского фронта соединились с войсками, занимающими плацдарм южнее Киева. Железная дорога Смела-Хрестиновка перерезана нашими войсками.

Войска 2-го украинского фронта перешли 5/I-44 г. в наступление на Кировоградском направлении. Наши войска заняли 120 населенных пунктов, в том числе районный центры Кировоградской обл. - Оджамка, Новгородка. Наши войска со всех сторон окружили город Кировоград.

8/I. 44 г. Суббота. Уфа.

Я проснулся поздно вечером, и мама мне сказала, что было важное сообщение. Наши войска 2-го украинского фронта овладели гор. **Кировоград.** Я был рад и заснул.

Войска 2-го украинского фронта, продолжая наступление, заняли 170 населенных пунктов, в том числе районные центры Кировоградской обл. Александровка и Каменка-Шенчовская. Наши войска очистили железную дорогу Невель - Великие Луки.

14/I. 44 г.

Наши войска 1-го белорусского фронта овладели гор. Мозырь и Калиновичи. Войска 1-го украинского фронта 11/I овладели гор. Сарны. Наши войска взяли гор. Славуту и Березцов.

15/I. 44 г. Среда. Уфа.

Сказали по радио, что будет важное сообщение. Диктор сказал, что наши войска взяли 19/I штурмом города Красное Село, превращенный немцами в крепость, и важный узел дорог – Ропшу. Салют Москвы гремел как никогда громко и отчетливо в честь Ленинградского фронта.

20/I. 44 г.

Наши войска овладели городом Урицк. Противник оставил на поле боя 25000 трупов своих солдат и офицеров. Командовал войсками фронта генерал армии Говоров.

20/I. 44 г. Четверг. Уфа.

Сегодня было передано важное сообщение: наши войска освободили город НОВГОРОД. Командовал Волховским фронтом генерал армии Мерецков. Противник оставил на поле боя 15000 трупов. Взято в плен 3000 немцев.

23/I. 44 г.

Севернее и северо-восточнее Тосно наши войска овладели городом и крупным железнодорожным узлом **Мга.** Железная дорога Кириши – Мга – Ленинград очищена от немцев. Войска Ленинградского фронта, продолжая успешное наступление, 24/I овладели городами **Пушкин** и Слуцк.

Западнее и северо-западнее Мозырь наши войска овладели районными центрами Полесской обл. – Озаричи, Лельчицы.
26/I. 44 г. Наши войска овладели гор. Красногвардейском (Гатчина). С 14 по 25/I немцы потеряли 40000 чел. только убитыми. Захвачено 3000 немцев.
Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады, а также от варварских обстрелов. В ознаменовании одержанной победы 27/I Ленинград салютовал Ленинградскому фронту 24 залпами из 324 орудий. Войска заняли Волосово.
Войска Волховского фронта овладели городами Тосно, Любань, Чудово. Железная дорога Москва-Ленинград очищена от немцев.
Войска 2-го прибалтийского фронта под командованием генерала армии Попова 29/I овладели городом и крупным железнодорожным узлом Новосокольники.
Войска Ленинградского фронта 1 февраля овладели гор. Кингисепп. На нарвском направлении занято 150 населенных пунктов.
3/II. 44 г. Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление из района севернее Кировограда, и войска 1-го украинского фронта из района юго-восточнее Белой Церкви прорвали сильно укрепленную оборону немцев и, успешно продвигаясь навстречу друг другу, соединились в районе городов Звенигородка и Шпола. За 5 дней наступления наши войска заняли более 300 населенных пунктов, в том числе города: Шпола, Звенигородка, Богуслав и Канев. В результате этой операции наши войска окружили девять пехотных и одну танковую дивизию.
Я был рад этой победе: это «новый Сталинград!».
5/II. 44 г. В результате стремительного удара 1-го украинского фронта наши войска овладели областными центрами Украины – городами Луцк и Ровно, городом и крупным железнодорожным узлом Здолбунов. Западнее и юго-западнее Ровно овладели районными центрами Ровенской обл. – Рошец, Млынов, Лизоч. Войска 3-го украинского фронта перешли в наступление и заняли город и крупный железнодорожный узел Апостолово. В районе Никополя окружена группировка противника в составе 5 дивизий. Немцы потеряли убитыми 12000, взято в плен 2000 чел.
12/II. 44 г. Войска Ленинградского фронта овладели гор. Луга. Также заняты города Гдов, район. центры Полна, Ляды. Войска 1-

го украинского фронта овладели городом и крупным железнодорожным узлом Шепетовка. Войска 3-го и 4-го украинских фронтов 8/II овладели гор. Никополь.

14/II. 44 г. Мы получили письмо из Гомеля. Там знакомая сходила на нашу улицу: наш дом цел, Поляковы живы. Я был рад, что еще поиграю с Игорем и Валерием.

Войска 2-го украинского фронта после двухнедельных боев полностью завершили уничтожение окруженных в районе Корсунь-Шевченковский и заняли ее 17/II-44 г. Убито 55000 немцев. Взято в плен 18200 немцев. Войска 3-го украинского фронта 22/II-44г. штурмом овладели гор. Кривой Рог. Наши войска штурмом овладели гор. Старая Русса, Холм, Сольцы. На островском направлении наши войска овладели гор. Новоржев.

Войска 1-го украинского фронта под командованием Жукова, заменившего Ватутина по болезни, перешли в наступление и овладели городами Изяславль, Ямполь, Шумск, Острополь. Убито 1500 немцев. Взято в плен 3000 немцев.

10/III. 44 г. Пятница Уфа.

Мама ушла в баню. Я лег и заснул. Проснулся, слышу диктор говорит, что наши войска овладели городами Умань, Тальное и жел. узлом Хрестиновка.

Я встал и узнал, что наши войска овладели гор. Херсон.

14/III. 44 г. Мы получили письмо из Гомеля от Поляковой, она писала, что все они живы. Что наш дом цел. Теперь я уже точно знаю, что Игорь и Валерий живы.

Олег.

20/III. 44 г. Понедельник. г.Уфа.

Позавчера наши войска овладели городами Дубно и Жмеринка, вчера городом Кременец. Дубно и Кременец были превращены немцами в узлы обороны на Львовском направлении. Однако немцам не помогли их укрепления. Наши войска продвигаются на Львов. Вчера наши войска вышли к реке Днестр и овладели гор. Ямполь. Наши доблестные войска прошли от Волги до Днестра. А сегодня наши доблестные войска форсировали реку Днестр и заняли город Молдавской ССР Сороки. Вчера на улицах завязались бои в гор. Могилев-Подольский. А сегодня было два «важных сообщения». Наши войска овладели городом Могилев-Подольский и областным центром Украины городом **Винница**. Винницу немцы

долго не хотели отдавать. Наши войска позавчера почти окружили ее. Но скоро немцам придется распрощаться со всей Украиной. До границы уже недалеко осталось. Из Гомеля позавчера получили письмо от Люси. Она пишет, что в нашем доме живут люди. У меня хорошее настроение. Олег.

24/III. 44 г. Пятница. Уфа.

Сегодня день прошел без изменений. Завтра учимся последний день. А после каникулы до 3/IV. У нас кончается третья четверть. Сегодня напишу письмо Игорю. Погода 3/III стояла теплая. Даже два раза дождь шел. Второй дождь был 16/III. Снег постепенно тает. На фронтах дела хороши. Сегодня сообщили, что наши войска, отбив все контратаки немцев, перешли в наступление от Тернополя до Проскурова и овладели несколькими городами. Наши войска продолжают очищать Молдавию от немцев. Позавчера наши войска овладели гор. Первомайск. Наши войска завязали бои на окраинах Вознесенска.

26/III. 44 г. Воскресенье. г.Уфа.

Вчера получили письмо от Швыровой. Пишет, что Раиса Алексеевна (*Грушко - подруга бабушки из Гомеля, жили по соседству)* уехала дальше. Но неизвестно, или она сама захотела, или ее немцы взяли. Сегодня я сидел целый день дома. Не было в чем выйти. Погода стоит теплая. Я скоро одену летнее пальто. Сегодня в Уфе праздник – 25 лет Советской Башкирии. Я вечером вышел на улицу. Мама сказала, что на улице Ленина красивые витрины. Я пошел, когда уже стемнело. Везде было светло, а на Ленина в особенности.

Вчера наши войска овладели городом и крупным железнодорожным узлом Проскуров, городом Вознесенск. Сегодня также было «важное сообщение»: наши войска овладели городом и железнодорожным узлом Бельцы и вышли на нашу государственную границу – реку Прут. Москва салютует 24 залпами из 324 орудий. Наши войска ведут уличные бои в городе Каменец-Подольске. Немцы оккупировали Венгрию, Румынию и Болгарию. Финляндия отказалась от мира. Уже совсем мало осталось Украины, занятой немцами. Сейчас я ложусь спать. Олег.

1/IV. 44 г. Суббота. Уфа.

Сейчас у меня каникулы. Повторяю пройденное. Скоро лето. Сегодня у нас выпал снег. Утром ходил за хлебом. За последние 4 дня наши войска овладели городами: Каменец-Подольск, Коломыя у предгория Карпат, Черновицы, Николаев. Вчера тоже было «важное сообщение»: наши войска овладели городом и крепостью Очаков. Наши войска начали наступление на Кишинев и на Одессу, овладели районными центрами Одесской области, городами Котовск, Ананьев, Андреево-Ивановка, Березовка, и находятся в 60 км от Одессы. Это славная победа. Олег.

4/IV. 44 г. Вторник. Уфа.

Сейчас я пришел из школы. Сегодня очень тепло, +12. Снег вовсю тает. Грязь на улицах. Началась четвертая четверть.

Наше правительство предъявило ультиматум Румынии. В нем говорится, чтобы румыны прекратили войну, тогда будет последняя граница. Наши войска переправились через Прут и заняли 50 населенных пунктов, и находятся в 13 км от города Яссы. Наши войска ведут также наступление на Одессу и Кишинев.

8/IV. 44 г. Суббота. Уфа.

Сегодня день прошел без изменений. Завтра пойду в кино. Сегодня было два «важных сообщения». Наши войска взяли румынские города: Ботошани, Дорохой, Сирет. Наши войска вышли на государственную границу в 100 км. Наши войска находятся в 16 км от Одессы. Наши войска также заняли город Оргеев, расположенный на подступах к Кишиневу. Скоро победа. Олег.

12/IV. 44 г.

10/IV наши войска овладели областным городом Украины и первоклассным портом ОДЕССА. Вчера 11/IV наши войска овладели городами в Крыму Керчь и Джанкой. Это славные победы Красной Армии. Сегодня наши войска взяли в Румынии Пашкани. Немцам удалось прорвать кольцо и взять г. Бучач. Но это ничего. Наши войска его опять возьмут, но ускользнуло 15 дивизий (остатки). Наши войска ведут бои в городе Тирасполь.

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ ДНЕВНИКА

28/IV. 44 г. Пятница. Уфа.

Сегодня сходил в школу. Сейчас делаю уроки. По всем предметам у меня «4». Сегодня получил по арифметике контрольной «5». Скоро испытания. Осталось всего 15 дней. Через два дня 1 мая. Сегодня напишу письма Игорю и Сергею Степановичу. Последние несколько дней погода была плохая. Сегодня опять хорошая.
За последние дни Красная Армия овладела городами в Крыму, столицей Крыма СИМФЕРОПОЛЬ, Евпатория, Феодосия, Судак, Алушта, Гурзуф, Ялта, Алупка. На Украине: Тирасполь, Тарнополь. Окруженный гарнизон немцев полностью уничтожен. Теперь же несколько дней на фронте существенных изменений не происходит.

27 июня 1944 года Вторник. Уфа.

22 июня исполнилось три года войны. Три года мы уже в Уфе. Как хочется домой теперь!!! Наступило лето. Я сдал все испытания на отлично и хорошо. Уже скоро я окончу школу (осталось только два года). Все учительницы в 5 классе были хорошие. Сейчас летние каникулы. В Уфе в этом году очень жарко. Стоит жара 30, 35, 38 градусов. Сегодня пошел дождь, самый большой за все время. Наши войска на Карельском перешейке 14/VI-44 г. перешли в наступление и 20/VI взяли город Выборг, прорвав три линии укрепления, в том числе линию Маннергейма. 25/VI занят город Медвежьегорск в Карелии. Наши войска форсировали реку Свирь. 23/VI наши войска перешли в наступление на Витебск, а также на Оршу и Могилев, а позднее на Жлобин и Бобруйск. Наступление вообще началось во всей Белоруссии. Вчера 26/VI-44 г. наши войска окружили 5 дивизий немцев и штурмом овладели областным центром Белоруссии городом ВИТЕБСК, а войска 1-го белорусского фронта штурмом овладели городом Жлобин. А сегодня городом и железнодорожным узлом ОРША. Наши войска находятся в 10 км от Могилева и вышли на Днепр. Москва салютует нашим войскам. Я люблю слушать, когда говорят, что будет передано по радио «важное сообщение». Завтра напишу письма.

28/VI. 44 г. Среда. Уфа. 1 час ночи.

Сегодня было два «важных сообщения». Первый – приказ генерал-полковнику Захарову. В нем говорится, что войска 2-го белорусского фронта форсировали Днепр и овладели областным центром – городом МОГИЛЕВ и городами Шклов и Быхов. Второй – приказ генералу армии Рокоссовскому. В нем говорится, что

войска 1-го белорусского фронта взяли жел. узел и город Осиповичи на Минском направлении. Как радостно слушать такие сообщения. Москва салютовала доблестным войскам Белоруссии 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в обоих случаях. Наши войска окружили в Бобруйске 5 дивизий немцев.

Наши союзники Англия и Америка открыли второй фронт в Европе. Они высадились на севере Франции в Нормандии. 5/VI-44 г. и 26/VI взяли штурмом город и порт Шербур.

29/VI. 44 г. Пятница. Уфа. 1 час ночи.

Сегодня наши войска одержали две блестящие победы. Войска генерала Мерецкова овладели столицей Карело-Финской ССР городом ПЕТРОЗАВОДСК, а войска генерала Рокоссовского штурмом овладели городом Бобруйск. Москва салютовала в первый раз 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий, а второй раз двадцатью из двухсот двадцати четырех. Слава нашей Красной Армии.

2 июля 1944 г. Понедельник. Уфа

Сегодня мы ожидали сообщения. В 11 часов 35 минут по радио сообщили, что будет передано важное сообщение. И вот мы услышали, что наши войска сегодня штурмом овладели столицей Советской Белоруссии городом **МИНСК**. Москва салютовала 24 залпами из 324 орудий. Мама с радости даже заплакала, Я был очень рад.

Олег.

20/VII. 44 г. Четверг. Уфа.

Я не писал долго, потому что потерял дневник, но вчера я его нашел. За последние дни наши войска овладели городами Борисов, 4/VII, Полоцк, 5/VII, Молодечно, Лида, 8/VII-44 г., Барановичи, Лунинец, Пинск, Волковыск, Слуцк, столицей Советской Литвы городом Вильнюс, Идрица, Опочка, Гродно. 18/VII-44 г. войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление на Львовском направлении и заняли города Горохов, Золочев, Брады, Каменка, Красное, Сокол. Окружены 5 дивизий немцев. Вчера войска 3-го Прибалтийского фронта перешли в наступление южнее города Остров и заняли 700 населенных пунктов.

Сейчас стоит теплая погода. Очень хочется домой.

1 августа 1944 г. Вторник. Уфа.

Сегодня я встал в 8 часов утра, а обычно встаю в 9, потому что каждый вечер жду важное сообщение. Советские войска за последние дни взяли много городов. 25/VII наши войска заняли польский город Холм, а 26/VII город Люблин и Демблин. 27/VII-44 г. было пять важных сообщений, еще столько никогда не было. В этот день наши войска взяли города Белосток, Шауляй, Двинск, Резекне, Львов и Станислав. Вчера наши войска овладели городом Елгава, на Варшавском направлении городами Седлец, Луков, Миньск-Мазовецкий и находятся в 15 км от Варшавы. Сегодня тоже было важное сообщение. Взят город Каунас. Перед границей Германии это хорошие известия. На Гитлера 20/VII-44 г. было совершено покушение, но его не удалось убить. Его хотели убить его же генералы. В Германии шли бои. Восстание удалось подавить Гитлеру.

Сейчас в Уфе ночью и утром холодно.

23/VIII. 44 г. Среда. Уфа.

17/VIII у мамы был день рождения. Я утром встал, пока она еще спала. Пошел на базар и думал, что же купить в подарок. Решил купить цветы. А цветы были красивые-красивые. Я преподнес маме цветы и записку поздравительную. Сегодня я гладил чулки, а вчера красил и сушил. Вчера и сегодня я вечером играл в шашки с Леной. Мы выиграли одинаково. В Уфе теперь опять тепло стало. Сегодня тихо, тихо ночью. На небе много ярких звезд. Луны нет. Вчера наши войска начали наступление на 2 и 3 украинских фронтах. Заняты 3 города, в том числе город Яссы, второй по величине город Румынии. Сегодня тоже было важное сообщение. Занят румынский город Васлуй. Союзники во Франции успешно наступают. Бои идут около Парижа. Французы заняли центр города. Сейчас уже поздно. Я ложился спать, как по радио сказали, что будет передано важное сообщение. Взяты города Бендеры и Аккерман.

24/VIII. 44 г. Четверг. Уфа.

Сегодня я гладил чулки. Они были мокрые и гладились плохо. К тому же все время портилась плитка (*электрическая, со спиралью).* Я также сушил красные чулки. Лена сегодня опять приходила. Играли в шашки. Она меня два раза обыграла. Мама сейчас ушла за чулками, и я сижу один. Сегодня с утра было тепло, но под вечер прошел дождь, и стало холодно. Сейчас по радио передали важное

сообщение: наши войска освободили столицу Советской Молдавии город КИШИНЕВ. Москва салютовала войскам 2 и 3 украинских фронтов 24 залпами из 324 орудий. По радио играет музыка и мне тоже весело. Союзники во Франции заняли много городов, в том числе Марсель. Войска союзников вступили в Париж. В Тулоне идут бои.

27/VIII. 44 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня весь день гладил и красил чулки, варил обед, ходил за хлебом. Завтра я буду отдыхать: пойду в кино, буду чертить карту. Сегодня днем было тепло, а ночью холодно. За два дня наши войска заняли города: Тарту и крепость Измаил.

30/VIII. 44 г. Среда. Уфа.

Позавчера у меня был выходной день. Я ходил смотреть картину «Вратарь». Картина хорошая. Вчера и сегодня гладил и красил чулки. Вчера вышли очень плохие чулки с пятнами. Мы хотели выкрасить их в коричневый цвет, но не вышло. Сегодня ночью тепло. Я сидел на заборе. Светила луна, точно такая же, как в Гомеле. Очень хочется опять в Гомель.

Наши войска, наступающие в Румынии, заняли города: Фокшаны, Галац, Брэила, Тулча и Сулина. Вчера занят город и порт Констанца. Сегодня Плоешти, недалеко от румынской столицы Бухареста. Сейчас я ложусь спать.

31/VIII. 44 г. Четверг. Уфа.

Сегодня приехал Рамиль *(Хакимов, 1932-1999 г.г., башкирский писатель переводчик и журналист)*. Мы играли, а потом сидели на крылечке и разговаривали. Ночь опять была теплая и лунная. Сегодня только что было важное сообщение. Наши войска вступили в столицу Румынии БУХАРЕСТ. Москва салютовала войскам 2-го украинского фронта 24 залпами из 324 орудий.

10/IX. 44 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня я отдыхал: вычистил мусор под окном и чертил карту. Я ее сегодня закончил. Осталось только сделать границы и моря. Три дня тому назад моему дневнику исполнился год. Тогда я в первый раз начал записывать про все в мой дневник. А сегодня я в нем пишу последний раз, потому что завтра начну новый дневник.

Мама ходила на базар и продала мои ботинки, которые были мне малы и которые прислал дядя Федя *(Федор Тимофеевич Хильчевский – старший брат бабушки, проживавший в Москве)*.

Сегодня было днем жарко, а вечером тепло. Луны не было, но все небо усыпано звездами. Вчера было важное сообщение. Приказ был генералу армии Толбухину и адмиралу Октябрьскому. Наши войска заняли города и порты Рущук *(ныне Русе)*, Варну и Бургас. О событиях последних дней напишу завтра.

23 часа 55 мин.

14 сентября 1944 г. Четверг. Уфа.

Сейчас, когда я пишу, поздний час. За сегодня ничего существенного в жизни не произошло. За последние дни наши войска заняли много городов в Румынии. Вчера было важное сообщение. Приказ был генералу армии Захарову (2-1 белорусский фронт). Наши войска заняли город Ломжу возле Германии. Бои также развернулись у Варшавы… Наши союзники на западе очистили всю Францию, за исключением Лотарингии и Эльзаса. Войска Англии и Америки перешли германскую границу. Также занята несколько недель назад столица Бельгии Брюссель. За последние дни дождей не было. Стояла жаркая погода, но с сегодняшнего утра стало холодно, а ночью даже будет мороз +2.

15 сентября 1944 г. Пятница. Уфа.

Сегодня мама купила хорошую для нас вещь. Сегодня я никуда не ходил, был дома. Сегодня днем холодно, хотя и было солнце. Сейчас я вышел на двор. Все небо усыпано звездами. Очевидно, больше не будет теплых дней. Уже начинается осень. Сегодня в Киев уезжает Лена. Лена несколько раз приходила проститься с мамой, но ее не было дома. Я хочу домой в Гомель. Вчера было важное сообщение. Приказ был маршалу Рокоссовскому. Наши войска овладели предместным городом Варшавы городом Прушкув. Скоро, наверно, возьмут Варшаву… События последних недель такие: Финляндия выходит из войны. Составляется для нее договор о перемирии. Болгария воевала с С.С.С.Р. только два дня. Затем она объявила войну Германии. Для нее тоже составляется договор о перемирии. Румыния воюет с Германией уже неделю. Ей уже предъявлен договор о перемирии. Она должна будет заплатить убытки, принесенные С.С.С.Р. **Наши союзники заняли несколько городов Германии.**

16/IX. 1944 г. Суббота. Уфа.

Сегодня было весь день холодно. Некоторое время моросил дождик. Завтра напишу всем письма. Теперь решается вопрос,

поедем мы домой в Гомель или нет. Сегодня я прочитал книгу «Шел солдат с фронта». Книга мне эта понравилась. Наши войска заняли несколько городов.

23 часа 25 мин. Олег

23 сентября. 1944 г. Суббота. Уфа.

Сегодня полдня пошло на покраску чулков. Сегодня мама пошла за хлебом, но не принесла, потому что везде дают только прикрепленным. Я пошел, тоже простоял два часа и не получил. Наступила осень. С деревьев летят желтые от жары листья. Убирают на полях урожай. Улетают на юг стаями птицы. Погода теплая. Дождей нет. Вчера было важное сообщение. Наши войска освободили столицу Советской Эстонии город Таллин. Приказ был Говорову (ленинградский фронт) Москва салютовала двадцатью четырьмя залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

27/IX. 44 г. Среда. Уфа.

Вчера я кончил чертить свою карту. Сегодня читал книгу «Магеллан». Писем из Гомеля мы не получали. Погода теперь стоит теплая. Сегодня ночью я вышел во двор, было тихо… Луна светит ярко, как в августе. Облаков нет. Через четыре дня начнутся занятия в школе. Наши войска овладели городом и портами в Прибалтике: Пярну, Палдиски (порт балтийский) и Хаапсалу. Занят раньше город Валга. Наши войска также наступают на Ригу.

23 часа 35 мин. Олег.

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ ДНЕВНИКА

29/X. 44 г. Уфа. Воскресенье.

Сегодня утром уехали в Гомель наши знакомые: Лёня и его мама. Я написал Игорю письмо и передал его Лёне, чтобы он отдал его в Гомеле Игорю. Скоро праздник. У нас кончается четверть 1-ая. Теперь на улице холодно. Сейчас я красил чулки и буду спать. (*Примечание ИГО:* в Уфе *по продуктовой карточке 2-й категории в день полагалось работающему 600 гр. хлеба и 600 гр. сахара, иждивенцу и ребенку – по 400 гр.; в 1942 г. иждивенцам в месяц – 200 гр. жиров и 300 гр. мяса. Буханка хлеба стоила: 200-250-400 рублей. В конце 1941 г. ввели карточки на рыбу, крупы, мясо, макароны, соль, керосин, мануфактуру, мыло, а также 12 процентный «военный налог» на зарплату, которая у среднего*

работника составляла 400-600 руб. Чтобы заработать деньги и купить еду на базаре, раздобыли где-то чулочную машину. Доставали нитки и после работы, поздно вечером и в выходной день изготавливали чулки, потом красили их в черный и коричневый цвета, несли на рынок и продавали или обменивали на продукты).

6 ноября 1944 г. Понедельник. Уфа.

Сегодня после школы я шел по улице Сталина (*ныне Коммунистическая*). Кругом огни. Вечером мы ждали выступления т. Сталина. Он говорил о победах Красной Армии и о том, что война скоро кончится. Выступал он 40 минут. Мы получили недавно письмо от Нади Дараковой из Гомеля. Скоро годовщина со дня освобождения от немцев Гомеля. За последнее время наши войска овладели городами: Рига, Белград, Клуж, Сату-Маре, Дебрецен, Ужгород и вступили на территорию Германии. Сейчас наши войска ведут наступление на Будапешт.

8/XI. 44 г. Среда. Уфа.

Сегодня я ходил в кино, но кино не было. На фронте ничего существенного не произошло. На дворе уже стало холодно, и даже выпал маленький снежок.

19/XI. 44 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня день артиллерии. В Москве и других городах гремели салюты в честь наших артиллеристов. Я ходил несколько дней назад в кино. Шла картина «Зоя». Эта картина мне понравилась. Сегодня я ходил в ДКА. Была лекция-концерт, посвященная 100-летию со дня смерти Крылова. Артисты читали его стихотворения. 15 ноября выпал первый снег. Мороз -7.

(*Примечание ИГО: Фильм «Зоя» реж. Лев Арнштам, комп. Дм. Шостакович. Премьера состоялась 22 сентября 1944 г. Получил Большой приз Каннского кинофестиваля в 1946 г. Содержание: рассказ о короткой жизни московской школьницы Зои Космодемьянской, которая стала партизанкой-диверсанткой и была казнена немцами в подмосковной деревне Петришево в ноябре 1941 г. Посмертно удостоена звания «Герой Советского Союза»*).

2 декабря 1944 г. Суббота. Уфа.

Сегодня меня вызывали по истории. Ответил на «5». 26/XI-44 г. исполнился год со дня освобождения нашего Гомеля от немцев. В этот же день я ходил с нашим классом на оперу «Дубровский». Она мне понравилась средне. Сегодня было важное сообщение.

Несколько дней назад войска 3-го Украинского фронта генерала армии Толбухина форсировали Дунай, перешли в наступление и заняли город Печ. Сегодня наши войска заняли в Венгрии Капотвар и Такш, а также 300 населенных пунктов. Союзники тоже наступают.

4/XII. 44 г. Понедельник. Уфа.

Вчера я ходил с мамой в кино. Шла картина американская «Песнь о России» *(Примечание ИГО: Одна из семи игровых картин 1943-45 гг., снятая союзниками. Голливудская лубочная мелодрама гротескно идеализирует жизнь в СССР; фильм о любви американского дирижера и пианистки-трактористки из деревни; участвуют звезды Голливуда – Роберт Тейлор, Грегори Пек, Михаил Чехов)*. Она мне и маме очень понравилась. Придя из кино, я узнал, что было важное сообщение: наши войска заняли в Венгрии Мишкольц и еще один город. Сегодня меня вызывали по английскому языку читать отрывок. Получил отметку «4».

22/XII. 44 г. Пятница. Уфа.

Сегодня я заверял стандартные справки и потратил много времени. По географии я получил «4», а вчера по физике и английскому тоже «4». Сегодня вечером ходили с мамой в кино на картину «В 6 часов вечера после войны». Она мне и маме понравилась. До нового года осталось 8 дней. Скоро у меня будет елка. Позавчера я написал письмо тете Лине *(Примечание ИГО: сестра матери, проживающая в Белоруссии*).

24/XII. 44 г. Воскресенье. Уфа. 1 час ночи.

Сегодня я нарубил дров на три дня. Теперь я хожу за хлебом каждый день. Играл на улице. Скоро каникулы и мой день рождения. Сегодня было важное сообщение. Наши войска (3-й Украинский фронт) перешли в наступление южнее Будапешта и заняли несколько городов. Я написал письмо папе и бабушке *(Примечание ИГО: написал в Омск, где Валентин Харитонович Иванов работал главным инженером на военном заводе, и в Москву, где с дочерью, полковником мед. службы, Ларисой Харитоновной Ивановой жила бабушка Евдокия Ивановна)*. Я также поздравил с Новым годом дядю Федю *(Примечание ИГО: Хильчевский Федор Тимофеевич - родной брат матери Олега, работал и проживал в Москве вдвоем с женой, детей не было)* и тетю Иру.

29/XII. 44 г. Пятница. Уфа.
Сегодня вечером я сделал уроки, а завтра пойду кататься на лыжах. Несколько дней тому назад выпал большой снег. Сразу стало теплее (раньше было – 22, а сейчас – 5). Завтра кончается 2-я четверть. Завтра я узнаю свои отметки. Завтра последний день учебы, а после – каникулы. До Нового года осталось 2 дня. У меня будет елка.
Наши войска полностью окружили столицу Венгрии гор. Будапешт. Наши союзники отступили немного в результате контрнаступления немцев.
17/I. 45 г. Среда. Уфа.
На Новый Год мама сделала мне елку. Мы все игрушки делали сами, но елка получилась очень красивая. Мама сделала мне подарок (к., п.) *(Примечание ИГО: видимо, конфеты и печенье, которые в голодном 1944 г. были большой редкостью и великим лакомством).*
А сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 14 лет. Мама мне испекла вкусный пирог. А когда я утром встал, у подушки лежал подарок. Там была записка с поздравлением. Подарок был очень хороший. В нем были конфеты, печенье и три апельсина. Я очень был рад подарку. Сегодня мы получили письмо из Гомеля от мамы Лёни, а позавчера – от Лёни. Она пишет о нашем доме и саде. Дом наш был закрыт, когда она приходила. В саду она недосчитала деревьев, любовалась нашей березой, которая даже зимой красавица, - так писала она. Заборы наши разобраны. Нет также ставень. Место сарая она не могла даже разыскать. Мне хочется поскорее увидеть наш дом и сад.
В Будапеште наши войска заняли много кварталов. Несколько дней тому назад наши войска перешли в наступление (1-й Украинский фронт) и заняли гор. Келыцы(?). Вчера наши войска перешли в наступление (1-й и 2-й Белорусские фронта) и заняли гор. Радомско. Сегодня было три важных сообщения. Наши войска овладели столицей Польши г. Варшава. Москва салютовала 24 залпами из 324 орудий. Заняты города: Цеханов, Пултуск, Ченстохова и Радомско.
21/I. 45 г. *(число выделено красным квадратом)*. **Воскресенье. Уфа.**

Сегодня я ходил сам покупать все на базар, потому что мама заболела. Сегодня исполняется 21 год со дня смерти Ленина. Вчера я получил «5» по алгебре. Все отметки у меня за вторую четверть «4». Завтра я пойду в кино с Борисом. Погода теперь хорошая, морозная. По ночам светит яркая луна, и на дворе светло.

Сегодня было пока два важных сообщения. Наши войска перешли германскую границу западнее города Ченстохова и заняли несколько германских городов (1-й Украинский фронт, Конев). Также наши войска заняли город Гумбиннен на Кенигсбергском направлении (Восточная Пруссия, 3-й Белорусский фронт, Черняховский).

22/I. 45 г. Понедельник. Уфа.

Сегодня опять ходил на базар за продуктами. В кино я не ходил, так как Борис не зашел за мной. Да мне и не до кино было. Я слышал сегодня только два важных сообщения. Наши войска заняли город Иноврoцлав и еще несколько (Польша). И в Восточной Пруссии города Инстербург и Алленштайн.

23/I. 45 г. Вторник. Уфа.

Я хожу сегодня целый день, потому что мама больная. Сегодня был врач. Он сказал, что у нее воспаление почек. Сегодня я получил табель. У меня за 2-ю четверть все отметки «4». За один час я выпустил в школе для нашего класса стенгазету.

Сегодня наши войска заняли города Бромберг (Польша), Ортельсбург и еще несколько в Восточной Пруссии. Занято несколько городов в Германии.

24/I. 45 г. Среда. Уфа.

Сегодня я ходил в несколько мест по делам. Сегодня я получил по физике «4». Сегодня холодно. Мороз – 15. Завтра мы будем учиться с 3-х часов. Писем из Гомеля пока не получаем.

Сегодня было пока три важных сообщения. Войска 1-го Белорусского фронта заняли в Польше город Калиш. Войска 1-го Украинского фронта заняли в Германии 2 города, в том числе город Оппельн. Занят город Равич в Польше. Войска 2-го Украинского фронта прорвали оборону немцев севернее города Мишкольц. Наши войска находятся в 230 км от БЕРЛИНА. Скоро настанет конец войне.

26/I. 45 г. Пятница. Уфа.

Сегодня я получил по английскому языку «4». Погода стоит морозная. Сегодня мороз – 10. Ночью выходил на двор. Светит луна. На дворе светло.
Сегодня я слышал два важных сообщения. В первом говорилось, что наши войска заняли несколько городов в Восточной Пруссии, в том числе город Летцен (3-й Белорусский фронт). Во втором говорилось, что войска 1-го Украинского фронта штурмом овладели городом Гинденбург.

28/I. 45 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня я ходил в кино. Шла картина «Малахов курган». Картина мне понравилась. После кино я ходил на базар. Быстро купил мясо и мед. После обеда спал 2 часа. Затем сходил за водой и пошел кататься на лыжах. Я катался сначала с Дамиром, но скоро он ушел, и я поехал на стадион «Динамо». Там я катался с горки. Я катался около колючей проволоки. Со стадиона был виден завод, на котором работала мама. Я вспомнил, как ходил на завод за обедом и за хлебом. По дороге, которая идет возле меня, я ходил больше года. (*Примечание ИГО: продуктовые карточки на иждивенцев, в т.ч. и детей, были так малы, что взрослые старались любыми путями их поддержать. Работавших по 12 часов на заводе кормили в столовой один раз в день в счет отоваривания продуктовых карточек, которые после работы, фактически ночью, отоварить было невозможно, в других случаях очереди были многочасовыми, и в итоге продукты заканчивались. Многие «заводчане» пытались припрятать еду для своих детей, поэтому на проходной всех тщательно обыскивали. Мама Олега придумала в определенные время и место перебрасывать завернутые в тряпочку кашу или хлеб через забор, где их и ожидал голодный ребенок).*
Наши войска вчера овладели в Восточной Пруссии городами, в том числе Растенбургом. Наши войска окружили немцев в городах: Познань и Торн (Торунь) и ведут бои за эти города. Наши войска находятся на подступах к городу Бреславль. Войска 1-го Украинского фронта овладели городом Сосновец и несколькими другими. Сегодня было пока 2 важных сообщения. Войска 1-го Украинского фронта очистили от немцев Домбровский угольный район (в Польше) и заняли несколько городов, в том числе центр

района Катовицы. Войска 1-го Прибалтийского фронта (Баграмян) овладели городом и портом Мемель.
24 ч. 30 мин.

11/II. 45 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня я ходил на базар за покупками, так как мама еще больна, рубил дрова, ходил за водой 2 раза и за хлебом. Вечером ходил сдавать наши письма. Нам ни от кого писем нет. День сегодня был морозный, - 10. В первых числах февраля морозы были сильные. Два дня мороз был – 30. У нас в квартире картофель, который лежал в углу на полу, **немножко** замерз.
Наши войска находятся в 70 км от Берлина. В Берлине слышна артиллерийская стрельба. Немецкая сволочь удирает от Красной Армии в южные районы Германии. Немцы на своей шкуре испытывают, что такое война. Наши войска окружили город Шнейдемюль и город Эльбинг, который вчера взят штурмом. Сегодня было пока 1 важное сообщение. Наши войска форсировали Одер и захватили плацдарм на западном берегу. Занято несколько городов, в том числе г. Лигниц. Я сегодня утомился и ложусь сейчас спать. 23 ч. 45 мин.

13/II. 45 г. Вторник. Уфа.

Сегодня было важное сообщение. Войска 1-го и 2-го Украинского фронта после 1,5-месячной осады сломили сопротивление окруженных немецких войск и овладели столицей Венгрии городом Будапешт (Толбухин и Малиновский). Москва салютовала нашим доблестным войскам 24 арт. залпами из 324 орудий. Это блестящая победа наших войск.
0 ч. 20 мин.

18/II. 45 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня я ходил на базар за покупками, так как мама еще не поправилась. После я зашел за Борисом Ивановым, и мы пошли в кино «Октябрь». Билетов на этот сеанс не было. Он ушел домой, а я решил взять билет на другой сеанс. Была большая очередь. Я долго стоял. Наконец, я получил билет. Я пошел домой, пообедал и вернулся в кино. Шла картина «Сердца четырех». Она мне очень понравилась.

8/III. 45 г. Четверг. Уфа.

Сегодня Международный женский день. Утром я поздравил маму с праздником. В школе в нашем классе ребята собрали деньги на

подарок учительнице. Перед началом урока ребята поздравили ее и преподнесли подарок. Подарок был такой: новый портфель, шерстяная косынка, шапочка с якорем и расческа.
За последние дни шел снег, +3. Затем началась оттепель. С крыш лилась вода, на улицах появились лужи. А сегодня опять пошел снег.

9/III. 45 г. Пятница. Уфа.

Сегодня я получил по контрольной работе по естествознанию «4». Меня также вызывали по зоологии – «4». Вчера я получил по военному «5», а по английскому – «3».
Мама ходит на почту, но нам пока нет писем. Мороженую картошку мы отдали соседям. Жалко картошку, что ее много замерзло, а у нас картошки совсем не осталось.
За последнее время наши войска заняли города: Познань, Грудзендз, Банска Штьявница. Наши войска (2-й и 1-й Белорусские фронты) вышли на побережье Балтийского моря, заняв города: Кеслин, Бельгард, Штеттин, Штаргард, Гольнов, Пижиц и ведут бои на подступах к большим городам и портам Данцигу и Ште…тину.

11/III. 45 г. Воскресенье. Уфа.

Сегодня за день ничего существенного не произошло. Я ходил за водой, хлебом и колол дрова. Скоро кончится 3-я четверть. Мама все еще болеет.
Вчера было важное сообщение. Наши войска заняли два города, в том числе Лауэнбург.
Сегодня идет большой снег. Снег устлал все на улице. Не холодно, - 2. Сейчас я делаю уроки, а мама ушла на почту.

24/III. 45 г. Суббота. Уфа.

Сегодня закончилась 3-я четверть. После уроков было собрание. На нем наша учительница Анна Иосифовна говорила об отметках. На собрании были также матери учащихся. У меня за 3-ю четверть по английскому, физике, алгебре и геометрии – «5». По остальным предметам «4». Завтра начнутся каникулы, а потом и 4-я четверть. Теперь погода не холодная, -4.
Сегодня было 2 важных сообщения. Наши войска, отбив атаки немцев, перешли в наступление и заняли города: Секешфехервар, Веспрем (Венгрия). Наши войска заняли западнее Одера г. Нейсе.

1/IV. 45 г. Воскресенье. Уфа.

С 27/III я заболел. Температура была 39,0 несколько дней. Мама вызывала врача. Теперь я стал выздоравливать. Сегодня температура была 36,7. Завтра начинается 4-я четверть. Снова в школу. Начинается весна. На деревьях набухают почки. Ярко светит золотое весеннее солнышко. Снег начал таять. А я пока сижу дома. За последнее время мы много получили писем: от дяди Феди и тети Лины, от папы и бабушки, от Поляковой и от Нади Дараковой. Надя просила, чтобы я написал ей письмо. Кончился март, наступил апрель, а скоро придет зеленый май. Днем на дворе сейчас тепло.

За последнее время наши войска одержали блестящие победы. Войска 3-го Белорусского фронта закончили уничтожение восточно-прусской группировки немцев. Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели 30/III Данцигом, а 29/III городом Гдыня. Войска 1, 2, 3-го Украинских фронтов (Конев, Малиновский, Толбухин) заняли города Ратибор, Банска Быстрица, Комарно, Папа, Дьер, Сомбатхей и др., и вступили на территорию Австрии (3-й Укр. фронт). Союзники прорвали и разгромили на Рейне немецкую оборону и успешно продвигаются вглубь Германии. Занят несколько дней назад Франкфурт-на-Майне…

9/IV. 45 г. Понедельник. Уфа.

Вчера мама получила телеграмму от Борисенко из Гомеля. Борисенко писала, что выслала вызов *(Примечание ИГО: переезды были возможны только по вызову!!).* Я очень хочу домой. Сейчас началась 4-я четверть. Последнее время погода была теплая. Но вчера опять подул холодный ветер, + 6. На растаявшую землю опять пошел снег. Сегодня земля опять покрылась пушистым, снежным белым ковром, -2.

За последнее время наши войска заняли города: Братиславу, Ружомберок, Винер-Нойштадт, Баден. Наши войска ворвались в Вену и ведут там бои. Сегодня начался штурм Кенигсберга.

Союзники наступают, не встречая сопротивления немцев. Они находятся менее 200 км от Берлина.

12/IV. 45 г. Четверг. Уфа.

Сегодня я встал рано и пошел за хлебом. Погода утром была хорошая. Яркое солнце светило. Было свежо. А вчера погода была очень плохая. Утром начался сильный ветер. Пошел мокрый снег. Ветер был такой, что оборвал некоторые провода на улицах.

Сегодня, когда я вышел вечером на улицу, увидел вот что: на западе в небе стояли огромные лиловые тучи, дальше к западу плыли красно-оранжевые тучи. По голубому небу между этими тучами плыла золотая сверкающая тучка. *А там, на западе, далеко-далеко – мой дом и сад…* На востоке небо было темное, синее.

25/IV. 45 г. Среда. Уфа.

Пришла весна. Здравствуй, долгожданная весна! Потекли ручейки, растаял снег. Солнце пригревает все сильнее и сильнее. Дни становятся длиннее, а ночи короче. Уже прилетели грачи, свили себе гнезда на тополях и громко кричат, приветствуя и поздравляя весну. Уже на реке в некоторых местах пошел лед… Сначала было грязно, но вчера и сегодня стало суше. Земля стала подсыхать. А ночи весенние! Как хороши! Вчера вечером я вышел на улицу. Была ночь. Небо синее, а посередине неба шла сверкающая луна. Все было залито ее светом. Везде было тихо-тихо. Дул свежий весенний ветерок. Скоро зазеленеют деревья, и начнется весенний сев. Сегодня совсем тепло, + 13.

12/IV умер президент С.Ш.А. Ф.Д.Рузвельт, от излияния крови в мозг. Это большая потеря для народов. На его место назначен Трумэн. Сегодня началась конференция в Сан-Франциско.

Наши войска 23/IV-45 г. ворвались в БЕРЛИН (1-й Белорусский и 2-й Украинский фронта). А сегодня полностью окружили столицу Германии БЕРЛИН. Войска этих фронтов заняли Котбус, Щпремберг и Франкфурт.

2/V. 45 г. Среда. Уфа.

30/IV стало опять холодно, и пошел мокрый снег. Температура упала до 0 градусов, а сегодня образовались мокрые сугробы. Вчера было 1 мая, и я ходил в кино. Шла картина «Поединок». Я ездил в трамвае после кино смотреть город. Кругом висят флаги, лозунги, портреты. Сегодня я ходил в театр. Шла опера «Риголетто». Опера мне понравилась. Мама испекла очень вкусный пирог. Она купила колбасы и сала.

Сегодня наши войска овладели городами Росток и Рыбниц – портами на Балтийском море. 27 апреля был приказ. В нем говорилось, что наши войска соединились с войсками союзников в районе города Торгау 25/IV в 13 ч. 30 м. Москва салютовала 24 залпами из 324 орудий. Нашими войсками раньше был окружен Берлин. Заняты также города Моравска-Острава и Жилина.

24 часа.

5 /V. 45 г. Суббота. Уфа.

2/V было передано важное сообщение. Приказ был по войскам Красной Армии и Флота. В этом важном сообщении говорилось, что войска 1-го Белорусского фронта (Жуков) при содействии с фланга войск 1-го Украинского фронта (Конев) 2 мая полностью овладели столицей Германии городом – **БЕРЛИН.**

Москва салютовала 24 залпами из 324 орудий. Это историческая победа. Слава нашим войскам, водрузившим знамя победы над Берлином!

Взято здесь в плен 70 000 немцев. Гитлер и Геббельс покончили самоубийством. Но это, наверное, только ширма.

Взятые в плен возле озера Кома (в Италии) Муссолини, Фараччи и другие фашисты казнены итальянскими патриотами в Милане. Союзникам капитулировали: Северная Италия, с.-в. Голландия, с-з. Германия и Дания.

Наши войска соединились с войсками союзников в районе г. Виттенберге (западнее Берлина).

Погода с 4/V стала хорошая. Днем солнце светит ярко и тепло (+15); снег, который выпал 1 мая, растаял. Сегодня ночь теплая, на дворе свежо. На небе мерцают яркие звезды. Луны не было. Скоро распустятся на деревьях листочки.

Сейчас передают важное сообщение. Войска 2-го Белорусского фронта заняли город Свинемюнд. Сейчас я ложусь спать. 23 ч. 48 м.

8/V. 45 г. Вторник. Уфа.

Сегодня я долго стоял за хлебом. Погода теплая (+ 16), но к 2 часам собираются тучи. Уже три дня после 3-х часов идет дождь. Земля снова становится грязью. Мама ходила на почту, но нам нет писем.

Сегодня было 2 важных сообщения. Наши войска после упорных боев овладели городами Дрезден (1-й Украинский) и Оломоуц (4-й Украинский). Вчера взят Бреславль.

9 мая 1945 года Среда. Уфа

Сегодня кончилась война. Германия безоговорочно капитулировала перед С.С.С.Р., Англией и С.Ш.А. Я слышал об этом по радио. А было это вот как. Я проснулся от шума. Мама звала меня. Я услышал сообщение о капитуляции Германии. Акт был подписан в

Берлине 8/V-45 г. Жуковым, главным командующим авиацией союзников и представителями Германского командования. Я был очень рад окончанию войны. По случаю победы 9 мая объявлено праздником победы. По случаю победы 9 мая считается нерабочим днем. Я не спал до 5 часов утра (экстренное сообщение было передано в 4.30 по уфимскому времени), а потом заснул. Весь дом подхватился рано. Днем я ходил на улицу Сталина *(так называлась ул. Коммунистическая с 1939 по 1961 гг.)* и Ленина. На карте было написано «Победа!», а Германия была завешана флагами союзников *(Примечание ИГО: в больших окнах, по-видимому, Дома офицеров, выставлялась карта военных действий с передвигающимися флажками, обозначающими линию фронта).* По всем улицам развиваются красные флаги победы. У нас в доме была складчина, и мы праздновали день победы *(в соседних комнатах проживало несколько семей, в т.ч. эвакуированные).*

26/V. 45 г. Суббота. Уфа.

19 мая кончился учебный год. Начались экзамены. 22 мая я пошел сдавать алгебру. Я встал утром, поел и пошел. Погода была теплая, но солнца не было. Когда я пришел в школу, экзамен еще не начался, на лестнице стояли ребята, затем нас пустили в комнату № 11, в которой мы должны были готовиться к экзамену. Мы все сели за парты и начали писать. Я написал все и ушел домой. Потом я готовился к следующему экзамену 2 дня. Вчера я сдавал экзамен по истории. Я встал, поел быстро и пошел в школу, ученики уже были в школе. Начался экзамен. В классе был, кроме учительницы, директор школы. Начали вызывать к столу. Вызвали несколько человек и меня. На столе лежали билеты. Не задумываясь, я взял один из них. После обдумывания я начал отвечать. Ответил все. После перемены пошел домой. 28 мая я буду сдавать экзамен по географии (по географии я за четверть получил «5»).

Гиммлер покончил жизнь самоубийством в плену союзников.

Умер Демьян Бедный.

Погода теперь плохая: день теплая, день холодная. Последние дни идут дожди. Сегодня поднялся большой ветер. Идет дождь, +10. Ночью температура упадет до +2. В Москве выпал снег.

Из Гомеля мы получили 2 письма.

23 ч. 30 м.

31/V. 45 г. Четверг. Уфа.

23 мая я сдавал экзамен по географии, а вчера, 30 мая, по ботанике. Утро в эти дни было солнечное. Сдавал я последним. Экзамены сдал.

Деревья теперь совсем зеленые. Погода плохая: утром светит солнце и тепло, к полудню собираются тучи, и идет дождь, становится холодно. В Башкирии ожидаются заморозки. Эта весна плохая.

2/VI. 45 г. Уфа.

Вчера я сдавал экзамен по русскому языку. День был пасмурный. Я шел в ватнике. Писали изложение на тему «Стрелочник Иван Галка». В моем классе все написали. Когда я шел домой из школы, лил дождь. Сегодня я пошел сдавать последний экзамен по русскому языку (устно). Небо было закрыто тучами. Когда я пришел, мне сказали, что я написал изложение на «5». Русский (устный) я сдал хорошо. Наша учительница Анна Иосифовна сказала, что я сдал экзамен на «5». Итак, сегодня я закончил этот учебный год и перешел в 7 класс.

Сегодня было тепло. Дождя не было, +15. Когда ночью я вышел на улицу, было свежо. Луны не было, но на синем небе было много ярких звезд. На северо-западе, несмотря на позднее время, было светло… Сейчас ложусь спать. Мама уже легла.

24 ч.55 м.

11/VI. 45 г. Уфа.

7 июня было собрание в школе. Ходила мама. Наша классная руководительница Анна Иосифовна сказала, что я хороший ученик. Она жалела, что я уезжаю домой и сказала: «Вот, хорошие ученики уезжают, а плохие остаются». Я получил «5» по географии, ботанике, русскому (устно, письменно), «4» - по алгебре и истории. Я, наверное, учился в Уфе последний год.

После холодной погоды с дождями наступила жаркая, сухая погода. Вишни почти за три дня расцвели, а сегодня уже осыпаются. Листва стала зеленой. А вчера расцвела сирень. Я сорвал несколько веток и поставил в бочонок. Она хорошо пахнет. Цветет черемуха… Вчера мама получила письмо из Гомеля от Поляковой О. Она писала о том, что засеяла наш огород. 3 яблони, груша, а также малина хорошо цветут. Расцвела и сирень. Наш сад очень теперь красивый. Скоро мы поедем в Гомель. Очень хочется попасть в свой дом, сад…

20/VI. 45 г. Уфа.

В воскресенье 17 июня я ходил с Рамилем *(Примечание: Рамиль Хакимов, 1932 г.р. – будущий башкирский поэт, журналист и писатель, проживал в одном уфимском дворе с Олегом)* и другими ребятами на реку Белую. День был жаркий. Солнце светило очень ярко. Мы прошли по улицам и начали спускаться к реке. Спускались с горы, которая вся была усеяна мелким щебнем. Местами попадались целые глыбы камней. Скоро открылся вид на реку и окрестность: река медленно текла, серебрясь на солнце. На берегу купалось много людей, а по реке плавало много лодок. Скоро прошел пароход, и волны начали биться о камни. За рекой расстилались луга, на которых стояли маленькие домишки. За лугом тянулась зеленая полоса леса. За лесом снова тянулись луга, дальше высились горы и виднелся лес, который казался уже черным. Мы спустились к реке и купались. Дно было каменистое, и купаться было плохо. Вечером мы возвратились домой.

Сегодня я целый день работал. Погода стоит хорошая. Днем температура +26-32. Дожди бывают редко. Писем мы ни от кого не получили.

24/VI. 45 г. Воскресенье. Уфа.

Прошло 4 года с тех пор, как 22 июня 1941 года вероломно напала фашистская Германия на Советский Союз. Война кончилась всего за 1 месяц и 13 дней до 4-го года войны. Когда война началась, Сталин сказал, что фашистская Германия будет разбита. Теперь его слова сбылись. По приказу верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина сегодня, 24 июня, в Москве состоялся **ПАРАД ПОБЕДЫ.** Принимал парад маршал Жуков. Командовал – маршал Рокоссовский. От каждого фронта на параде был полк. Войска, победившие Германию, приветствовал Сталин. Маршал Жуков произнес речь, и тогда войска четким шагом двинулись по Красной Площади. По Красной площади прошли все рода войск! И артиллерия, и танки, и конница, и механические войска на автомобилях. В честь победителей был произведен салют. Парад я слушал по радио…

Скоро исполнится 4 года, как мы уехали из дома (7 июля). Мама ходила к коменданту. Он ей продлил срок удостоверения. В первых числах июля мы поедем домой. Я хочу скорей домой!

Погода теперь переменная. Температура + 18.

Мы получили письмо от тети Лины (*из белорусской деревни Жуковки)*. Завтра я ей напишу ответ.
Умер Джамбул Джамбаев *(казахский поэт, лауреат Сталинской премии 2-й степени).*

МОСКВА. 19 июля 1945 г. Четверг.

12 /УП мы приехали в Москву. Сегодня мы выезжаем в Гомель.

ГОМЕЛЬ. 9 августа 1945 г. Четверг.

Сегодня началась война с Японией. Объявили вчера по радио вечером. У нас радио нет, но к нам прибежала рассказать Полякова О. Таким образом, война продолжается после 3-х месяцев передышки. Войну объявил С.С.С.Р.

17/VIII. 1945 г. Гомель

Поздравляю, Поздравляю
Дорогую Маму с Днем Рождения и Желаю Счастливой и Долгой, Долгой Жизни.
В этот Год Ты Встречаешь День Своего Рождения уже на Родине, в Гомеле, в Обстановке Победы над фашистскими Германией и Японией… Я Преподношу Тебе В День Твоего Рождения Букет Цветов, Яблоки и Груши из Нашего Сада.

Олег.

Герой моей повести,
которого я люблю всеми силами души,
которого я старался воспроизвести во всей красоте его
и который всегда был, есть и будет прекрасен, - правда.
Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы»

16/I. 1948 г. Пятница. Гомель.

Сейчас у меня каникулы, которые продлятся с 10 по 23.
11 января проходили выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Я ходил вечером в нашу школу. Смотрел, как танцуют, слушал радио из радиоприемника.
Вчера по случаю окончания полугодия наши ребята сделали складчину и собрались на вечер у Жданович Ксении. Про этот вечер я и хочу рассказать. Деньги я не вносил, т.к. их сейчас у нас нет, и поэтому на вечер я не собирался. Наступала ночь, и уже

стемнелось. Мама закрыла ставни, но вдруг раздался стук в окно. Мама спросила, кто стучит. С улицы ответили: «Мы – ученики 9 класса. Дома Иванов Олег?» Мама пошла, открыла им калитку, и они зашли к нам. Это были Зубарев А.С. и Школьников В. Они приглашали меня от имени учеников, собравшихся на вечер. Я был, правду сказать, очень рад. Я быстро поел *(чтобы сын вел себя прилично в обществе и не набрасывался на еду, мать, видимо, велела ему съесть картошку или кусок хлеба),* помылся, оделся и вместе с ними вышел во двор. Когда мы вышли на улицу, было уже совсем темно. Под ногами скрипел снег. Накануне была оттепель, но она прошла, и наступили снова морозы. Все небо было усеяно звездами. Мы приближались к дому Ксении. Мне было хорошо вспомнить, что и меня не забыли… И вот мы вошли в дом. Сначала была кухня, которая была чистенькая и хорошенькая, светленькая. Меня встретила мать Ксении. Она была на кухне и спросила моих товарищей: «Ну, привели?» Дальше следовала гостиная. Зайдя туда, я поздоровался с присутствующими и разделся. Гостиная и комната возле нее были чисты, светлы, с огромными высокими потолками. В них кто чем занимался: одни возились с патефоном, другие играли в карты, шахматы, шашки, третьи танцевали. Но вот через некоторое время нас попросили к столу, который состоял из двух и протянулся во всю гостиную. Мальчики и девочки уселись чересполосно. На столе было вино, которое было разлито для мальчиков в стаканы, а для девочек в рюмки. В большом блюде посередине стола лежал винегрет. В тарелках была нарезана колбаса, сыр голландский, хлеб. Кроме того перед каждым стояла тарелка с картофелью-пюре и котлетой. Мы встали и после пожеланий и чоканий выпили и стали кушать. После этого столы были перенесены в другую комнату, и начались игры и танцы. Играли в «ручеек». Эта игра довольно ничего: кто кому по сердцу, того и выбираешь. На этом вечере были: я, Болтушкин, Батанов, Брагина Л., Шамычкова, Радионова, Фей(л)ина, Школьников, Зубарев, Айибиндер, Хвостович, Жданович К.В., Гордеева Н., Офингейм, Коронцевич О., Лотков О., Левинсон, Фельдман Э.
(Продолжение) 18/I-48 г. Я, чтобы другим не было обидно, выбирал всех. Но больше всего мне нравилось выбирать Жданович К.В. и Хвостович Г., т.к. они мне более всех нравятся…

После того мы были приглашены к чаю. На столе было немало лакомств: порезанный на кусочки пирог, хворост, пряники, сахар-песок, конфеты шоколадные и конфеты-подушечки. Я всего попробовал по некоторому количеству. Ксения посматривала на меня (она сидела почти напротив), и приглашала меня, чтобы я брал. Но пить хотелось еще, а воды не было. В это время было уже, по-моему, более 1-го часа ночи, если не больше. Мы, мальчики, собрались и вместе с Ксенией пошли за водой. На дворе было холодно и тихо, дул слабый ветер. Набрав воды, мы возвратились домой. И снова, кто хотел, пил чай. Я также пил. Всего я выпил 4 или 5 стаканов. После чая снова начались игры после того, как мы с Болтушкиным проводили домой Хвостович. Хвостович хотел провожать отец Ксении. Но я еще за столом сказал Болтушкину, что ее надо проводить. Ксения в знак согласия подмигнула и сказала, чтобы мы шли. Когда мы провожали Хвостович, то она говорила, что сама дойдет, что некого бояться. И потом добавила, что мы сами будем бояться. Я сказал нарочно Болтушкину, что это правда, если нас схватит … какая-нибудь красавица. Проводив ее, мы пошли обратно. Как я уже сказал, все занимались, кто чем хотел. Я играл в шашки, играл на патефоне, смотрел карточки Ксении. Особенно мне понравилась одна из них. На ней Ксения стояла в черном платье. Вся она выглядела какой-то гордой, личико ее было хорошенькое, на нем была заметна симпатичная улыбка. Взор ее глаз был глубок и ясен, он выражал ум и, как мне показалось, самоуверенность (эта фотокарточка была сделана недавно). Потом началась игра в «испорченный телефон». Все сели на стулья и скамейки у стены. Сначала говорила Ксения. Она была почему-то в шляпке, которая ей как раз шла. В то время как мы переговаривались, она ходила по комнате. Она была хороша, и мне пришла в голову Зинаида из повести Тургенева «Первая любовь», на которую она, как мне показалось, была похожа в эту минуту (когда Зинаиду увидел рассказчик посередине двора). В Ксении как-то все, по-моему, хорошо. Вообще, она мне нравится, короче говоря.

Так незаметно и ночь прошла. Наступало утро. Без 10-ти минут 6 часов я подошел к радиоприемнику, чтобы настроить на Москву. И в это время послышались позывные Москвы. Я сидел и думал, что уже скоро пора уходить, мне было грустно и жалко, что так быстро

прошли эти часы веселья. Хотелось, чтобы это продолжилось. Ведь, бог знает, придется ли еще устроить такой вечер, и с ними вместе. И это печалило меня.
Наконец время подошло к 7-ми часам. Надо было расходиться. В это время как раз потух свет. Вышла мать Ксении и сказала, что света может не быть до 10-ти часов, и его поэтому ждать не надо. Зажгли свечу и начали собираться. Наконец, все оделись. Я последний раз окинул взглядом все кругом, стараясь запомнить: и комнаты, и друзей и самый вечер на всю жизнь. Сердце при этом сжималось, и не хотелось уходить. Но вот дверь кто-то первый открыл, и мы, попрощавшись, вышли из дома на двор. На улице было еще темно. Со мной до угла шло несколько человек. Попрощавшись, я пошел домой. В это время на улице было хорошо. Ветер к утру утих. Все кругом еще спало, и было тихо, только в одном месте, нарушая тишину, лаяла собака. Даже на линии (железнодорожной) было тихо. Откуда-то из-за линии слышна была песня, может быть, также загулявших, как и мы. На небе, несмотря на близость утра, было еще много ярких звезд. Только на востоке уже побелело. Я вошел к себе во двор и, постояв немного, любуясь этой тишиной, постучал в дверь. Мама мне открыла (она, кажется, из-за меня не спала). Я довольный всем вошел, кое-что рассказал ей о вечере. Затем я разделся и лег, заснув богатырским сном после бессонной, но веселой ночи, которая, несомненно, оставила после себя хорошее воспоминание, как о чем-то светлом в жизни. Проснулся я лишь после 12-ти часов дня. И опять мне стало грустно, что так быстро прошел вечер. И мне захотелось, чтобы все повторилось снова.

Вчера был день моего рождения *(17 января)*. Мама мне после поздравления преподнесла подарок – пряники. Папа прислал 200 рублей денег, которые пришли как раз в этот день. Он их прислал почему-то из Москвы. На новый год мама подарила мне в подарок апельсины и сделала маленькую елочку.
Так снова прошел день моего рождения (и довольно скудно теперь из-за денег, так что и пирог не удалось сделать), и опять жди год. А на следующий год исполнится не сколько-нибудь, а 18 лет, довольно значительное число. Интересно, что ждет впереди. Я тогда буду уже в 10 классе.

Сейчас уже поздно, Пробило час ночи. Я ложусь спать. Олег.

В 1949 году мой отец, Иванов Олег Валентинович, приехав из Гомеля в Уфу, поступил на учебу в Башкирский медицинский институт. После его окончания в 1955 году был направлен на работу в деревню Уса-Степановка Благовещенского района БАССР, где работал в должности главного врача больницы шесть лет. Там родилась я и мой брат. По возвращении в Уфу он устраивается в железнодорожную поликлинику детским педиатром и работает на этом месте до середины 1980-х. Он единственный мужчина в женском коллективе, поэтому для обслуживания выбирает самый труднодоступный участок – гористую местность с оврагами и крутыми подъемами и спусками на окраине Уфы рядом с железной дорогой и станцией. Местные жители называли его добрым «доктором Айболитом». Он приходил на помощь в любую погоду, обслуживая вызовы до поздней ночи. Вспоминают и его знаменитые галоши «прощай молодость», такую необходимую обувь в грязную погоду. Он не стеснялся носить ее, и поэтому всегда заходил в дом к больному ребенку в начищенных чистых ботинках и белом халате. Всегда тщательно мыл руки, протирал спиртом слуховую трубочку и никогда не спешил, осматривая больных. В 2000-м году проводить моего отца в последний путь неожиданно пришло много людей: врачи-коллеги, бывшие пациенты и их родители. Наша семья, где отец и мама были врачами, жила очень скромно, едва сводя концы с концами. Родители работали по полторы смены, по очереди подрабатывали ночами в стационаре железнодорожной больницы, всегда брали дежурства в праздничные дни. Характерная деталь 1960-70-х годов – одежду носили десятилетиями, перелицовывали пальто и даже воротник на рубашке. У нас не было никогда телевизора, зато было пианино, за которое рассчитывались целый год. Но так в нашей стране жили почти все.

Светлая ПАМЯТЬ нашим родителям, всем близким, всем нашим соотечественникам, кому судьба предназначила жить в невыносимых тяготах военного и послевоенного времени!

Уфа, январь 2020 г.

Геннадий МАЛКИН

Геннадий Ефимович Малкин (1939-2016) – российский и израильский писатель-юморист. Родился в Брянске в семье рабочих. В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Уфе. В 1962 г. окончил 3-й Московский медицинский институт. Работал хирургом-стоматологом. Автор книг: «Максимумы и минимумы» (Москва, 1990, 1991), «Живым из жизни не уйти» (Москва, 1995), «Умнеть надо незаметно» (Москва, 1998), «Афоризмы на каждый день» (Ростов-на-Дону, 1999), «Юбки – паруса мужчин. Афоризмы» (Ростов-на-Дону, 2000). Сочинял афоризмы для ТВ-программы «Времечко». Печатался также под псевдонимом Г. Малаховский. Произведения Малкина переведены на болгарский, немецкий, польский, чешский языки. Член Союза писателей Москвы (1996).

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВЕЛИКОМ ОТЕЧЕСТВЕ

Детская память идет вслед за временем и подбирает что-то свое, оброненное взрослыми.

Еще не помню ни отца, ни мать, ни брата, ни сестру, ни как вещал по телефонной трубке в два года: «товарищи, без паники – воздушная тревога!» (со слов родителей). Не помню, как мы прятались за печкой на кухне дома, в Брянске, как меня тащила мама на руках под грохот наступающего ужаса и гибели, как мы добрались до Орла, куда уже входили немцы… Не помню и не понимаю до сих пор, как сумела мама, с тремя детьми, прорваться через разбомбленные пути к какому-то стоящему составу, пролезть в забитую доской «теплушку», которая со скрежетом прошла по ржавым рельсам, годами позабытого пути. И покатились дни к Уралу, без пищи, на полу, который стал постелью и столом, и туалетом… Бывало, что на станциях какой-нибудь солдат делился хлебом со старухой и ее детьми, а маме тогда было сорок лет.

Я потихоньку помирал от голода и диспепсии, а поезд полз израненной сороконожкой к надежде, людям, жизни. После веселья нашего вояжа, приблизились к Уфе, уже закрытой для

обычных беженцев, и нас сгрузили в Дёме, откуда пригородный поезд ходил в Уфу, возил людей, имеющих официальный пропуск. Среди рабочих, ехавших законно, попались добрые сердца – нас уложили под сиденья, закрыли телогрейками, мешками и ногами, и мы доехали, не пойманные патрулем, до города, где прежде жили мамины знакомые.

На станции продавали мороженое, горячие булочки и что-то еще бесподобное, из прошлой расстрелянной жизни. Когда мама нашла знакомых, мы пришли к ним домой и увидели на керосинке сковородку с котлетами, в облаке запахов рая. Когда я подрос, мне сказали, что я изловчился схватить, проглотить и боролся как зверь за все остальное, и все испугались, что я тут же умру от обильной еды после долгого голода. Не помню из этого ничего, но знаю, что выжил. Мы вскоре сняли комнату и жили вместе всей собравшейся родней, дружнее и тесней, чем сельди в бочке…

Первое в жизни, пунктирное воспоминание: хочется есть, передо мною корова в аромате тепла и чего-то божественно вкусного – это был жмых у нее во рту. Испугавшись рогов и огромного тела невиданной прежде коровы, я позорно бежал, уступая бездушной судьбе, не отведав от пищи богов.

Спустя время, когда мы уже жили отдельно, выплывает из памяти вечер: мы сидим за столом, перед нами три блюдца со сладковатой от сахарина водой, мама сыплет в них горсточку семечек и говорит нам, что это халва. И еще, прорывается в память картинка: сестра достает из портфеля что-то круглое, вроде баранки, и дает ее мне, не попробовав даже кусочка от подарка из школы, в честь какого-то праздника. Она повела меня как-то впервые в кинотеатр, фильм назывался «Александр Матросов». Мне сказали, что он жил в нашем городе, в какой-то колонии, и погиб на войне как герой. У меня был с собой пистолет, из обрезка доски, со стволом из проржавленной трубки и резинкой с горохом, для точной стрельбы. До сих пор вижу кадр, как Матросов ползет к пулеметам, изрыгающим смерть, и встает во весь рост…, и я начал стрелять по экрану – в амбразуру немецкого дота. К сожалению, я не попал.

Всплывает как в тумане: ограда парка, духовой оркестр, ватага пацанов и очень толстый человек без выражения лица, припавший к ржавым прутьям… Мальчишки крутятся вокруг него и те, кто

посмелей, надавливают пальцем на расплывшееся тело – в том месте остается углубление. Когда мы шли обратно, я увидел, что человек осел в нечистую траву с закрытыми глазами. Лет через двадцать я узнал, что это называется водянкой, от голода, когда пьют воду вместо пищи, и с ложным чувством сытости отходят в лучший мир, где нет войны.

Еще картинка: рынок, мама смотрит, где купить картошки, народа почти нет, торговые ряды пусты, и вдруг шум, крики… Когда слегка утихло, стало видно – бьют мужчину. И вопли: мясо! вор! убить его! Мужчина в форме, бил по голове виновного гофрированной трубкой от противогаза – тот молча закрывал лицо руками…

Не говорю о том, как нас нашел отец – помню свет из двери и тепло налетевшего счастья. Знаю из семейной хроники, что он был в ополчении под Брянском, что город немцы взяли сходу, и участь почти всех оборонявшихся была печальна. Отец остался жив – спасали Брянские леса. Он понимал, что мы в ловушке города, а это не сулило ничего хорошего – евреи были вскоре уничтожены. Мы ничего не знали о его судьбе, а он - о нашей, и худшие предположения усугублялись временем.

Однажды отец сопровождал очередной состав, идущий на Урал. В Уфе, при длительной стоянке, его напарник заглянул в буфет на привокзальной площади, там его вычислила дама полусвета и повела к себе домой. Решив поблизости найти бутылку водки, она направила избранника к крыльцу, сказав, где расположена ее большая комната. Пришелец заблудился в коридоре и оказался в нашем переполненном жилище. Последовали извинения, вопросы… Он услыхал, что мы из Брянска, что мы не знаем о судьбе отца, и вспомнил постоянную тоску напарника о детях, о жене, пропавших, видимо, в воронке гетто. Товарищ наскоро простился, бегом на станцию, и рассказал отцу, что видел некую семью из Брянска, возможно, кто-то что-то знает и о его родных. Дал адрес, и отец отправился по зову невозможного. Картину этой встречи вряд ли смог бы передать самый талантливый художник – это по силам только жизни.

Судьба воспрянула и жизнь опять соединилась с будущим.

Наши войска уже освобождали отданные города, и вскоре стали появляться пленные, враги, которые копали траншеи для

каких - то мирных нужд почти - что рядом с нашим домом. Кадр прошлого: в канаве немец, совсем не страшный, он шатает грязным пальцем зубы и просит лук у нас, детей. Я прибегаю в дом, рассказываю маме, и мама достает из под стола, зашитого досками, большую луковицу. Я видел – там остались еще две…

Фашисты казнили брата отца - при выполнении особого задания в Орле, был выдан, опознавшими его соседями. А его сын, танкист, сгорел в подбитом танке, и прах его не захоронен так же, как и прах его отца, и моего двоюродного брата Аркадия, погибшего уже после победы над Германией…

И было много из родни израненных и покалеченных в боях под деревнями, селами и городами-не героями, с расстрелянными судьбами людей.

Дядя Савелий, оставшийся в живых под Сталинградом, краснодеревщик. Работал после войны на лесоскладе, а вечерами делал для души портреты Ленина, из шпона деревьев разных пород.

Дядя Лева, с лицом, повстречавшим осколок снаряда – половина лица осталась навеки с какой-то печальной и мудрой, неподвижной улыбкой. От контузии, больше года не мог вспомнить ни имя жены, красавицы тети Кати, ни того зачем жил. Он был гвардии капитаном, сохранившим военную выправку, гимнастерку, галифе с сапогами, вместе с верою в партию и ее безупречных вождей. Они жили втроем с тихой дочерью Раей в тупичке трех вокзалов, в коммуналке на двадцать семей, занимая пространство со столом и кроватью в узкой комнатке метров восьми, выходящей барачным окошком на рельсы трамваев. Если я приезжал, все вставали, чтобы дать мне пройти в глубину ветеранских апартаментов…

Тетя Шура, потерявшая двадцатилетнего сына уже после победы над Германией, но не над Японией… Помню свадьбу у Муси, тети Шуриной дочери, сразу вслед за победным салютом. Женихом был Абраша (в просторечии – Толик), возвратившийся с фронта задумчивый и сероглазый одинокий мужчина. Он никогда не говорил, куда исчезли все его родные. Письмо с извещеньем о гибели брата невесты, Аркаши, пришло на наш адрес в Малаховку накануне намеченной свадьбы счастливой его сестры. Моя мама велела нам всем молчать о свалившемся горе, дабы оно не погребло

своею тяжестью - ростков заявленного счастья мирной жизни. Отголосок войны их догнал через несколько дней от начала «медового месяца» свинцового года тяжелых победных потерь. Когда тетка моя умерла, ей поставили памятник вместе с сыном Аркадием (неизвестно, где погребенным и погребенным ли) с фотографией лейтенанта в пилотке и орденом на гимнастерке - за сбитые самолеты противника. Когда весною, по обыкновению, я навестил могилы близких, то памятник с разбитой фотографией валялся на земле, сраженный благодарными согражданами, вместе с десятками гранитных и бетонных обелисков на еврейской части кладбища в Малаховке. Вандалов не разыскивали…

Дядя Наум - скромный, маленький, профсоюзный трибун. Прожил с семьей в полуподвале, но напротив ЦК – в самом центре Москвы и партийных решений. Принципиальный враг всего, что выходило за пределы решений Пленумов и Съездов. Ходил в блестящих от десятилетий заседаний черных брюках, за неимением другой одежды, взглядов и судьбы. Кристальной честности сапер на минном поле Партии…

А День Победы я запомнил хорошо.

День Победы, о которой я услышал первым в коммунальном доме в городе Уфе. Накануне мне исполнилось шесть лет, и отчего-то не спалось всю ночь. Я берег свою первую в жизни игрушку – лошадку из папье-маше, на дощечке с колесиками, смотревшую с узкого подоконника на печку-«буржуйку» с железной трубой, выходящей в окно. Было боязно, что лошадку отнимет шпана, наводнявшая улицы и дворы. На рассвете, черный репродуктор, который не выключался, объявил мощным голосом Левитана, что Германия капитулировала. Я закричал, папа с мамой проснулись, и мы бросились в коридор, куда из дверей выбегали наши соседи - кто в чем был. Пеньюаров, пижам и белья от кутюр на них не было. Были только глаза, и голые руки, обнимавшие всех. Опасаясь чего-то, выглянул тихий бухгалтер, которого не любили за имя Адольф, но и он получил свою порцию крепких объятий.

Это было такое единение счастья, горя, надежд и прощенья, которого больше не возникало ни при каких обстоятельствах жизни…Дальше, трудное возвращение – не на родину, в Брянск, где разграбили дом соседи, а в Малаховку, под Москву, в обездоленный временем рай. Хвойный воздух, березы, не тронутый

промыслом дерн, возвращенные к жизни лица, и легенды культурных традиций, здесь творивших и живших, и сидевших по тюрьмам людей. При слове интеллигенция, каждый хватается за свое…

Отец после войны уже не выглядел таким надежным и уверенным, как на хранимой фотографии из прошлой жизни, где он сидел раздетым на скале, с могучими руками на крутой груди, в невероятно мирном Кисловодске. Не помню, чтобы папа когда-то больше отдыхал. Годами он не брал ни выходных, ни отпусков, ни бюллетеней по болезни – на компенсацию за отдых, нам, детям покупались или шились брюки, куртки, чтобы не стыдно было появляться в школе, институте. И брату, и сестре, и мне предполагалась лучшая судьба – успешных, образованных людей. Отец не дожил до благополучных дней, как впрочем, и миллионы других до него, да и после…

Страна менялась к лучшему, отчего-то минуя хорошее, и борясь с остальными народами за правое дело не думать о людях.

Прошли года, жизнь старилась морщинами десятилетий… Все вспоминается, как горечь неизбежности: в борьбе за мир, решающим бывает время нападения. Тактичные стратеги крайне редки.

Война – смертельное решение проблем.

Николай ПАХОМОВ

Николай Александрович Пахомов родился в 1937 году в городе Уфе. Отец — рабочий Железнодорожного депо, мать — служащая. Детство прошло в пригороде Уфы на берегу реки Белой. Окончил школу в 1954 году и поступил в Уфимский авиационный техникум на специальность технолога по сварке. После техникума служил в армии в городе Ташкенте. Затем работал конструктором на заводе. Поступил в Уфимское училище искусств в 1961 году, на вечернее отделение. Учился у педагогов А.М. Кудрявцева, Я.М. Плотникова. Был знаком с А.Э. Тюлькиным. В 1967 году окончил художественное отделение училища искусств. В 1989 году организовал группу «Сары Бия» (Жёлтая лошадь). В составе этой группы участвовал на многих выставках. В 1992 году был первым директором дома-музея А.Э.

Тюлькина. Живёт и работает в городе Уфе. Член Союза художников России с 1995 года.

«СИМ ПОБЕДИШИ»

Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: сим победиши.
Борис Пастернак

1937 год – год моего рождения. В начале войны, в 1941, мне было 4 года. Я помню начало войны. В конце войны мне было уже 8 лет - все детство была война, холод и голод. В магазинах нет хлеба, крупы, муки. Нет никакой еды, электричества, газа. Продовольствие продают по карточкам, и чтобы получить его, надо стоять в очереди даже ночью, без перерыва. Когда же привезут хлеб, то его будут выдавать через маленькое фанерное окошко, не в помещении, а на улице. Возле окошечка встанет огромная толпа, нарушится очередь, и больше всего безобразничать будут инвалиды войны. Люди без рук и без ног будут бить детей и женщин костылями, прорываясь к заветному окну: «Мы за вас кровь проливали!».

После всех этих мытарств ты получишь полкило хлеба, если повезет. А ведь он может быстро кончиться.

Что же остается?

Умереть от голода?

Но, слава Богу, есть огороды. Люди сажают картошку и другие овощи. А у кого огорода нет, в городе, сажают везде, в парке, везде, где есть земля. Если есть картошка, с голоду не умрешь.

Из городов бежали люди в эти «захолустные логова», и обитатели «логова» не отказывают им в крове. Сколько эвакуированных жили по этим избушкам. Больших удобств там не было, даже на полу на ночь места было мало. Спали на лавках, на теплой печке, где в это же время сушилась одежда.

Топили печь обрезками от досок, которые приносили с лесозавода. Работа там была каторжная: надо было вытаскивать бревна из воды, и это зимой. Грузить в вагоны. Пилить на

пилорамах, складировать. Все вручную. Половина народу в Нижегородке ходили без пальцев – отпиливали их на циркулярных пилах.

Топили еще и каменным углем: купить ничего было нельзя, но мы, дети, ходили по железнодорожным путям, железными крючками выковыривали из снега кусочки угля, который падал с проезжающих вагонов.

Еще помогала река: ловили баклешек с плотов на удочку. Маленькая рыбка, сантиметров десять длиной, спасала жизни. Ловили на мух, которых, в свою очередь, излавливали дома руками, отрывали голову и сажали в спичечные коробки. Что и сказать, мы были большими специалистами в ловле и мух, и рыбы.

Голод был еще несколько лет после войны. А потом в магазине стали продавать хлеб. Это было настоящее чудо.

Во время войны я в сказки верил: в змея Горыныча, самодвижную печку, говорящую щуку. Не верил только, что хлеб в магазине будет продаваться.

И сейчас, когда я смотрю на эти убогие избы, я знаю, что может придти злое время, все блага исчезнут, как мираж – это происходит быстро. Останутся у нас эти «захолустные логова». И может так случиться, что они опять, в который раз, нас спасут. Любовь эта к избам, печкам, картошке, колодцам – это наша генетическая память.

Уфа, январь 2020 года

Эвилина ИВАНОВА

Эвилина Алексеевна Иванова родилась в 1940 году в г. Уфе в семье служащих. В течение 42 лет проживала по ул. Лассаля, д. 12, ул. Энгельса, д. 24. После сноса домов в 1982 г. переселена в микрорайон Урал-Белореченский.

Училась в женских 38-й и 3-й школах, после объединения женских и мужских школ училась в 18-й школе, а затем окончила 11-ю школу, которая ранее находилась на ул. Ленина.

Окончила Башгосуниверситет по специальности биолог-биохимик, после которого прошла по конкурсу на должность ассистента кафедры биохимии Башкирского мединститута.

После окончания аспирантуры по био-выскомолекулярным соединениям при БФ АН СССР защитила кандидатскую диссертацию. А затем и докторскую диссертацию в Москве по специальности биохимия.

В настоящее время является ведущим научным сотрудником математической и молекулярной генетики при институте биологии Уфимского научного центра РАН. Все экспериментальные научные работы (более 200), выполнены на самостоятельных авторских и патентных (более 30) разработках Э.А. Ивановой.

УФА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Незнание – не порок,
нежелание знать – большой порок
Башкирская пословица[4]

Был ли «Объект № 1» в оперном театре?

Впервые, приблизительно в 1980 году, я услышала от кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Башмединститута - Марата Бикметова, что во время войны в подвале Оперного театра Уфы, в течение одних суток, находилось тело Ленина. Эту информацию Марат Бикметов получил лично от Сергея Руфовича Мардашева, аспирантом которого он являлся.

С.Р. Мардашев (1906-1974), биохимик, специалист высокого класса перед войной возглавлял кафедру биологической и аналитической химии Первого Московского мединститута. Перед этим стажировался в течение двух лет в Германии и США. С 1939 года был сотрудником спецлаборатории при мавзолее Ленина, а в период войны, в течение эвакуации, являлся одним из главных руководителей по сохранению Объекта № 1 (так называли тело Ленина[5]).

Представленная информация свидетельствовала о том, что вполне возможно, в сложное время, когда немецкие войска

[4] Лучшие пословицы народов мира. Москва: ОПМА, Торговый дом «Абрис», 2018, С. 32-33.
[5] Збарский И.Б. Объект № 1. М.: Вагриус, 2000. 316 с.

вплотную подошли к Москве (начало войны 1941), рассматривались многие варианты сохранения Объекта № 1, о которых нам мало что известно.

В вышеизложенном контексте вполне логично могла рассматриваться, как материальная база биохимической консервации - сохранения Объекта № 1, уфимская кафедра биохимии, которая находилась на первом этаже и имела крупное подвальное помещение, а через дорогу от её подвала находилось подвальное помещение Оперного театра.

Кроме того, следует иметь в виду, что во время войны в Уфу были эвакуированы крупные научные учреждения и интеллектуальная научная элита.

О вероятности такого варианта событий я рассказала заведующему уфимской кафедрой биохимии Башмединститута профессору Ф.Х. Камилову. В 2004 году вышла книга Ф.Х. Камилова с соавторами «Ступени роста»[6] об истории кафедры биохимии Башмединститута. Из этой книги стало известно, что новый биофизиологический учебный корпус Башгосмединститута по ул. Ленина, 3 был сдан в эксплуатацию в 1940 году. Кафедра биохимии получила просторные помещения и заняла первый этаж северного (правого) крыла, находившегося в кратчайшем расположении, через дорогу от Оперного театра. Биохимическая кафедра была укомплектована профессорско-преподавательским составом соответствующего профессионального уровня. В 1941 году, сразу после завершения весенней экзаменационной сессии, началась война. И тут же, с 22 июня произошла быстрейшая перестройка жизни института на военный лад. В этом организационном деле большую роль сыграл тогдашний ректор Мединститута Г.А. Пандиков. В июле 1941 года кафедра биохимии была перемещена в здание на Фрунзе, 47, так как её помещение на улице Ленина, 3 было отдано для госпиталей. Осенью 1941 года в Уфу были эвакуированы Академия наук Украинской ССР во главе с президентом академиком А.А. Богомольцем и первым вице-президентом академиком А.В. Палладиным, а также ряд научных учреждений Украины, Белоруссии, Москвы, в том числе и Институт биохимии Академии наук УССР, который разместился в разных местах г. Уфы, включая и медицинский институт. В Уфе в

[6] Камилов Ф.Х., Сагидуллин Ф.А., Аглетдинов Э.Ф. Ступени роста. Уфа, 2004. 170 с.

годы Великой Отечественной войны работали крупные научные коллективы, известные ученые страны. В годы войны 6 июня 1943 года в Уфе на заседании физико-математического отделения Украинской Академии наук в связи с 80-летием В.И. Вернадского ученые помнили и отметили этот день в своих выступлениях[7]. Деятельность многонациональной научной элиты оказала положительное влияние на формирование уфимских научных кадров. Всё это говорит о возможности рассмотрения уфимского варианта сохранения Объекта №1. Однако, по каким-то причинам он не состоялся.

В книге Ф.Х. Камилова сообщается, что во время войны заведующим кафедрой биохимии был Евгений Михайлович Губарев, который в 1945 году уехал в Ростовский мединститут. После него кафедра была передана И.П. Вакуленко. Впоследствии, после демобилизации, заведующим кафедрой был Ибрагим Зелеевич Ильясов, у которого мне пришлось работать до поступления в аспирантуру по химии био-высокоморекулярных соединений при БФ АН СССР. Ибрагим Зелеевич оставил в моей памяти очень светлое и человечно-прекрасное воспоминание о себе: как мудрого педагога и учителя жизни.

Из книги И.Б. Збарского (1913-2007) с соавтором П.Ф. Николаевым, написанной в 1990 году[8] известно, что 26 июня на 4-й день войны Политбюро приняло решение об эвакуации из Москвы тела Ленина. На подготовку этого мероприятия была выделена неделя. Было жаркое лето, которое усложняло перевозку. В этом издании книги сообщается, что «**Спецпоезд отбыл из Москвы в 21 час в первых числах июля. К месту назначения в Тюмень прибыли на третий день».** 23 марта 1945 года в 22 часа в здании с/х техникума был снят пост № 1, и вскоре из Тюмени в Москву отошел спецпоезд.

В 1996 году я написала письмо И.Б. Збарскому о том, что есть слух, что тело Ленина во время войны в течение суток находилось в подвале Оперного театра города Уфы. Илья Борисович ответил на мое письмо очень быстро и отрицательно по поводу этого слуха.

[7] Шаховская А.Д. Хроника большой жизни // Прометей (В.И. Вернадский и современный мир). Москва: Молодая гвардия, 1988. С. 83.
[8] Збарский И.Б., Николаев П.Ф. // Б.И. Збарский. Москва: Медицина, 1990. 175 с.

В связи с тем, что оппонентом моей докторской диссертации стал Илья Борисович Збарский, который входил в число сотрудников (вместе со своим отцом Борисом Ильичем Збарским (1885-1954) в штат по сохранению Объекта №1, то, естественно, я продолжала выяснять: «Почему один из руководителей эвакуации Объекта № 1 выдал своему аспиранту, в ракурсе упоминания об Уфе, вышеизложенную информацию?».

В 2000 году вышла книга Ильи Борисовича Збарского «ОБЪЕКТ № 1»[9]. Книга имеет посвящение: памяти друга и учителя Владимира Петровича Воробьева. Кроме того, книга начинается с эпиграфа: «Я не всезнающ, но многое мне известно» (И.В. Гете).

Из этой книги становится известным, что все решения касающиеся эвакуации тела Ленина происходили в строжайшей тайне. **И все же не на третий день особо важный объект прибыл в Тюмень, а на 4-й день.**

Далее в данной статье представлена более подробная информация на основе событий изложенных в книге «Объект № 1». Утром 3 июля 1941 года сотрудникам мавзолея сообщили, чтобы они были готовы к 16 часам к эвакуации на Восток с семьями и самыми необходимыми вещами. Во все тонкости мавзолейной эвакуации были посвящены не все, а только полковник К.П. Лукин и Борис Ильич Збарский. Под их руководством была произведена вся необходимая подготовительная работа. Гроб из чинары, изнутри покрытый парафином, с телом Ленина, и закрытый крышкой, входящей в пазы, смазанные вазелином, был помещен в большой деревянный ящик. Таким же способом было упаковано специальное оборудование и реактивы. Все это было погружено в специальный охлажденный вагон с завешенными окнами на Ярославской железной дороге. Стояла жаркая июльская погода. Особо важный объект был отправлен в 9 часов вечера. Сотрудники мавзолея с семьями ехали в других вагонах. И только в поезде некоторые из них узнали куда они едут. В этом поезде, кроме семей Бориса Ильича Збарского, Сергея Руфовича Мардашева, коменданта мавзолея И.И. Кирюшина, ехало соединение кремлевских солдат и офицеров, человек 30-40, которые в поезде несли вахту сначала у вагона, а впоследствии и у комнаты, где

[9] Збарский И.Б. Объект № 1. Москва: Вагриус, 2000. 316 с.

хранилось тело Ленина. Начальником бригады поезда был подполковник К.П. Лукин. Путь следования поезда охранялся красноармейцами. На станциях военные отбивались от осаждавшей поезд толпы, цеплявшейся за поручни вагонов и стремившейся эвакуироваться на Восток. Специальный рейс шел по стандарту, как поезда, перевозившие Сталина, Молотова и других членов Политбюро. В Тюмень поезд прибыл 7 июля. И там, только на месте, местное начальство узнало, что за «секретный объект» прибыл к ним.

Таким образом, вся спецгруппа числилась в правительственной командировке с 3 июля 1941 года по 23 марта 1945 года.

Как пишет И.Б. Збарский немецкие войска вплотную подошли к Москве, не было исключено падение столицы. Ждали сообщений по радио. Наконец-то объявили, что выступит председатель Моссовета Пронин, который сообщил, что все в городе нормально, все магазины, музеи, бани, парикмахерские функционируют. Те, кто не эвакуировался, рассказывают об этом дне, как о самом страшном дне в своей жизни, так как именно после выступления Пронина в городе началась паника, жгли документы, на вокзалах приступом брали поезда, которые не могли увезти всех желающих. На улицах возникали митинги, иногда звучали призывы к свержению советской власти. Кто находился за 1500 километров от Москвы, были в курсе международных событий, так как, кроме официальных сводок Совинформбюро, слушали и иностранные, в том числе немецкие радиостанции, некоторые сведения получали из разговоров с прибывшими с фронта и из городов европейской части страны. Несомненно, такой источник информации осенью-зимой 1941 года располагал к различным вариантам действий, о которых мало известно. Однако, четко известно, что поезд с ОБЪЕКТОМ № 1 шёл через Уфу.

Гостеприимная Уфа

Местом эвакуации были многие города восточной части союза, в том числе и Уфа. Свои воспоминания, в уфимские годы эвакуации, мне прислала доктор биологических наук Наталия Борисовна Попова (по мужу-журналисту: Пронина).

Когда началась Великая Отечественная война, Наташе Поповой было всего четыре года, поэтому в полной мере, как она пишет, не могла осознавать все то, что творилось кругом. Ей известно, что они долго не могли выехать из Рыбинска, где она жила в семье рабочего Рыбинского авиационного завода (п/я 20), так как Рыбинск сильно бомбили. В этот период оборудование Рыбинского авиационного завода было полностью демонтировано, все рабочие и служащие вместе с семьями были эвакуированы в Уфу. Наконец, где-то в конце ноября все составы тронулись в путь. Ехали в товарных вагонах, которые называли «теплушками». Наташа помнит, как рядом с их составом разорвалась бомба и образовалась большая воронка. Ехали очень долго. Все прибывшие рыбинцы были расквартированы в различных районах Уфы. Специалисты авиазавода работали в Черниковке, где обосновались заводские цеха. Отец Наташи уезжал на завод на 2-3 недели. Это было что-то наподобие вахтенного метода, но соотношение между рабочими и выходными днями было сдвинуто в сторону работы. Отец появлялся дома на 1-2 дня и затем вновь уезжал в Черниковку. Условия труда были суровые: во время небольших перерывов в работе люди спали на цементном полу на каких-то тюфяках, плохо питались. В итоге многие рыбинцы страдали от дистрофии, и часто можно было слышать от взрослых о смерти то одного знакомого земляка, то другого. Но когда приезжал отец на короткое время домой, то оно запомнилось музыкой. Отец в свое время закончил музыкальную школу по классу баяна.

По прибытию в Уфу семью Наташи подселили к русской семье на улице Достоевского, 47, кв. 7 в деревянном двухэтажном доме. Это была семья Веховых. Хозяйку звали Евдокия Ивановна, а хозяина – Николай Степанович. Обе их дочери Зина и Калерия были на фронте. В этом доме семье Наташи отвели небольшую комнатку с окном, выходящим во двор. Всё имущество эвакуированных состояло из пружинного матраца и семейной реликвии – сундука, изготовленного золотыми руками дедушки Наташи и подаренного её маме в качестве приданого. Сундучный замок был с секретом и «пел», когда его открывали. Во время эвакуации этот сундук сослужил свою незаменимую функцию. На этом сундуке спали послеоперационные солдатики, которые проходили период реабилитации в домашних условиях. Наташина

мама ухаживала за такими ранеными, делала им перевязки. В основном это были солдаты, потерявшие одну ногу. Их на долечивание в домашних условиях пристраивала хирургическая сестра Людмила, работавшая в военном госпитале. Наташа помнит, что одного такого солдата звали Андрюша (он с Украины), а другого Коля Огурцов. После поправки они вернулись в свои родные места. Помощь Наташи в уходе за раненными заключалась в том, что она скатывала выстиранные бинты, за это солдаты брали её в столовую, где она кушала «мамлеты», то есть омлеты, которые готовили из яичного порошка, присылаемого американцами по «ленд-лизу». В настоящее время сундук продолжает жить в семье Прониных в Москве.

В доме на Достоевского жили дружно люди разных национальностей: башкиры, татары, русские и эвакуированные из разных городов. Сохранилась фотография, на которой очень добрые и красивые люди из Киева: сидят женщина, её муж дядя Поль (Ипполит) и их родственник дядя Франц. Один из мужчин был водителем «полуторки». Его грузовичок часто стоял во дворе. Однажды Дядя Поль посадил всех детишек двора в кузов и повез в дом-музей В.И. Ленина. Из этой экскурсии, к сожалению, Наташа ничего не запомнила, кроме имени «Ленин». Маленькая Наташа запомнила соседский дом, где жили две сестры, эвакуированные то ли из Ленинграда, то ли из Москвы. Это были студентки консерватории. Они часто пускали к себе Наташу, и та в упоении слушала в исполнении сестер настоящую классическую музыку. Одна играла на скрипке, другая аккомпанировала ей на фортепиано.

Как это ни странно, считает Наталия Борисовна Пронина, но годы эвакуации сказались на её судьбе. Семья вновь вернулась в Рыбинск в августе 1943 года. Наташа одновременно окончила среднюю и музыкальную школы. Она получила рекомендацию в музыкальное училище им. Л.В. Скрябина, но предпочла учиться в МГУ, куда её приняли без экзаменов.

Прислав свои детские воспоминания об Уфе, Наталия Борисовна всем уфимцам прислала сердечный привет и наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия.

В свою очередь, уфимцы сохранили детскую Наташину память. Все присланные Натальей Борисовной фотографии, по её

просьбе, отослали ей обратно, в надежде, что её потомки и тех, кто на фотографиях, встретятся с воспоминаниями Натальи Борисовны Прониной.

В настоящее время на месте дома по улице Достоевского, 47 находится огромный жилой массив Достоевского, 49.

Уфа, 2020 г.

Валериан КУРЧАТОВ

Валериан Дмитриевич Курчатов (1913-2012) – двоюродный брат знаменитого физика И.В. Курчатова – родился в посёлке Симский завод Уфимской губернии (ныне город Сим в Челябинской области). Его отец происходил из семьи Курчатовых, где было шестеро братьев и две сестры. В 1930 году Валериан пошел работать на Уфимский завод горного оборудования, в литейный цех. В 1932 году по направлению завода поступил в техникум, который закончил в 1936 г. Учился легко, особенно хорошо давались математика и физика. Тогда же увлекся электротехникой, сам собирал детекторные приемники. Так что иногда вёл по электротехнике занятия, когда преподавателю надо было срочно отлучиться. В 1936 году поступил на работу на Моторный завод в Черниковке, в отдел главного технолога в сектор инструмента и оснастки. В мае 1940 года В. Курчатова призвали в РККА на срочную службу. В 1941 году в числе многих советских военных попал в немецкий плен. Прошёл лагеря в Латвии и Польше. В октябре 1945 года после освобождения из плена вернулся в Уфу. Работал в ремонтных мастерских Геологического управления, на заводе по ремонту сельхозтехники, где пользовался большим авторитетом. В последние годы занимал должность главного технолога завода «Геофизприбор».

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

В мае 1940 года меня забрали в РККА на срочную службу. Попал я в пехотный полк, которым командовал старый боевой

офицер, служивший еще в царской армии. За год до войны этот требовательный, знающий свое дело человек многое нам, молодым солдатам, дал.

Были мы на летних и зимних учениях, привыкли к длительным маршам, научились окапываться и вести оборону, метко стрелять, маскироваться, а главное, поверили в свои силы. В начавшейся вскоре войне нам это очень пригодилось.

Перед войной нас погрузили в ж/д эшелон и мы отправились на запад. Куда мы едем и зачем — об этом ни гу-гу. Названия станций узнавали у местных жителей на стоянках, которых было много. Ехали мы ни шатко, ни валко, часто пропуская вперед других. Про себя мы решили, что едем на какие-то большие учения у западной границы. Последний крупный населенный пункт, который мы проехали, был Невель (Псковская область).

Около десяти дней везли по железной дороге. Во время остановки возле какого-то городка в Латвии в небе появились самолеты. Мы подумали — начались маневры, не знали, что это война, да и никто не знал. А самолеты стали бомбить город.

В нашем полку паники не было, командовал им старый опытный офицер. Немцы наступали, мы держали оборону, отступали, попадали в окружение, выходили, нас снова окружали. Полк наш, видно, отступал последним.

Немецкие самолеты летают, мы спрашиваем:

– А где наши самолеты?

Нам говорят:

– На более ответственном участке.

– Где наши танки?

– На более ответственном участке.

У нас был, выходит, неответственный участок.

В памяти сохранились отдельные обрывочные моменты, давно это было.

Идет обстрел, рвутся мины. Вдруг вижу в поле, метрах в десяти от себя, барана. Нижнюю челюсть его срезало осколком, и из раны хлещет кровь. А он с недоумением и ужасом смотрит вокруг.

Вспоминаю такой эпизод. Бег по открытой местности под обстрелом, в воздухе визжат и лопаются мины. В голове бьется одна мысль: только бы успеть добежать до укрытия. За спиной

фырчание осколка, куда ударит сейчас? Фырчание прекращается, через секунду горячий осколок бессильно шлепается на спину и падает на землю. Повезло и на этот раз.

Выходим мы из окружения, вдали лесок, бежим, стреляем. Вижу: лежит на земле убитый немец, рукава засучены, лицо белокурое, красивое. Мелькает мысль: «Какого молодого убили… какой красавец... И мать и жена еще не знают».

В начале войны немцы отборные были, все как один. На мотоциклах…

Наш полк немцев побил много, больше, чем они нас. Они наступают, а мы их косим. Вот пулеметчик – у него максимка был – он как застрочит, так сразу ужас наводит на немцев.

Пулеметчик Дрожжин – как сейчас помню его. Неуклюжий он, все время полы мыл. То у него шинель не застегнута, то, значит, обмотка валяется – и ему все наряды вне очереди давали.

Я его потом после войны в Уфе встретил. Гляжу: Дрожжин!

Потом, через несколько лет, прочитал некролог – Дрожжин умер. Болел он, видимо, ранения были.

Вот я одного только его встретил, больше никого не встречал. И фамилию его запомнил.

Еще помню был у нас запевала, хулиган, бывший детдомовец. Часто его наказывали, на гауптвахту отправляли. Плясал хорошо, пел. Но упрямый: старшина командует: запевай! – он молчит. Старшина опять: запевай! – молчит. Старшина рассердится, в снег нас загонит, а тот все равно не поет.

Как бои начались, я однажды встретил его – идет с передовой в сторону тыла. Я его спрашиваю: – Ты куда?

– Не могу стрелять в людей, – отвечает.

– Тебя же там самого расстреляют!

– Пусть расстреливают. Не могу убивать.

Больше я его не видел.

IV

Приходилось отступать с боями, днем держим оборону, ночью отходим, иногда километров до 50. Это когда нас с флангов оставляют соседи. Иногда прорываемся, атакуя.

Мы идем пешком, немцы – на автомашинах и мотоциклах обходят нас. Несколько раз попадаем и выходим из окружения. Разбиваемся на группы по 8-10 человек, так легче. Голодные, не спавшие несколько дней, мы попадаем, наконец, в окружение, из которого уже не вырваться. В последний раз мы, восемь человек, ложимся на ночь под большим деревом. Где полк, что с ним, – никто не знает.

Рано утром я просыпаюсь и вижу, что я один. Где мои товарищи? Прихожу к печальной мысли, что они, сговорившись, покинули меня ночью, решив, что я еврей и этим принесу им несчастье. Эти солдаты были из разных частей, мы были почти незнакомы.

Приходится идти одному по лесу, пока не встречаю то одного, то двух таких же бедолаг. Опять идем группой.

На лесной поляне стоит разбитая советская трехтонка ЗИС-5. Может, удастся поживиться чем-нибудь съестным? Лезем в кузов, прислонив винтовки к бортам. Осматриваем какие-то ящики и вдруг слышим: «Хальт! Хенде хох!» – и видим немецких автоматчиков, выскочивших из зарослей. Их много, не уйти.

Пленных собирают в колонны, которые растут и растут.

Попадаем в огромный сборный лагерь для военнопленных в городе Двинск (вероятно, нынешний Даугавпилс в Латвии). По дороге то ли в Двинск, то ли из Двинска идем колонной по 8-10 человек в шеренге. Время от времени подъезжает телега с хлебом, и каждому крайнему в шеренге немец дает по буханке, это на всю шеренгу. Бывает такое, что получивший хлеб резко убегает от своих вглубь колонны, стараясь затеряться там. Немецкие конвоиры гогочут.

Все-таки выживаю, и через некоторое время попадаю в лагерь города Шнайдемюль (город Пила, Польша). Из лагеря нас каждый день возят на работу на паровозоремонтный завод. Здесь работают немцы, французы, поляки и советские военнопленные на вспомогательных работах. Я в команде, которая чинит крышу. Немцы – это обычно старики-мастера; есть один сварщик, голубоглазый блондин, отъявленный фашист, смотрит на нас с ненавистью. Немец-мастер более человечен.

«Аллес пропаганда!» – говорит он. Он, видно, не большой сторонник Гитлера.

Все же фашист-сварщик берет под свою опеку молодого русского пленного, голубоглазого и белокурого, как он сам, работает с ним в паре, сует иногда кусок хлеба.

У него сын на восточном фронте, в Вермахте. Однажды под Сталинградом он погибает, красный и злой сварщик на работе, на него страшно смотреть.

Несмотря на военное время, никто из немцев не работает сверхурочно, так же и другие.

Был у меня друг – француз Мишон. С ним мы разговариваем на пальцах и какой-то тарабарщине. Немцы-старики смеются: один говорит только по-русски, другой ни бельмеса по-русски, а поди ж ты, друг друга понимают.

Из наших я сблизился с Иваном, моряком из Одессы. Иван зовет меня Абрамовичем, считает, что я еврей, мне он полностью доверяет. Кстати, мне несколько раз приходилось проходить медицинско-расовую проверку перед эсэсовцами в белых халатах, все пленные совершенно голые проходили мимо этих врачей и я каждый раз боялся, что меня примут за еврея, но каждый раз меня никто не останавливал.

V

Здесь можно сделать небольшое отступление. Ни военное, ни лирическое. Несерьезное, касающееся моей внешности.

Я и в самом деле был похож на еврея. Внешне, во всяком случае, похож. И многие даже считали меня евреем. Я не придавал этому особого значения, пока не попал в плен к немцам.

Потому что если б немцы решили, что я еврей, это бы значило верную гибель. Но в данном вопросе они относительно меня не ошиблись. Наверно, взявшись за всеобщее уничтожение евреев, они подошли к делу с типично немецкой деловитостью и разработали научные способы отделения их от представителей других наций, до которых еще не дошла очередь на уничтожение.

Однако некоторые наши военнопленные продолжали считать меня евреем. Возможно, они таким образом выражали свое презрение к немцам и ихней науке. Попадались даже такие, которые обещали, что сообщат про меня куда следует. Однако они не приводили угрозу в исполнение, не желая, видимо, лишний раз страдать за правду, будучи обвиненными в дезинформации.

Я опасался, – вдруг какой-нибудь малограмотный немец тоже примет меня за еврея. Не то, чтобы я не хотел иметь ничего общего с евреями или испытывал к ним антипатию. Скорее, я испытывал антипатию к тем, кто угрожал настучать на меня.

Позже, убедившись, что фашисты не собираются принимать меня за еврея, и надеясь на их грамотность в национальном вопросе, я несколько успокоился.

Но в первое время в плену я всерьез тревожился и старался не попадаться лишний раз на глаза фашистам. Особенно я волновался на первом осмотре или комиссии – или как это у немцев называется – на предмет состояния здоровья, работоспособности, национальной принадлежности и других интересующих фашистов вещей. И вот, когда нас, советских военнопленных, в раздетом виде изучали разные специалисты, на меня вдруг обратил внимание какой-то офицер и стал пристально вглядываться в лицо. Мне не понравился повышенный интерес немецкого военного, и у меня возникло желание затеряться в толпе заключенных. Я отошел немного в сторону, стремясь скрыться от офицера за стоявшими впереди товарищами. Офицер тоже переместился, чтобы лучше меня видеть, и продолжал вглядываться. Я передвинулся в другую сторону, немец – тоже. Со стороны эти смены дислокаций враждующих сторон выглядели, наверно, несколько комично, вроде эпизода из какого-нибудь фильма Чаплина…

Офицер подозвал меня к себе. И через переводчика спросил:

– Почему у вас таких молодых в армию берут?

Я в растерянности не нашел, что сказать. И не мог взять в толк, почему немецкий офицер именно меня об этом спрашивает. Или это завуалированный вопрос о принадлежности к евреям, которые, по мнению фашистов, должны быть лучше других осведомлены о всех секретах советской армии?..

– Сколько тебе лет? – снова спросил офицер.

Я ответил.

Немец изумился. Я выглядел (кроме всего прочего) еще и моложе своего возраста. И офицер принял меня за несовершеннолетнего.

VI

Чем ближе красная армия, тем терпимее относятся к нам немцы. Отдаленная канонада на востоке. Нас колонной ведут на запад.

Однажды при налете англо-американской авиации я не спускаюсь вместе со всеми в бомбоубежище и становлюсь очевидцем ночной бомбежки. Правда, это очень опасно. Но была не была! Тут за деревом меня никто не видит. Люди ушли в подвалы. Тяжело нарастая, слышится гул бомбардировщиков, их не видно, но они наваливаются тяжелой массой. Внезапно в небе вспыхивают десятки ярких огней, становится светло как днем. Это осветительные бомбы на парашютах, некоторые раскачиваются, создавая неровный, мятущийся отсвет. И вот засвистели первые бомбы. Ужасный, рвущий душу вой, и взрывы. Треск и грохот слышатся повсюду. Где-то сильно, в большом возбуждении слышится конское ржание, оно долго не стихает. Начинаются пожары, в воздухе запах дыма, гари. За первой волной бомбардировщиков следует вторая; с небольшим интервалом третья. И вот налет кончился, сирены ревут отбой. Из бомбоубежищ наверх поднимаются люди. Оглушенный увиденным и услышанным, смешиваюсь с толпой. Проходит еще один день войны.

Нас начинают возить на строительство укреплений, видать, плохи дела у немцев. На ночь нас привозят в большой металлический ангар, где и запирают до утра. Однажды мне с вечера нездоровилось. Проснувшись утром в дальнем своем углу ангара, обнаруживаю, что я один, совершенно один. Никого, и двери широко распахнуты! Ошеломленный пустотой, тишиной, я выбираюсь наружу. И тут я вижу родного русского солдата с автоматом.

– Ты кто? - спрашивает он.

– Свой, – отвечаю.

Освобождение пришло очень кстати, так как нездоровое мое состояние оказалось началом сыпного и брюшного тифа. Я попадаю на госпитальную койку. Болезнь протекала тяжело, выздоровление было медленным. Долгое время я находился без сознания. Когда я пришел в себя, был очень ослаблен и изможден.

До такой степени, что не мог даже ходить. Медсестры заново учили меня ходить.

Помаленьку прихожу в себя, меня подлечили уже настолько, что выписываюсь из госпиталя и попадаю на службу в комендатуру советской военной администрации города Свинемюнде (Свиноусцье, Польша).

Вооруженный автоматом в военной форме я патрулирую по ночным улицам. Но в шляпе, соскучился по гражданской жизни. И думаю о превратности судьбы. Кем я был еще вчера? Бесправным рабом, за которым всюду ходит смерть. А сегодня я хозяин этих улиц, у меня оружие, у меня власть.

Тут ко мне подходит какой-то офицер, вглядывается в меня, я несколько растерян, подумав, что его внимание привлекла моя неуставная шляпа, и вдруг он удивленно спрашивает: «Курчатов?! Это ты? Живой?!» Я узнаю военврача, который лечил меня в госпитале. Он не предполагал, что я выживу.

Однажды ночью в мое дежурство ко мне подбегает немка: «Герр официр!..» — что-то говорит и жестами просит меня зайти к ним. Я захожу. В ярко освещенной комнате за столом сидит с видом хозяина советский офицер, напротив, сжавшись в комок, сидит молодая женщина, видимо, дочь этой фрау, пригласившей меня в дом. Увидев меня, офицер сникает, протягивает документы и быстро уходит. Обе женщины горячо благодарят: «Данке шен!» Я выхожу в темноту.

В октябре со второй волной демобилизации я ухожу из армии, мой путь домой.

Начинается новая, мирная жизнь.

Запись и подготовка текста Валерия Парфенова
Бельские просторы. 2018. № 5. С. 92-96.

Борис ПОПОВ

Борис Леонидович Попов (1926-2017) родился в семье врачей. Мать Анна Ивановна Праксина происходила из династии известных казанских медиков Праксиных, основателем которой

был внебрачный сын графа Н.А. Апраксина. По женской линии её дедом был полковник Уральского казачьего войска К.М. Ерёмин. Отец Леонид Николаевич Попов родился в семье учителя Самарской приходской школы Н.И. Попова. С началом Великой Отечественной войны Борис Попов работал два года на заводе телефонной аппаратуры № 697, а потом ушёл добровольцем в армию, прибавив себе возраст. В армии служил в танковых войсках с апреля 1945 г. по ноябрь 1950 г. Окончил исторический факультет БГУ.

С 1962 по 1992 гг. преподавал в Уфимском библиотечном техникуме. Уроки вёл творчески, возглавил художественную самодеятельность и с большим удовольствием тщательно готовил и проводил массовые мероприятия, которые очень важны для подготовки библиотекарей.

Будучи человеком творческим, он писал стихи. Их уйма, самых разных: юмористических, лирических и др. С 1959 года сотрудничал с республиканскими СМИ. В его багаже более 800 статей на краеведческие, коллекционерские и профессиональные темы, опубликованных в газетах: «Ленинец», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Республика Башкортостан», «Истоки» и в журналах: «Среднее специальное образование», «Бельские просторы», «Рампа», а также в краеведческих сборниках.

В 2003 году Борис Леонидович был награждён Почётной грамотой Уфимского горсовета. В 2006 году – благодарственным письмом Российского фонда культуры и Почётной грамотой Министерства культуры и национальной политики РБ. А в 2007 году получил великолепный подарок – популярную иллюстрированную энциклопедию «Уфа старая и новая».

Последние годы жизни жил в Тюмени, в семье сына, занимаясь до последних дней своими творческими увлечениями. В 2016 году, к 90-летию Б.Л. Попова, стараниями его жены, учеников и друзей в Уфе в серии «Уфимская сирень» была издана его книга «Уфимские истории».

УФИМСКИЕ ИСТОРИИ

Люди эры милосердия
Рассказ о тех, кого помню и люблю

Когда разразился советско-финляндский конфликт (ноябрь 1939-го), мне было тринадцать лет. Мою маму, врача-лаборанта детской клинической больницы Анну Ивановну Праксину, призвали на военную службу. Она была известна в Уфе, коллеги считали её специалистом высокой квалификации и безупречного отношения к своим обязанностям. Маму аттестовали как военврача III ранга (капитан медслужбы), выдали обмундирование и назначили на должность начальника химбаклаборатории эвакогоспиталя № 1741. Таким образом, в моей памяти госпиталь живёт с 1939 года.

Маме очень шла военная форма. Не устраивал только шлем-будёновка, сшитый из серой фланели. И она предпочла ему синий берет со звёздочкой, а красноармейский головной убор отдала мне. Я его с гордостью носил, по-мальчишески чувствуя себя причастным к происходящим событиям. Госпиталь развернули в трёхэтажном кирпичном здании на улице Тукаева, 48. До революции в нём помещалось женское епархиальное училище, накануне войны – городская клиническая больница. Как медицинское учреждение оно в наибольшей мере годилось под госпиталь.

По возрастной незрелости я не вникал в суть работы госпиталя, но с интересом слушал скупые рассказы мамы о его трудах и днях. Благодаря этому я, в частности, узнал, что наряду с ранеными сюда поступало много обмороженных. Красноармейские ботинки с обмотками и шлемы-будёновки плохо защищали бойцов от карело-финских морозов. Не случайно после той военной кампании шлемы, появившиеся в период гражданской войны, заменили шапками-ушанками.

Со слов мамы я знал фамилии некоторых врачей, работавших вместе с ней. С большим уважением она отзывалась о Елене Васильевне Малыгиной. Хорошо помню её зрительно. Высокая, стройная, светловолосая, чем-то напоминающая англичанку. На глазу – аккуратная чёрная повязочка, результат химической травмы. Очень серьёзная молодая женщина. Их отношения были чисто деловыми.

Сердечная дружба связала маму с начальником рентгент-кабинета Ксенией Евграфовной Косых, весёлой черноглазой толстушкой-хохотушкой. Эту душевную привязанность сохранили они до конца своих дней.

Запомнилась фамилия военкома госпиталя. Им был батальонный комиссар Некипелов. Внешность его мне знакома по групповой фотографии всех военврачей госпиталя, которую я, к сожалению, не нашёл. Во время Великой Отечественной войны Некипелов стал военкомом Эвакоуправления № 97. Возвращаясь же к разговору о снимках, добавлю, что сохранились персональные фотографии мамы и Ксении Евграфовны в форме.

...Прорывом линии Маннергейма и взятием Выборга закончилась эта война (март 1940-го), оставившая горький привкус неподготовленности к ней и командного состава, и армии в целом. Хорошо, что та кампания была короткой. Госпиталь вскоре расформировали, и медперсонал вернулся к мирному труду, выполнив свою миссию по возвращению людей к жизни. Мама вновь начала работать в своей любимой детской больнице. Но впереди страну ожидали гораздо более суровые испытания.

Прошло менее полутора лет, как грянула страшная и масштабная, разрушительная и смертоносная Великая Отечественная война. В самом начале её моего отца, доцента Башкирского медицинского института Леонида Николаевича Попова, вызвали к Председателю Совнаркома БАССР. С.А. Вагапов в приказном порядке поручил папе возглавить работу по развёртыванию сети госпиталей и подготовиться к приёму военно-санитарных поездов. С этой целью создавалось в Уфе Эвакоуправление № 97, начальником которого стал временно военврач III ранга Леонид Попов (позже его сменил военврач II ранга – Ходоров). Началось формирование госпиталей первой очереди. В их число попал и госпиталь № 1741, поскольку в нём уже существовала лечебная база и весь медперсонал был наготове.

Снова призвали врачей, работавших здесь во время финской войны. Вновь встретились на госпитальном поприще бывшие коллеги: Елена Малыгина, Ксения Косых, моя мама и другие. Появились и новые, из молодых. Вторым врачом в лабораторию назначили Антонину Константиновну Ратнер, окончившую Башкирский медицинский институт в 1939 году. В состав

травматологического отделения попала молодой врач Алевтина Ястребцова, которую я хорошо знал (с 1942-го она стала начальником отделения). В зубоврачебном кабинете стала работать тоже молодой специалист Минора Шакировна Макулова. Это тот узкий круг врачей, с которыми меня, подростка, сводила жизнь. К себе в лабораторию мама взяла свою лаборантку из детской больницы Татьяну Попкову. Правда, в 42-м Таня ушла на фронт и дошла затем до самого Берлина. Её сменила в госпитале Марианна (фамилии не помню). Для Татьяны Ивановны моя мама – Анна Ивановна Праксина – стала духовной матерью.

На этот раз медперсонал не обмундировывали, но врачи несли службу как военврачи. Все тщательно готовились к приему раненых. Госпиталь открылся 1 июля 1941 года. За время его существования сменилось несколько начальников, но чаще всего я слышал фамилии Мироненко и Иовлева.

Первую партию раненых госпиталь принял 28 июля, и на лабораторию обрушился, как впрочем и на все другие службы, огромный объём работ, не уменьшавшийся до конца войны. Бесконечные анализы – через эту процедуру проходили все больные, да и не по одному разу. Приём ходячих, посещение тяжёлых, изуродованных ранениями людей. У всех щемило сердце при взгляде на больных, лежащих в отделении челюстно-лицевой хирургии. Да и в других отделениях хватало тягостных впечатлений.

Мама до глубины души сочувствовала и сострадала своим пациентам. Мне запомнился её рассказ об офицере-летчике, пострадавшем от вражеской диверсии. Вместо воды он глотнул какой-то кислоты. В результате – обширный ожог полости рта и пищевода. Образовавшиеся после лечения рубцы не позволяли ему нормально глотать, и он получал питание через трубочку с воронкой, введённую ему напрямую в желудок. Рассказывая о своих впечатлениях, мама удивлялась тому, что некоторые больные, прошедшие через фронт и повидавшие многое, теряли сознание, когда у них брали кровь на анализ. Она очень ловко и умело брала у больных желудочный сок. «Больной еще и подумать ни о чём не успеет, - говорила мама, - а я уже ввела ему зонд». Зима 41-42-го годов наступила рано и ожесточилась лютейшими морозами. В Уфе температура опускалась до минус пятидесяти. В

суровых боях под Москвой природа словно испытывала немцев и нас на прочность. Мы выдержали проверку, но в потоках раненых поступало и немало обмороженных. Вероятно, службы снабжения армии обмундированием не успевали с пошивом тёплой одежды.

В конце 1941-го лаборатория пополнилась двумя сотрудницами Академии наук УССР, эвакуированной в Уфу, - Розалией Исааковной Лирцман и Зинаидой Ефимовной Бабич. Всё равно приходилось трудиться, не считаясь с затратами времени. Мама приходила домой уставшей до изнеможения, а нужно было ещё что-то сготовить на ужин и сварить на завтра какую-нибудь похлёбку. Мой растущий организм требовал еды. В дни дежурства по пищеблоку мама, снимая пробу, оставляла для меня немножечко каши, которую я с наслаждением поедал, удивляясь тому, что бойцы разбирают свои миски весьма неохотно. «Как можно не хотеть каши?» - с недоумением спрашивал я. Потом, отслужив более пяти лет в армии, автор этих строк понял причину такой холодности раненых.

Мамина лаборатория располагалась на первом этаже, слева от главного входа. Окна выходили на Тукаевскую аллею. В июне зацветающие липы щедро дарили больным своё благоухание, помогая им выжить...

Каждый раз, приходя в госпиталь, я видел напряжённую работу маленького коллектива лаборатории. За время войны он не раз был награжден Переходящим Красным Знаменем наркомата или Государственного Комитета Обороны и удостоен благодарностей высоких инстанций.

Моя мама была самоотверженным тружеником и подлинным патриотом страны. Когда начался сбор средств на нужды обороны, она сдала все свои облигации и некоторые ценные вещи, оставшиеся от прошлого. Работа в госпитале была работой на износ. Всё было подчинено одному – вернуть больных к жизни. Её тяжелейший и благороднейший труд отмечен медалью «За победу над Германией» и Почетной Грамотой Верховного Совета БАССР.

С окончанием войны и расформированием госпиталя № 1741 жизнь разбросала врачей по разным медицинским учреждениям. Но сохранилось между ними великое чувство товарищества, сложившееся в период трудов и дней Великой Отечественной. На протяжении многих лет, празднуя очередную годовщину Победы,

бывшие коллеги собирались вместе, вспоминая времена, что объединили и сроднили их, людей эры милосердия. На тех встречах всегда зачитывалась поздравительная телеграмма от бывшего начальника госпиталя И.Г. Иовлева.

Вечерняя Уфа. 2007. 27 апр. С. 6.

«Стали тихими наши дворы…»

В воскресный полдень 22 июня 1941 года я приехал в центр города, возвращаясь от своей тётушки. Уже в трамвае стал свидетелем взволнованных разговоров о нападении Германии на Советский Союз, о выступлении по радио наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Вскоре и сам услышал дикторский текст, а позже – запись речи наркома. Всякий раз у репродукторов собирались люди, жадно ловившие каждое слово, произнесённое Молотовым. В память врезалась заключительная фраза: "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!"

Не могу сказать, что я пришёл в ужас или хотя бы был удручен этим известием. Нет, во мне взыграл дух патриотизма и мальчишеская готовность хоть сей момент бежать на фронт и бить врага. Что ещё можно было ждать от подростка, которому шёл пятнадцатый год, насмотревшегося фильмов о детях-киногероях периода гражданской войны?.. Мы наивно считали, что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней», а в случае войны «нас в бой пошлёт товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведёт». Шагая в ногу с официальной пропагандой, мы вдохновенно пели: «Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь, боевой нарком», убеждённые в том, что «и на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом». В этом нам помогут и боевая винтовка образца 1891 года, и острая сабля, и тачанка-ростовчанка с верным «Максимом», и бронепоезд, стоящий на запасном пути. Все эти устаревшие представления разбились о мощный, оснащённый новейшими техническими достижениями, военный кулак гитлеровского рейха. Наше, готовое к скорым победам, настроение подогревалось радио, бодро

умалчивающим о фактических потерях, но сообщавшим о частичных мелких успехах.

Не родилась ещё песня Булата Окуджавы «Ах, война, что ты сделала, подлая?», но двор наш уже стал тихим. Начали уходить в армию наши отцы. Первыми надели форму дядя Лёша Корольков и мой папа.

Как сейчас вижу: дядя Лёша входит в калитку, лицо строгое, на петлицах гимнастерки два лейтенантских кубика. Отец, для всех дворовых ребят «дядя Лёня», превратился в военврача третьего ранга с одной шпалой в петлицах. Он уйдет на фронт осенью 1942-го. Покинули двор дядя Витя Будылин, дядя Коля Тархов. Призваны были ребята 1920 года рождения – Юра Сергеев и Борис Рабинович. До нас очередь пока не дошла, но уже летом 1943-го по окончании десятилетки с нами попрощались наши старшие товарищи, родившиеся в 1925-м – Олег Александров, Володя Сергеев, а еще Толя Байдерин из соседнего двора, впрочем, в нашем дневавший и ночевавший. Тишина снизошла на наш двор. Не стало Ивана-водовоза, оглашавшего зычным криком «Во-о-о-ды-ы-ы!» окрестности квартала. Он с войны не вернулся...

На долю оставшихся жильцов выпали заботы и тяготы тыловой жизни с её непростыми законами и полуголодным существованием, с длиннющими очередями за хлебом и «отовариванием» продовольственных карточек, с работой на военных заводах, в госпиталях и гражданских учреждениях, с подселением во все квартиры эвакуированных из Москвы, с Украины, из Белоруссии и западных районов России.

Война изменила все наши планы и мечты. В марте 1943 года я поступил на военный завод с его двенадцатичасовыми сменами, без отпусков и зачастую без выходных дней. Рита Королькова и Игорь Александров пошли в авиационный техникум, учёбу в котором завершили вместе с окончанием войны. Ещё двое, чтобы облегчить жизнь своим матерям, поступили в военные спецшколы: Витя Ким – в артиллерийскую, Володя Тархов – в авиационную.

...Самым сильным ощущением периода войны было чувство голода. Постоянно хотелось есть. Продукты, которые мы далеко не всегда получали по карточкам, и те, что были куплены по спекулятивным ценам на базаре, не насыщали растущий организм. Денег на съестное не хватало, и в ход шли вещи, накопленные за

довоенное время. (А как жили те, у кого не нашлось хоть каких-то накоплений?) На толчок был отправлен отцовский велосипед, на котором он совершал далёкие поездки по служебным делам – аж до Ишимбаево. Распрощались мы и с патефоном. В 1935-м отец первым во дворе приобрёл этот «звучащий ящик», и все соседи сошлись у нашего крыльца и слушали «Авиационный марш» и фокстроты – «Мона Лиза» и «Рио-Рита». Из сундуков были извлечены и отправлены на «сорочку» все вещи, сохранившие товарный вид. И всё это мы проели...

С какой же радостью мы слушали по радио голос Юрия Левитана, передававшего Приказы Верховного Главнокомандующего об освобождении наших городов, и артиллерийские салюты, их сопровождавшие! С каким ликованием был встречен триумф Победы!

Из ушедших на фронт не вернулись Алексей Васильевич Корольков, Борис Рабинович, Володя Сергеев и Толя Байдерин. Виктор Васильевич Будылин «хлебнул» плена и проверки наших спецорганов.

Старшее поколение уже покинуло этот мир, а нам, тогдашним мальчишкам и девчонкам, сегодня уже по восемьдесят (или под восемьдесят). Мы живы. Наша жизнь оплачена кровью погибших за «правое дело», за Великую Победу. Я перезваниваюсь с Маргаритой Алексеевной Корольковой, ныне – Захаровой, постоянно общаюсь с Владимиром Николаевичем Тарховым, нерушима моя дружба с Виктором Ивановичем Кимом. Четыре года войны оставили глубокие следы в наших душах, и не случайно мы, люди того времени и того поколения, встречаем праздник Победы «со слезами на глазах». И не случайно каждый раз в день начала войны, 22 июня, души наши скорбят...

Вечерняя Уфа. 2007. 22 июня. С. 4.

Приют под нашим кровом

Когда началась Великая Отечественная война, мне шёл пятнадцатый год. Я рвался на фронт. Только там была война настоящая, а у нас она ощущалась по-другому: из магазинов исчезли продукты, была введена карточная система в зависимости

от категории граждан, рыночные цены дико поднялись, школы превратились в эвакогоспитали, город наполнили беженцы, которых стали называть эвакуированными. Здесь под кровом уфимских домов и квартир нашли они приют.

Наша квартира не была исключением. Через неё прошли многие люди разных возрастов, социального положения и национальностей. Среди них не было знаменитостей, но все они оставили след в моей памяти.

Первыми «залётными ласточками» стали две молодые женщины, эвакуированные с каким-то учреждением из Москвы: строгого вида в очках Мария Андреевна и томная, тоскующая Полина, в свободное время усердно поглощавшая Мопассана. Именно тогда я тайком впервые познакомился с творчеством французского певца любви – запретный плод сладок.

Их вскоре сменила супружеская пара: Яков Львович и Зинаида Яковлевна Гольдштейн. Супруг – маленький, полненький, гладенький, в песочного цвета коверкотовой гимнастерке со «шпалой» в петлице и эмблемой НКВД на рукаве, по утрам отправлялся на службу, а супруга не торопясь поднималась, облачалась в многоцветный, яркий долгополый халат и вальяжно бездельничала. Это была высококлассная тунеядка. Муж обеспечивал деньгами и спецпайком, а приносила продукты и готовила еду её старая, приходящая, мама – Цецилия Самойловна.

Потом Якова Львовича куда-то перевели, и ярко-пёстрый халат бездельницы-супруги перестал мелькать перед глазами. Вместо них появился депутат Верховного Совета Белорусской ССР Новожилов (по-белорусски - Новажилау). Он тоже получал спецпаёк, куда входил трубочный табак «Золотое руно». Стоило ему закурить, по квартире распространялся такой невероятно приятный аромат, что мне страстно хотелось попробовать эту «экзотику».

Одновременно с Новожиловым жила 60-летняя украинка из Белостока – Дуня (Домна) Онуфрийчук. У неё было удивительно молодое лицо. Повяжет, бывало, седые волосы платочком – ну, девушка и девушка. Она дважды вмешалась в мою жизнь, став, как я считаю, моей судьбой: помешала сбежать на фронт в октябре 41-го и вырвала меня из лап смерти в ноябре. Она по сути дела подарила мне второе рождение. Я ей вечно благодарен.

И вновь москвичи. Семья Мальковых: мама с 13-летней дочерью Таней и бабушка. Танюша выглядела болезненной девочкой из-за худобы от недоедания и остриженной головы. Вшивость – непременная спутница войны. Трудно им жилось. Спецпайков они не получали, у Тани и бабушки карточки иждивенцев (по 400 граммов хлеба на день), у мамы – служащей – 600 граммов, другие карточки сплошь и рядом не отоваривались. Вся семья существовала на одну зарплату. Пока Таня в школе, а мама на работе, бабушка Малькова разводила на шестке русской печи костерок из щепочек и на четырёхногом таганке готовила немудрёную еду.

Это был 1942 год. В конце его учреждение, где работала Танина мама, вернулось в Москву, увезя с собой и семью Мальковых.

Их место заняла супружеская пара крымских татар Омеровых с сыном Сергеем (Сервером). Отец Серёги работал в каком-то наркомате, мать - тетя Зина (Зайнап) - вела домашнее хозяйство. Сергей был на год младше меня, но выглядел более рослым и крепким. Мы с ним очень быстро и хорошо «спелись». Зимой с 1943-го на 1944 год в оперном театре часто проводились вечера молодёжи: небольшой концерт и танцы под духовой оркестр. Я в это время уже работал на военном заводе, Серёга учился, но по вечерам мы ходили в оперный.

Мама Зина купила козу и нарекла её Розой. Обязанностью Сергея было кормить её, а он забывал про это. Однажды тётя Зина уходит из дома и наказывает:

- Сервер, накорми Розу...

- Ладно, - бурчит Серёга. И забыл. Тётя Зина возвращается.

- Сервер, ты накормил Розу?

- Не-е-т, - мямлит Сергей.

Ой, как возмутилась тётя Зина! Вообще она говорила без акцента, но тут...

- Бессовестный ты!.. Мама ходит как шёрт, голодный как собака, а ты Розу не накормил!

В 1944-м уехали Омеровы. Возможно, это было связано с начавшимися тогда гонениями на крымских татар. Вместо них вселилась украинская пара Супруненко. Николай Иванович работал

в Академии наук, его половина, Мария Александровна, сидела дома.

Их сменила интеллигентная дама с дочерью Надей и «шахматной» фамилией Гардэ. Обе пары промелькнули, не оставив какого-либо яркого следа в моей памяти.

Последними была семья Войтоловских. Сначала – муж с женой, пожилые, скромные, спокойные. Потом – их сын, вернувшийся после госпиталя. Перед моим уходом в армию он мне дал ряд дельных практических советов, которые мне очень пригодились. Войтоловские уехали из Уфы, когда я уже ушёл в армию.

Тесен бывает мир. Лет 15 спустя, учась в институте, я разговорился с преподавателем кафедры физвоспитания Владимиром Ефимовичем Дизенко, и выяснилось, что мать моего предармейского наставника – его родная сестра.

Заканчивается 55-й год с той поры, как завершилась война, и не думали мы, не гадали, что снова люди будут бежать от войны, возникшей по вине безответственных людей, погрязших в трясине своих амбиций.

Вечерняя Уфа. 2000. 27 апр. С. 3.

На перепутье

Война и школа

Осенью 1941 года по возвращении с полевых работ для нас, восьмиклассников, с опозданием на целый месяц начался учебный год. Поскольку родная 64-я школа была занята госпиталем, нас бросали куда попало. Сначала ходили в 12-ю школу, что находилась недалеко от станции Правая Белая по ту сторону железнодорожных путей. Потом перебросили в 11-ю, где занятия проходили в три смены. Мы угодили в последнюю. Эта сумятица дезорганизовывала учащихся. Дисциплина хромала на обе ноги.

Ушёл на фронт наш любимый историк Михаил Константинович. За ним последовал учитель черчения Михаил Николаевич. Не стало обаятельной учительницы физики Тамары Михайловны.

Место Михаила Константиновича заняла некая Мария Степановна, эвакуированная, вероятно, из Рыбинска, судя по говору. Эта бедная женщина, как я осознал, став взрослой, пребывала в нелёгком положении. Измученная эвакуацией, жизнью в чужой квартире, полуголодным существованием на жалкие карточные нормы в сочетании с низкой зарплатой и прочими трудностями бытия «беженцев», она должна была по вечерам ходить на уроки к пятнадцатилетним доморощенным нигилистам, душою преданным Михаилу Константиновичу. Она нам сразу же не понравилась, даже внешностью. Наш слух карябало не привычное для Уфы «оканье», но главное – это то, что она не владела, как Михаил Константинович, предметом и давала урок, считывая текст с лежащего перед ней учебника... Словом, она пришлась «не ко двору».

Если бы кто-то из нас хоть на одну минуту задумался о причинах ее педагогической несостоятельности! Но на это наших мозгов не хватало. Подростки беспощадны в своих оценках и пристрастиях.

Учителям, не отвечавшим нашим, с позволения сказать, критериям, мы досаждали как могли. Так, на первом уроке Марии Степановны все в классе обменялись друг с другом фамилиями. При перекличке Попов поднимался за Екимова, а тот – за Попова. Тройной обмен скомбинировали Вера (Венера) Кудашева, дочь Сайфи Кудаша, Ирина Утешева, дочь военкома, и Валя Рощина, очень скромная девушка. На следующем уроке все вернули себе свои фамилии. Таким образом, новая «училка» какое-то время не могла запомнить кто есть кто.

Спустя какое-то время нас перевели в помещение 3-й школы. Появилась новая учительница физики - Галина Фёдоровна, молодая, из Старой Уфы, неопытная. Она нам тоже чем-то не глянулась. Кто-то из учеников оказался случайно свидетелем разговора Галины Фёдоровны с мужчиной. Она сказала: «Как я буду жить? Как я буду работать?» На следующий день перед ее уроком на доске появились эти вопросы, которые, судя по вспыхнувшему лицу, Галина Фёдоровна прочла. Подобные «уколы» были самыми невинными из всех, доставшихся нелюбимым учителям. Я не был мальчиком-паинькой.

В том памятном учебном году я был на перепутье и не знал, куда израсходовать свою отрицательную энергию. Учиться не хотелось. Душа рвалась на фронт, а не в школу. Я, как и всякий юнец, чувствовал себя неуязвимым. Десятого октября, будучи справедливо наказанным отцом за «ничегонеделание», в знак протеста я сбежал из дома, чтобы попасть на фронт. Как это сделать практически, понятия не имел. Два дня метался по друзьям-товарищам, не приблизившись к фронту ни на километр. Боевые подвиги мне не достались, побег потерпел полный крах, а беглец вновь водворён в школу.

Вскоре я чуть было не расстался с жизнью. Желая попугать жившую у нас женщину, эвакуированную из Белостока, - Домну Пантелеевну Онуфрийчук, я засунул свою дурную голову в петлю... Хорошо, что у Дуни, как мы её звали, в руках оказался острый нож (она шинковала на зиму капусту). Она срезала петлю, когда я уже был без сознания. С тех пор прошло больше 65 лет, и я возношу благодарность милой Дуне Онуфрийчук за сохраненную мне жизнь. Тот ноябрьский день 1941 года стал днём моего второго рождения.

До свидания, школа

В итоге моего «сражения за знания» и слишком упрощённое понимание ленинского лозунга - «Учиться, учиться и учиться!» — я был оставлен в 8-м классе на второй год. Летом 1942 года я вновь был послан на сельхозработы. Вернувшись к учебе, я снова окунулся в омут безделья. Но однажды этому был положен конец. Наша директриса, Надежда Тимофеевна Кроткова, собрала нас, неистовых поборников низких показателей, и обратилась к нам с краткой, но прочувствованной речью:

- Ну, вот что... Вы мне тут не нужны. Не хотите учиться в школе, я вас всех направляю в ФЗО. Скажите об этом своим родителям. В школу можете не приходить.

Однако, в ФЗО я не пошёл.

На семейном совете решили, что целесообразнее поступить в авиационный техникум. Правда, приемные экзамены прошли, но отец сказал, что у него есть знакомый – Анатолий Александрович Озеров, который сможет помочь в устройстве сына своего коллеги. Действительно, ставка на Анатолия Александровича оказалась счастливой - я был принят, и даже без экзаменов.

Авиатехникум

Уфимский авиационный техникум пришёл на смену железнодорожному, построенному в начале 30-х годов. Основой нового техникума стал Рыбинский авиационный, эвакуированный вместе с заводом. Под техникум отвели двухэтажный деревянный дом на углу улиц Кирова и Цюрупа (впоследствии там обосновалась 21-я школа, теперь на этом месте площадка перед Трансагентством).

Меня зачислили в группу ХОМ-13 (холодная обработка металла, 1-й курс, 3-я группа). Здесь для меня всё было ново: здание, предметы, система урочных пар, учителя, товарищи. Всё это обязывало к самообновлению. Учиться стало интересно.

Очень симпатичен был преподаватель черчения, внешним видом напоминающий старого интеллигента. На всю жизнь запомнилось сказанное им на первом уроке:

- Работы подавайте строго по графику. Раньше не надо, чтобы вас не посчитали выскочками, позже тоже не надо, чтобы не выглядеть лентяями.

Я эти слова в полной мере оценил, когда стал работать с заочниками Уфимского библиотечного техникума.

Чрезвычайно понравились преподавательницы химии и английского языка. Я вдруг обнаружил, что стал понимать химию: атомный вес, молекулы и прочее, что в 8-м классе в голову не лезло. Новинкой стал для меня английский язык. В школах тогда преподавали только немецкий, а тут – другое произношение, артикуляция, транскрипция. К сожалению, за краткостью обучения в техникуме не запомнил имен тех милых женщин. Зато хорошо помню учительницу физики – Анну Павловну. Седовласая, уже в годах, в пенсне, она была для меня воплощением строгости и высокой требовательности. Предмет свой знала досконально, и все силы прилагала, чтобы вложить в наши головы премудрости механики. Это был курс 8-го класса, который в школе я не учил. Обилие правил, законов и формул нужно было либо глубоко осмысливать, либо зазубривать. С наскоку не бралось, а привычки к усидчивости в школе не выработалось, и я кое-как перебивался с «двойки» на «тройку».

С интересом занимался слесарной практикой. Во дворе техникума имелась слесарная мастерская. Я впервые встал к верстаку, зажал в тиски чугунную «чушку», взял в руки зубило, которым оббил одну сторону «чухи», опилил её дрочевым напильником, потом – более тонкая опиловка личным напильником, затем – пришабривание. Всё это позволяло увидеть и ощутить результат своего труда. Практика делала учёбу ещё более интересной.

Прощание с техникумом

Закончился 1-й семестр, и нам объявили, что предстоит производственная практика на моторном заводе. А зима 1942-1943 годов была лютая. Морозы доходили до -40 градусов. Бывало, от дома с улицы Пушкина до техникума я бежал в два приёма. Первый этап – до главного почтамта. В вестибюле попрыгаешь, ноги чуть согреешь и пошёл на второй этап – до техникума. Добираться трамваем до Черниковки по одноколейному пути нужно не менее двух часов. На рабочем поезде не слаще. Вот тут и призадумаешься. К этому времени отца дома уже не было – ушёл на фронт. Мама работала в госпитале. Она поохала, поахала, но в силу своей ортодоксальности сказала:

- Что поделаешь, надо практику проходить. Придётся ездить.

Тут мои раздумья развеяли друзья-советчики. Они сказали:

- А ты устройся на какой-нибудь завод в городе, отработай положенный срок, возьми справку и уволься. Работу на заводе тебе зачтут как практику.

Так я и сделал, но легко было поступить на завод, а уволиться оказалось не просто. И я стал работать на военном заводе. Перепутье закончилось.

Бельские просторы. 2007. № 7. С. 158-161.

...И звёздочка от Павло Тычины

Июнь 1941 года. В самом его начале мы, семиклассники, сдали последний экзамен и получили свидетельства о неполном среднем образовании. Открылись перед нами разные дороги: кому – на завод, кому – в техникум, а кое-кому продолжать учиться в школе,

получать полное среднее образование. Каждый выбрал свой жизненный путь.

Но «человек предполагает, а жизнь располагает». Очумевший от военных успехов, мечтавший о «дранг нах остен» и «блиц-криг» в России маньяк Гитлер и иже с ним 22 июня бросили фашистское воинство на нашу страну.

Первому, сильнейшему натиску фашистских полчищ подверглись западные районы Советского Союза, прежде всего – Украина. Перед ней возникла необходимость капитальной эвакуации учреждений науки, культуры и искусства, чтобы ими не завладел враг. Речь об Академии наук УССР, очагах истории и литературы...

Пока Красная Армия в упорных оборонительных боях сдерживала напор немецкой военной машины, на Украине шла очень трудная и широкая эвакуация всех духовных ценностей в глубокий тыл.

В начале войны мне шёл пятнадцатый год. Возраст пока не призывной, но, охваченный патриотическим порывом, я рвался на фронт. Кто мог знать, что мой возраст осенью 1943 года тоже станет призывным? Я поступил на завод, а он мне выдал бронь. Но первые два года войны я был свидетелем появления в Уфе украинской мовы (речи).

На улице Пушкина, 79, почти напротив нашего двора, незадолго до войны построили трёхэтажный дом «Башспиртотреста». Он был передан Украинской академии наук. В советские праздничные дни на крыше этого дома появлялись лозунги: «Хай живе перше травня!» (травень – май) или «Хай живе червоний жовтень!» (жовтень – октябрь). Из разговоров взрослых мы узнали, что теперь тут обитает Академия наук Украины.

Впрочем, украинская речь для Башкирии новинкой не была. Ещё со «столыпинщины» в Уфимскую губернию переселились семьи украинцев. В сентябре 1941 года я вместе с ребятами из восьмого класса 64-й школы работал в деревне Фомичёвка, наполовину украинской.

Однажды в начале войны дети жильцов так называемого Дома специалистов (улица Ленина, 2) были возбуждены неординарным событием. К ним в квартиры вселили эвакуированных украинцев.

Девочка Таня, дочь покойного инженера горкомхоза Владимира Семёновича Бондарева (квартира № 66), сообщила: «К нам в папину комнату поселили поэта Павло Григорьевича Тычину!». Наш товарищ Олег, сын профессора сельскохозяйственного института Александра Степановича Шутко (квартира № 1), гордо преподнёс: "А к нам приехали артисты Киевского театра оперы и балета, сам Иван Сергеевич Паторжинский и Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут. Им отвели самую дальнюю комнату – папин кабинет».

Мы стали заходить к Олегу, чтобы хоть одним глазом увидеть известных украинских гостей. Бывали удовлетворены, когда их видели. Как-то раз зашли втроём к Татьяне. Топчемся у двери. Вышел в прихожую Павло Григорьевич. Увидел нас, заговорил, стал спрашивать, где и как учимся. Потом вынес красные пластиковые звездочки с булавками и подарил нам.

В восьмом классе вместе со мной училась очень милая девушка – Вера (Венера) Кудашева. У меня хранится ее фотокарточка для паспорта. Как-то Верочка сообщила, что её отец, башкир Сайфи Кудаш, дружит с украинцем Павло Тычиной. (Мне встречалось фото этих друзей.)

Спустя какое-то время появился анонс музыкального спектакля – Гулак-Артемовский «Запорожец за Дунаем». Мы к Олегу: "Попроси у Паторжинского контрамарки на «Запорожца». Вскоре контрамарки у Олега были, и мы сидели в ложе бенуара и слушали двух замечательных певцов в замечательной опере. До сих пор мысленно вижу на сцене Карася-Паторжинского. В памяти звучит его великолепный голос: «Ой, лукава вражья жинка! Зараз буде голосить. Як злякала чоловика, ще не маю, шоробить!». И милая Одарка – Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут!

С удовольствием был на опере Джузеппе Верди «Риголетто». Партию Джильды исполняла народная артистка СССР Зоя Гайдай.

На протяжении всей войны у нас жили эвакуированные. Сначала москвичи и белорус Новожилов. Потом – супруги Супруненко из Академии наук Украины – Николай Иванович и Мария Николаевна. Осенью 43-го, когда Советская Армия освободила Киев, они уехали вместе с академией.

В 1955 году я посетил Киев. Сфотографировался возле памятника Богдану Хмельницкому. А на границе Украины с

Курской областью красовалась прошлогодняя арка – «Триста лет Украина с Россией».

Как жаль, что сейчас нет нового Богдана!!!

Вечерняя Уфа. 2014. 23 дек.

Трудовое крещение

Я - «приравненный»: в декабре 1991-го меня приравняли к участникам войны, До того времени я был «никем». Медали «За доблестный труд» не получил, ибо находился в армии, а другой - «За победу» - не удостоился, потому как на фронте не был. Опоздал. Я ушел в армию, а война возьми да закончись.

А теперь меня удостоили. Наградили. Правда, не медалью, а лишь удостоверением к ней, но это не беда. Ведь в нём чёрным по белому написано: «...награждается медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Можно колодочку купить. Главное – отметили. Как-никак, а в военное время на военном заводе два годика отбухал.

Началось всё с того, что нас, первокурсников Уфимского авиатехникума, отправляли на практику. Проходить её следовало на авиационном заводе в Черниковске. Уж больно далеко туда ездить было. Либо рабочим поездом, либо два часа трамваем. Путь-то был одноколейный с разъездами. Вот мне кто-то и посоветовал: «А ты устройся в городе на завод, а когда практика закончится, уволишься, и эту работу тебе зачтут как практику».

Хорошо сказать «уволишься» - время-то военное, 1943-й год. Только что отгремела Сталинградская битва. Фронт содрогается в напряжении. Тыл – всё для фронта. Рабочие руки нужны. Заводчан даже в армию не берут, в отпуска не пускают. И уж, конечно, никого не увольняют. Но тогда я этого не знал и поступил на военный завод.

В Уфу эвакуировался известный ленинградский завод «Красная заря». На его базе образовалось два самостоятельных предприятия. Одно разместилось в старом корпусе сельхозинститута (бывшая семинария) и в почти достроенном

новом. Ему присвоен был номер 628. Другой завод занял здание тогдашнего пединститута, что на углу улиц Аксакова и Сталина (ныне Коммунистическая). Он получил номер 697. Вот сюда-то я направил свои стопы.

Начальник отдела кадров, майор госбезопасности Лобов, долго не раздумывая, черкнул на моем заявлении: «Принять на работу в 8-й цех», а устно сказал:

- Завтра к восьми выходи.

Утром 19 марта 1943 года я переступил порог цеха и предстал пред ясны очи его начальника – Дарманчева. Тот прочитал приемную записку и глухо буркнул:

- Учеником револьверщика.

Я по неосведомленности своей подумал, что буду делать револьверы, а оказалось, что так называется рабочий при станке, имеющем устройство с закрепленными резцами и сверлами, вращающееся по принципу револьверного барабана.

Цех меня буквально оглушил. Ревели моторы станков. Бешено стучали автоматы, выстреливавшие винты и заклёпки. Ухали, перебивая друг друга, штампы. Из дверей соседнего цеха доносились тяжкие удары кувалды и механического молота. Всё это сливалось в один оглушающий обвальный грохот, за которым нельзя было расслышать говорящего.

Я отыскал мастера Щеглова, и мы поорали друг другу в уши, после чего он подвел меня к бойкой курносой девушке с очень живыми чёрными глазками, Вале Мундировой, и сказал:

- Вот твой ученик!..

Меня поставили к небольшому укрепленному на деревянном верстаке станку марки «Болей» с рогатым рычагом-ухватом для передвижения суппорта. Встанешь внутрь рогов и двигаешь бёдрами, как индийская танцовщица: влево – проточка, вправо – отвёл резец. И так весь день или ночь. По 12 часов.

Первая деталь, которую мне предстояло выточить, называлась 33-й колонкой. Две проточки, канавка, нарезка резьбы, отрезание. Для охлаждения резца маслом его сдабриваешь, а чтобы брака не было, скобами все размеры проверяешь. Потом и другие детали пошли: из стали, латуни, эбонита.

Через полмесяца первая получка — аж 200 рублей. По рыночным ценам их могло хватить на буханку ржаного хлеба или

100-граммовую пачку лёгкого табаку. Но я был горд – сам заработал.

Прошло время, отведённое на практику, я сунулся было увольняться, ан не тут-то было – попал грибок в кузовок, оттуда не выпрыгнешь. Через два с половиной месяца получил 2-й разряд и застрял на заводе.

Конечно, мы не слышали зловещего воя фашистских самолетов, на нас не сыпались бомбы, мины и снаряды, но сказать, что не было трудностей, не могу. Простоять смену на ногах тяжело было. А ночью приходилось бороться со сном. За день-то не выспишься. Какие-никакие домашние дела да и возраст (16 лет) не позволяли долго спать. Вот и клюёшь носом, стоя у станка. А спать нельзя – норма не велит.

Утром вернёшься с работы. Эх, засну! Только ляжешь, чуть задремлешь, а тут икры обеих ног так судорогой сведёт, что, себя не помня, с кровати слетаешь.

Зимой мёрзли. Правда, дрова утром на лошадёнке к цеху подвозили, но телогреек мы не снимали. Корпус (барак), где цех размещался, в 41-м наспех строили. Печки его не нагревали.

И раненые бывали. То стружка в глаз залетит, то какая иная травма. Помню, на штамповке работала Фира Едидович, моя одношкольница из параллельного класса. Села она к штампу, тяп – и двух пальцев как не бывало.

Но самым сильным чувством был голод, По себе знаю. Всё время хотелось есть. Организм растущий, а необходимых калорий не получал. Голодание шло на клеточном уровне. Ощущение наполненности желудка бывало, а чувства сытости нет. Каждая клеточка организма просила пищи. «Чего бы поесть?» — вот постоянная мысль, навязчиво сверлившая мозг. Заскочишь иной раз в перерыве домой – поесть бы! Откроешь буфет, а там – пусто. Походишь по комнате и снова, чисто механически, открываешь буфет, а там по-прежнему пусто. Повернёшься и пойдешь опять на завод смену дотягивать.

Однажды, помню, так сильно есть захотелось, что взял картофельную кожуру, оставшуюся со вчера, помыл её, поскрёб, мелко порезал, на воде «поджарил» и съел. А жарил её не на керосинке, не на плитке электрической, а на шестке костерок развёл из щепочек и сготовил.

Вот так-то и свершалось трудовое «крещение» в войну. Впрочем, у всех по-разному.

Вечерняя Уфа. 1993. 8 мая.

Горькая судьбина

Это название позаимствовано у русского писателя XIX века А.Ф. Писемского, ибо судьбу человека, о котором хочу поведать, иначе как горькой не назовешь.

Знакомство

В 1956 году руководители художественной самодеятельности Дома ученых и Дома учителя предложили мне, в ту пору студенту пединститута, вступить в их драмкружки. Выбрал Дом учёных, хотя второе предложение исходило от народного артиста РСФСР и БАССР Михаила Леонидовича Кондратьева, исполнителя роли В.И. Ленина в спектаклях Республиканского русского театра драмы и в нескольких фильмах.

Самодеятельностью Дома учёных руководила никому не известная М.А. Артемьева. Ее предложение было первым. Приняв его, я уже не мог пойти на попятную. Кроме того, с первой встречи Мария Андреевна понравилась мне своей интеллигентностью, и я ни разу не пожалел о сделанном выборе.

В Доме учёных был интересный самодеятельный коллектив, ядро которого составили способные артисты-любители, образовавшие надежную опору руководительницы. Вскоре к нему Мария Андреевна причислила меня, и у нас сложились доверительные отношения. Я стал называть её «матушкой».

«Матушка» была незаурядной личностью. Я это понял, впервые попав в её обитель, - небольшую комнату в коммунальной квартире, все стены которой были увешены картинами. Мне бросились в глаза копии картин известных художников. Несколько обескураженный их обилием, я спросил:

- Кто это всё написал?

- Я, - коротко ответила Мария Андреевна.

Притягательная сила

Чем больше я узнавал Марию Андреевну, тем полнее раскрывалась её многогранная натура. Она хорошо знала художественную литературу, особенно драматургию, владела французским языком, любила музыку, имела «глаз художника», обладала великолепным чувством юмора и добродушно-ироническим взглядом на вещи, что выражалось в создании шуточных стихов-пародий. Но главным её достоинством была способность притягивать к себе людей. Кого только я у неё не встречал: и первую наставницу Р. Нуреева Анну Ивановну Удальцову, балерину Елену Константиновну Войтович, врача-хирурга, прошедшего войну в составе Башкирской кавдивизии, Кадрию Искандеровну Кутлубаеву, переводчицу стихов Давида Кугультинова Юлию Нейман, пианистку Татьяну Томберг, учёного Владимира Георгиевича Бэра. И конечно, постоянными посетителями были мы – доморощенные и пестуемые Марией Андреевной артисты. В её комнате звучали интересные и поучительные разговоры, музыка чередовалась с шутками и анекдотами. Казалось, жизнь легка и безоблачна. Но чем больше росла доверительность между нами, тем горше выглядела её жизнь.

Первые удары

Мария Андреевна, дочь генерала А. Артемьева от второго брака, родилась в Санкт-Петербурге в 1899 году. Получила типичное для дворянских детей домашнее воспитание и классическое гимназическое образование. В её духовном росте не последнюю роль сыграли её тётушки, которые, по её словам, в детстве приняли участие в воспитании будущей звезды русского балета Анны Павловой.

В семье процветал подогреваемый тётушками интерес к искусству: живописи, театру, музыке. Мария с детства жила в этой атмосфере и увлеклась театром. По окончании гимназии вопроса «куда идти дальше?» не существовало. Только на сцену. Она поступает в студию при Александрийском театре, и тут – революция, которая перевернула весь устоявшийся уклад жизни.

В Александринке Мария встретила свою первую любовь – артиста Бориса Дмоховского. Он стал её мужем. Родилась дочь Олечка (Лялька). Студию пришлось бросить.

Борис Дмоховский! Я знал этого артиста по кинофильму «Зигмунд Колосовский», где он сыграл заглавную роль, и по фильму «Тени» - экранизации одноименной пьесы М. Салтыкова-Щедрина.

Первый брак оказался недолгим. Дмоховский увлекся артисткой того же театра, и семейное «счастье» рухнуло. Пережить его было нелегко. А Олечка оказалась между мамой и папой: у отца новая семья, мама в 1924 году вторично вышла замуж. Её мужем стал Василий Семёнович Матросов, служащий ленинградской обувной фабрики «Скороход».

Мария Андреевна всегда с большой теплотой отзывалась о своём втором муже, отмечая его интеллигентность, высокую культуру и незаурядное чувство юмора. Она рассказывала:

- Как-то во время НЭПа мы обедали в ресторане. Пошли в гардероб одеваться, а там – плакат: «Давая на чай, вы оскорбляете достоинство человека». Гардеробщик подал нам пальто, и Василий Семёнович, протягивая ему чаевые, сказал: «Позвольте оскорбить ваше достоинство». - «Спасибо», - ответил гардеробщик.

«Гулька» и «Мадевна»

15 февраля 1925 года у Матросовых родился сын Николай, ставший объектом маминого обожания. Мария Андреевна надышаться не могла на своего Коленьку. Всё в нём умиляло её, каждый пальчик и неосмысленное «гульканье». Переполненная нежностью, мама стала звать сына «Гуленькой». А ребёнок рос, и каждое слово, освоенное им, встречалось с неизменным умилением. Однажды на вопрос «как зовут твою маму?» он ответил: «Мадевна». С того дня это имя пристало к Марии Андреевне, и мы, «приближённые» к ней, часто так и называли её: «Мадевна». Она души не чаяла в Гульке и делала из него не мальчишку, а девочку. Я видел его детскую фотографию – ребёнок с ангелоподобным личиком, с длинными локонами, которые Мадевна сама любила расчёсывать.

1 декабря 1934 года в Смольном был убит С.М. Киров. Казалось бы, какое отношение к покушению на «Мироныча» имела старая ленинградская интеллигенция? Ан нет. Именно на неё обрушился «карающий меч Советской власти» - началась кампания выдворения старой интеллигенции из города на Неве. Я помню этих

несчастных людей, появившихся в Уфе и мыкающихся в поисках своего места в новой жизни. Под пресс сталинского репрессивного аппарата попал и скромный служащий фабрики «Скороход». Он был выслан в Уфу, а вместе с ним Мадевна и Гулька. Куда игла, туда и нить.

Снова жизнь пошла кувырком. На новом месте нужно было как-то обжиться, найти работу, определить Гульку в школу. Устроились. Поселились у доброжелательных уфимцев Синицыных на улице Будённого (ныне – Мингажева), почитай, на окраине города. Мария Андреевна стала работать кукловодом в недавно организованном М.Н. Елгаштиной кукольном театре, где и проявился её разносторонний дар. Она рисовала декорации, делала куклы, шила им одежду и играла в спектаклях. Мария Андреевна стала правой рукой Марии Николаевны. Точнее, эти две Марии стали мозгом, душой и руками молодого кукольного театра, неизменным посетителем которого был Гулька. Его определили в 44-ю школу. Жизнь обрела относительную стабильность. Угнетала лишь необходимость регулярно являться в НКВД для подтверждения своего лояльного существования...

Всенародное горе

Война! Это было как удар грома. Страна поднимается на смертную схватку с врагом. А как быть с «неблагонадёжными»? Ссыльных ленинградцев ссылают еще дальше – в районы Башкирии. «Враг» В.С. Матросов вместе с Гулькой и Мадевной угодил в Николо-Берёзовку, и снова нужно всё начинать с нуля.

С грехом пополам устроились. Получили комнату в общежитии. Нашлась кое-какая работа. Козу купили — «Косушкой» назвали. Огородик завели. Забот – полон рот. С февраля 42-го Гульке 18-й год пошел. Он уже помощник. Хотя и слаб физически, но и в огороде копает, и воду несёт, и дровишек из реки выловит – отопление-то печное. А война идёт. Радио приносит нерадостные вести – ожесточенные бои под Сталинградом. Ленинград в блокаде. Возраст у Гульки призывной. Тяжёлые думы терзают Марию Андреевну: Гулька такой слабенький.

В январе 43-го Николая Матросова призвали – очередной удар свалился на Марию Андреевну. Материнское сердце – вещун. Словно чувствовала она, что не увидит больше своего Гулечку.

Своими переживаниями делилась со старшим братом Владимиром (сын генерала А. Артемьева от первого брака). Ответа нет. Не знала Мария Андреевна тогда, что Владимир Андреевич засекречен, что он – один из создателей грозного советского оружия – легендарной «Катюши», точнее - «топлива» к её снарядам.

Мария Андреевна показала мне фотокарточку брата. На ней запечатлён обритый наголо человек с аскетическим лицом, в полувоенном кителе, украшенном медалью лауреата Сталинской премии.

Не успела Мария Андреевна прийти в себя после отправки сына в армию, как умерла дочь Оля. Бедной Ляльки не стало. Поддавшись сиюминутному настроению, вызванному семейной неурядицей, она решила свести счёты с жизнью и выпила уксусной кислоты. Испытывая физические муки, Оля жалобно молила врачей спасти её, но было поздно.

Пережить этот удар помогали письма от Гульки. Сын успокаивал, и каждое письмо вселяло надежду на встречу. Война идёт к концу – Гулька жив! Миновал 44-й год – Гулька жив! 45-й – жив... жив... жив... Уже ощущалось дыхание Победы... но её единственный, обожаемый Гулька погиб! Безжалостные строки похоронки кричали об этом. Казалось, всё кончилось... Но жизнь продолжалась.

Без Гульки

Родителям Николая Матросова разрешили вернуться в Уфу. Спустя некоторое время ушёл из жизни Василий Семёнович. Мария Андреевна осталась совсем одна. Она получила комнату в квартире так называемого Дома специалистов по улице Ленина, 2. Мне до войны приходилось бывать в этой квартире. Её в 1938 году получил главный инженер горкомхоза В.С. Бондарев, а в начале войны там проживал эвакуированный в Уфу украинский поэт Павло Тычина. Мария Андреевна стала работать руководительницей драмкружка в Доме учёных. Время потихоньку залечивало раны, о Гульке постоянно напоминали фотографии и письма, хранимые как самые дорогие сокровища. Окно из комнаты выходило на парк имени Матросова, Гулькиного однофамильца, и это казалось символичным. В музее боевой славы 44-й школы есть место и

Николаю Матросову, а его фамилия стоит в ряду других, не пришедших с войны, на небольшом обелиске во дворе школы. На этом можно было бы и закончить повествование о судьбе Марии Андреевны, если бы не...

Гулькины письма

Прошло двадцать лет со времени кончины Марии Андреевны. Я написал о ней статью, её опубликовала «Вечерняя Уфа». Неожиданно журналист Ю. Коваль меня спросил:

- Так вы знали Артемьеву?

Получив утвердительный ответ, он меня огорошил:

- А у меня есть письма её сына. Они вас интересуют?

- Конечно! Очень! - воскликнул я.

- Я вам их принесу.

Постепенно, пачечку за пачечкой, Юрий Никифорович принёс мне все письма, до сорока штук. Это были открытки, фронтовые треугольники, отмеченные штемпелями полевых почт и Николо-Берёзовским почтовым отделением. На каждом – пометка: «Просмотрено военной цензурой».

Юрий Никифорович, получив эти письма, предполагал написать статью о втором Матросове, но, ознакомившись с ними, не обнаружил там ничего героического и писать не стал, а вернуть матери не успел – в январе 1976 года Марии Андреевны не стало.

В письмах и впрямь нет ничего героического. По ним интересно лишь проследить географию армейского и фронтового пути Николая Матросова: из Камбарки через Оренбург до Актюбинска, оттуда – в полковую школу в Уфу. Из Уфы – на фронт. Меняются номера полевых почт и названия освобождаемых городов: Харьков, Николаев, Кривой Рог, Одесса, Тирасполь... А вот и Польша (недалеко от Варшавы), Германия (в районе Одера)...

Из всех корреспонденций явственно проглядывает интеллигентский, домашний мальчик, волей обстоятельств втянутый в войну. Он – любящий и нежный сын. Обращение к родителям: «Дорогие мамочка и папочка». В нём живёт ещё вчерашний мальчик. Он даже письма свои подписывает своим детским именем – Гуля. Лишь в письме из Польши написал: «Теперь уже Коля».

Находясь в Актюбинске, он с детским тщеславием пишет, что по окончании полковой школы будет сержантом и «прицепит на погоны три лычки». Сержантом он не стал, и только после окончания полковой школы в Уфе нацепил две лычки младшего сержанта.

Николай не жалуется ни на что. Все к нему относятся очень хорошо. Правда, в Актюбинске климат скверный, и с физической подготовкой у него слабовато, а так – «мамочка, за меня не беспокойся».

Узнав о смерти сестры, он пишет (письмо от 13 апреля 1943 г.): «...вчера получил твою открытку с известием о смерти Ляли... Как это для меня тяжело, но ты, моя родная мамочка, наверное, ещё больше переживаешь... Всё-таки надо постараться взять себя в руки и крепиться...».

В нескольких письмах он удивляется, почему ему не пишет дядя Володя (В.А. Артемьев). Он так же, как и мама, не знает о его роде деятельности. В основном же вопросы, волнующие Гульку, связаны с жизнью родителей: «Как вы там без меня?», «Заготовили ли дрова на зиму?», «Посадили ли картошку?», «Хватит ли картошки на зиму?», «Как у папы с работой?», «Сдал ли отчёт?». Расспрашивает о знакомых, вспоминает эпизоды из жизни в Николо-Берёзовке. Узнав, что родителей выселяют из общежития, он идёт к замполиту и посылает домой необходимую справку.

Ему дорого всё, что напоминает о прошлом. Попав в Уфу, он с радостным чувством проходит по знакомым улицам. Правда, «ходить в город приходится в основном строем» - полковая школа располагается за Старой Уфой около Уфимки, видимо в колонии, где в свое время побывал другой Матросов. Раза три ходил он в город и один. Тогда он посетил и Синицыных, и Марию Николаевну Елгаштину, и некоторых других знакомых. Все его принимали очень тепло, угощали кто чем мог. Иногда солдат из полковой школы посылают на работу в колхоз – рабочих рук в деревнях не хватает. Но вот и конец учебе!

11 декабря 1943 года он посылает первое письмо с передовой из гвардейской части, что вела бои под Харьковом у Днепра. А 24 декабря он уже пишет из госпиталя и сообщает, что за полмесяца пребывания на фронте он два раза был в бою, а в госпиталь попал из-за... «чирья на левом плече, который превратился в фурункул, а

он в карбункул». Это сказка для успокоения мамы. В первом январском письме 44-го года он проговаривается: «Я уже совсем поправился и почти свободно везде хожу, но р а н а (разрядка моя - Б.П.) заросла еще не совсем». В последующих письмах сказка продолжается, на сей раз она в другом варианте: «...я почти уже был выписан... в часть, но тут у меня немного заболела нога (в ботинке был гвоздь и потом немного нарвало). Мне нарыв разрезали и эвакуировали в другой госпиталь» (письмо от 5.02.44 г.). Дальше – новое продолжение сказки: «Мне повезло где-то подцепить малярию... и я около недели провалялся в постели, но теперь совершенно поправился и чувствую себя прекрасно» (письмо от 16.02.44 г.). Следует серия писем февральских, мартовских, апрельских, майских и - «всё ещё из госпиталя». Ни с фурункулом, ни с нарывчиком на ноге, ни с малярией так долго в госпитале держать не будут. Полагаю, парень получил серьёзное ранение и для успокоения матери сочинял эти сказочки. Только 24 мая они закончились. Он прошёл медкомиссию и был признан годным к нестроевой службе, попал в запасной полк и оттуда уже был направлен для прохождения дальнейшей службы в ветеринарный лазарет. С ним Николай прошёл через Польшу, вступил в Германию. Повторная комиссия в сентябре 1944 года подтвердила его годность к нестроевой службе. И только в марте 1945-го он окончательно поправился и был переведён в другую часть. Последнее письмо от него датировано 26 марта 1945 года. Николай Матросов не дожил до Победы всего полтора месяца.

*** * ***

Однажды машинально я запел: «Напрасно старушка ждёт сына домой...»

- Боречка, - тихо сказала Мария Андреевна,- пожалуйста, не пойте при мне эту песню.

Бельские просторы. 2003. № 5. С. 81-85.

Наталия ШАБАНОВА

Наталия Николаевна Шабанова урожденная фон Кубе (1909-2002), прожила долгую жизнь, практически совпадающую

с XX веком. Родилась в благополучной семье врача, немецкого дворянина, стала в ряды строителей коммунизма, долго и успешно работала вместе с супругом – Юрием Евгеньевичем Шенгером в системе Госбанка СССР, преподавала в вузе, воспитывала и учила молодежь. Велики заслуги Наталии Николаевны и Юрия Евгеньевича в разработке научных и практических сторон банковской деятельности в стране и союзных республиках, в организации научно-исследовательской и научно-методической работы при подготовке банковских кадров. Преподаватели высшей квалификации, блестящие лекторы, наставники молодежи, они безукоризненно работали со студентами, аспирантами, молодыми преподавателями, воспитывали личным примером, поступками, манерами, стилем и методикой работы, отношением к делу.

В справочно-информационном фонде Национального банка РБ есть её книга «Воспоминания о себе, о времени, в котором жила». Здесь размещаем отрывок, посвященный периоду эвакуации в Уфу во время Великой Отечественной войны и работе в Башконторе Госбанка СССР.

Изучая биографию и воспоминания Наталии Николаевны и Юрия Евгеньевича, приходишь к мысли, что эти два замечательных человека своим трудом и примером оставили хорошую память в Государственном банке СССР и написали добрую страницу истории Башконторы Госбанка.

Анна Каменева

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕБЕ, О ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ЖИЛА

Глава 4
РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСБАНКА СССР

Моя трудовая жизнь после окончания института началась, когда мне было 22 года. Сначала 15 лет служила в Государственном Банке СССР, затем 40 лет преподавала в финансовых высших учебных заведениях. Семидесяти пяти лет я вышла на пенсию и вернулась из Ташкента в родной Петербург. В Госбанке я работала

в разных конторах на периферии – в Алма-Ате, Самаре, Актюбинске, Уфе и в Ленинграде, а затем в Правлении Госбанка СССР в Москве, и, в эвакуации, в Уфе…

Глава 6
ВОЕННЫЕ ГОДЫ. РАБОТА В БАШКИРСКОЙ КОНТОРЕ ГОСБАНКА СССР (1942-1945)

Путь из Москвы в Уфу был долгим, он длился несколько суток, и очень трудным. Мы с большим количеством вещей ехали в общем вагоне, битком набитом людьми. Люди тесно сидели на нижней скамье и верхней полке, опустив ноги. На третьем ярусе, отведенном для багажа, можно было кое-как вытянуться. Люди лежали и на полу, и на вещах, в проходах между скамьями. В вагонах было темно, холодно и душно. Поезд часто останавливался и подолгу стоял между станциями.

Не доезжая до вокзала города Уфы, поезд остановился на путях, и сказали, что он дальше не пойдёт. Кругом было темно. Люди стали выходить и шли дальше пешком в сторону города на свет вдалеке. Юрий[10] лежал высоко на третьей полке, и мне казалось, что он спит. Я стала его будить. Он с трудом пришёл в себя и сказал, что очень ослаб и встать не может. У нас был «аварийный резерв» - несколько плиток шоколада. Я дала ему половину плитки. Наш вагон уже опустел, надо было выходить. Мы последними вытащили наши вещи, поставили на землю и направились вперёд в сторону далёких огней. Двигались не спеша: Юрий брал два пакета и относил их вперёд, шагов на 20-25, ставил на землю, возвращался ко мне, брал следующую пару мест и так пока не переносил весь багаж. Когда мы добрались до вокзала, то оказалось, что до города ещё далеко, несколько километров вверх в гору. Юрий нашёл какого-то возницу с лошадью и дровнями, который довёз нас с вещами до Госбанка. Было раннее утро, банк ещё не работал, но вахтёр и охранник, посмотрев наши документы, впустили нас в своё помещение. Здесь мы впервые смогли отдохнуть.

Первым пришёл утром на работу начальник отдела кадров. Звали его Николай Николаевич Спиридонов. Узнав, кто мы такие,

[10] Юрий Евгеньевич Шенгер – муж Н.Н.Шабановой.

он сразу принялся нас устраивать. Нам выделили небольшую комнату в доме банка, здесь же, во дворе. Николай Николаевич принёс электроплитку, поставили воду для чая. Н.Н. был уже пожилым человеком, интеллигентным, сердечным, жил с женой с нами по соседству. Позже, когда мы ближе познакомились, мы крепко подружились с этими симпатичными людьми[11]. После нашего представления управляющему Башкирской конторой Госбанка мы занялись своим устройством. Юрий пошел на базар и скоро вернулся с покупками, заявив, «что здесь всё есть и можно жить». Он купил лепёшки, заменявшие здесь хлеб, картофель и другие овощи, мороженое молоко и даже сливочное масло!

Впервые за несколько дней мы смогли поесть горячей пищи! А я в тот же день пошла в баню, но не очень удачно: на обратном пути почувствовала такую слабость, что не могла дальше идти. Присела на каком-то крылечке. Сидела, видимо, долго. Пришла хозяйка, пригласила меня в дом, но я не вошла, а пошла дальше домой. Был мороз. Мои длинные мокрые волосы, заплетённые в две косы, замёрзли и висели из-под шапки как палки.

На следующий день мы приступили к работе в Госбанке. Юрий – начальником сектора кредитования сельского хозяйства, он выбрал именно эту отрасль народного хозяйства потому, что она была ему менее всего знакома; а я – старшим кредитным инспектором сектора кредитования торговли и потребительской кооперации. Это было далеко от олимпийских вершин, на которых мы были в правлении Государственного банка в Москве. В Башкирской конторе работа была чисто практическая. Я обслуживала закреплённую за мной клиентуру в Уфе, выезжала в районы для проверки использования банковских кредитов, участвовала в ревизиях районных отделениях банка, словом, выполняла всю разнообразную работу учреждений Госбанка, которую любила, хорошо знала, и которая меня всегда интересовала. Юрий тоже был доволен своей работой по кредитованию сельского хозяйства, узнавал много для себя интересного и нового.

[11] На память о них у нас осталась трость, сделанная из старой лозы винограда, вся в узлах от бывших побегов, которую Николай Николаевич подарил Юрию, когда у него болела нога.

* * *

О климате в Башкирии местные жители говорили так: «Десять месяцев в году у нас зима, а потом всё лето, лето, лето...». Нам надо было к этому приспособиться. Спиридонов сказал нам, что жизнь здесь требует минимум трёх вещей: тёплой, удобной одежды (валенок, шапок, рукавиц), запасов картошки, которые делаются осенью, и много дров. Мы купили мешок картошки, она здесь служила основной пищей, и оба оделись в валенки, ватные стёганые штаны, куртки (солдатская зимняя форма) и серые шапки-ушанки. Тепло, удобно, практично. Варежки были куплены ещё в Москве. Дрова приходилось покупать вязанками на базаре, но нам сказали, что летом банк организует коллективную заготовку дров и для учреждения банка, и для сотрудников. И ещё мы узнали, что власти города выделили большой участок земли сотрудникам Госбанка для коллективных огородов, и ранней весной эту землю обработают трактором и приготовят для посадки овощей. Надо подождать, а пока покупать продукты на базаре и то, что дают по карточкам, в основном, хлеб по очень скромным нормам – 100 грамм в день на ребёнка и 200 граммов на взрослого[12].

Первые недели, проведенные в Башкирии, были сопряжены с очень серьёзным событием, которое могло закончиться для нас буквально трагедией. У Юрия ещё в Москве было получено освобождение от призыва в армию, но здесь в Уфе ему вручили повестку из военкомата – завтра явиться к 8-ми часам утра с вещами. Эту ночь мы почти не спали, всё обсуждали, как я буду жить с семьёй здесь в Башкирии одна, это казалось совсем страшным. Утром рано он ушёл, а я поехала в банк в отдел кадров, чтобы доложить о случившемся. Начальником в отделе кадров по этим вопросам была женщина, которая хорошо знала Юрия. Она тот час ушла в военкомат и долго не возвращалась. Как я провела этот день на работе, трудно себе представить. К концу дня она вернулась вместе с Юрием и сказала мне: «Можешь больше не беспокоиться, он от призыва освобождён, как учёный – кандидат экономических наук».

Мне очень хотелось повидать наших детей, отвезти им кое-какие гостинцы, посмотреть, как они там живут в деревне Ахлыстино в лагере на берегу реки Белой. Банк предоставил мне

[12] Рабочим давали хлеба больше, но таковых в нашей семье не было.

такую возможность, советуя выехать как можно скорее, пока не развезло дороги в весеннюю распутицу. Но как туда добираться? Железной дороги даже в районный центр туда нет. Единственная возможность – на лошадях и санях, пока ещё кое-как держится зимняя дорога. Одним из моих клиентов в банке был Областной союз потребительской кооперации, который в это время производил досрочный завоз товаров в районы предвесенней распутицы для сельских магазинов в глубинке. Я обратилась в Облпотребсоюз, где мне любезно сообщили, что на днях, как раз в нужном мне направлении, направляется большой обоз, состоящий из десятка или более лошадей с дровнями, нагруженных товарами[13], и я могу отправиться с ними. Я быстро собралась в путь. Что одеть – было ясно: ватные штаны и такую же куртку, а вот что одеть на ноги? В валенках идти уже было нельзя, так как днём при солнышке таяло. Мне посоветовали обуть обыкновенные лапти поверх шерстяных носков и обмоток, в них идти легко и тепло, а если они промокнут, то быстро высохнут. Вот в ТАКОМ виде с большим рюкзаком за плечами я отправилась рано утром на базу Облпотребсоюза.

Дорога до нужного мне районного центра в обозе с товарами и десятком или более возчиков мне предстояла неблизкая, на двое или трое суток. Возчики решили идти в основном ночью, когда сани по морозу идут хорошо, а днём, когда снег уже тает, отдыхать. Я положила рюкзак на дровни, а сама шла за ними пешком. Когда уставала идти, подсаживалась на свободное местечко на дровнях. Так делами все возчики. Ночевали по дороге в избе, все на полу, на соломе, а мне предоставляли место получше, на печи или кровати, если такая была. Сейчас такое путешествие мне представляется очень рискованным, ведь я была единственная женщина среди десятка мужиков, но всё обошлось благополучно. Думаю, потому, что главному в обозе было сказано, что «большой начальник из Госбанка», и он должен обо мне заботиться, но важнее было то, что тогда не было такого разгула мародёрства, жестокости и преступлений, как сейчас. Люди во время войны в тылу все терпели беду и относились добрее друг к другу, бережней, старались помочь. Я это постоянно ощущала не только

[13] Этот досрочный завоз товаров дважды в год перед распутицей кредитуется банком.

во время трудного пути в далёкую деревню Ахлыстино, но вообще на всём протяжении военных лет в Башкирии.

С обозом товаров из Уфы я добралась до районного центра. Дальше надо было идти ещё много вёрст до Ахлыстино. В районном отделении банка, куда я обратилась, чтобы перекусить и отдохнуть, позвонили на почту и узнали, что завтра рано утром туда идёт начальник пристани, и я могу идти с ним. Переночевала я в том же районном отделении банка на письменном столе и утром отправилась в путь. Мой попутчик оказался пожилым человеком, русским, много лет служившим начальником пристани на реке Белой в соседней с Ахлыстино деревне.

Он жил там и сейчас, зимой возвращался из отпуска. Приходил в райцентр за продуктами и захватил с собой почту. Он мне рассказал, что у него было четверо детей, да ещё он взял к себе в дом четырёх сирот. «Надо же помогать людям в это трудное время, когда идёт такая страшная война, люди гибнут, дети остаются сиротами. Меня по возрасту в армию не взяли, вот я и стараюсь помогать Родине, чем могу», - сказал он.

По пути в Ахлыстино у меня было два приключения. Первое: нам предстояло пройти по дороге через долину, залитую талой водой. Мой спутник уверил, что он хорошо знает дорогу, и здесь не может быть глубоко. И мы пошли по воде, он впереди, а я за ним старалась идти след в след. Оказалось, что воды много больше, чем он говорил, и я шла уже по воде, достававшей мне много выше колен. Это зимой! Выйдя на высокое место, мы зашли в избу погреться, пообсохнуть. Мне сказали, что лапти и обмотки не надо снимать, они скоро не высохнут, а так, «в компрессе», я не простужусь.

Пошли дальше. Надо было пройти через довольно большое поле, покрытое глубоким снегом, по узкой протоптанной тропинке твёрдого наста. Мой попутчик прошёл благополучно, а я, по неопытности, шагнула левой ногой немного в сторону и провалилась одной ногой глубоко в рыхлый снег. Тяжёлый рюкзак пригнул мои плечи, и я оказалась в совершенно беспомощном положении: одна нога глубоко внизу под снегом, и я не могу её вытащить, а другая нога наверху на твёрдой утоптанной тропинке, рюкзак давит меня сверху. Выручил опять мой попутчик: вернулся, поднял меня за лямки рюкзака и поставил на ноги. Так я дошла до Ахлыстино - мокрая, голодная, очень уставшая.

Дома в избе была одна бабушка. Она никак не ожидала, что я приду в такое бездорожье. Дети были ещё в пионерском лагере. Бабушка помогла мне раздеться, разуться и уложила в постель. Ноги были натёрты, распухли, но каким-то чудом я не заболела. Пришли дети из лагеря. Слышу, бабушка в сенях говорит Алёше: «Иди в комнату, посмотри, кто к нам пришёл!» Алеша рывком открыл дверь, остановился и разочарованно говорит: «А я думал, папа с фронта приехал!». Такая первая реакция мальчика была понятной: шла война, отцы почти все были на фронте, в глазах детей они были героями, подвергались постоянной опасности, дети их напряжённо ждали. Через минуту Алёша очнулся и бросился радостно меня обнимать.

В Ахлыстино я провела несколько дней, пока не зажили ноги, и двинулась одна в обратный путь, он был мне уже знаком. В районном центре я вновь встретилась с моими возчиками из Облпотребсоюза и вернулась с ними домой в Уфу без особых приключений.

Контора в Уфе предоставила нам квартиру из трёх небольших комнат на четвёртом этаже банковского дома во дворе банка. В одной комнате поместились бабушка и Катя, в другой мы с Юрием и Алёшей, третья комната стала общей столовой. В коридоре стояла чугунная «буржуйка», которая должна была обогревать всю квартиру. На ней можно было и готовить. На кухне была плита. Был и водопровод, но зимой он замерзал. Во дворе у нас был сарайчик для дров и общий для всех жильцов колодец.

Из Москвы прибыли наши вещи, отправленные транспортной артелью, всё было в полном порядке. Из ящиков из под книг, покрытых двумя волосяными матрацами и шерстяным красным паласом, мы соорудили тахту, служившую нам с Юрием ложем. Из других ящиков Юрий сделал шкафы для книг, которые стояли на полках внутри этих ящиков. Также из ящика, стоявшего на боку, был сделан «буфет» для посуды. Кровати, письменный стол и ещё кое-какая мебель были получены со склада банка.

Ближе к осени 1943 г. и началу занятий в школах из пионерлагеря в Ахлыстино родители стали вывозить детей по домам. Вывезли и мы своих. С детьми приехала бабушка и Соня[14].

[14] Соня была совсем одинокая девушка. Она приехала с Украины в Москву в поисках работы и поступила в семью Юрия. Помогала им в трудные годы войны и выехала вместе

Муж бабушки, Всеволод, из Ахлыстино уехал в Ташкент, куда из Москвы было эвакуировано министерство лёгкой промышленности, где он работал до войны. Так он решил, чтобы быстрее вернуться в Москву, когда война закончится[15].

Мы надеялись на скорое окончание войны. Все мысли были сосредоточены на ежедневных сводках по радио, их передавали друг другу, обсуждали, старались предугадать события, если с фронтов передавали «без перемен». На работе по утрам был «политчас», на котором вслух читали важнейшие сообщения из центральных газет – это была моя обязанность. Война продолжалась четыре с половиной года. Каждый из этих двух тысяч двухсот дней надо было обеспечивать пищей семью, состоящую из шести человек. Это была нелёгкая задача. Трое из нас работали - Юрий, Соня и я, трое были иждивенцами. Получаемая нами зарплата давала лишь небольшую часть средств, необходимых для жизни. Вторым источником доходов служила выручка от продажи вещей. Мы продали в Уфе дорогие меховые вещи[16] и хорошую одежду, которая казалась больше ненужной, книги. Когда я выезжала в командировки в районы, то удавалось менять носильные вещи на продукты питания. Важным средством платежа в годы войны служила бутылка водки. За водку можно было достать дрова, картошку, расплатиться за какую-нибудь работу или услугу. Водку давали по карточкам раз в месяц, но далеко не всем. Из нашей семьи её получал только Юрий, имевший особую карточку научного работника.

Продавала водку на рынке обычно я. Однажды произошла у меня при этом большая неприятность. Когда я вытащила из сумки полулитровую бутылку, меня окружило несколько мужчин. Один из них стал кричать на меня, что водка у меня фальшивая, другие ему поддакивали, возник шум, скандал, который закончился тем, что бутылку вырвали у меня из рук и больно пнули кулаком в спину с криком: «Уходи, покуда цела!». Никто не заступился, милиции не

с бабушкой и детьми в Ахлыстино. В Уфе она стала работать на телефонном заводе. Жила с нами, потом перешла в общежитие завода.

[15] К сожалению, Всеволод в Москву не попал. В Ташкенте он заболел и умер там в больнице. Через несколько лет, когда мы сами переехали в Ташкент, наши поиски его могилы не увенчались успехом.

[16] У меня был роскошный широкий палантин из соболиных шкурок, удачная продажа которого обеспечила нам почти год жизни. Продала там и каракулевую шубу, и две меховые шапки.

было. Чтобы не заплакать от обиды, я быстро ушла. Больше продавать водку на рынке Юрий меня одну не отпускал.

Одним из существенных источников питания в Башкирии служил нам урожай картошки и других овощей, которые мы получали с нашего огорода. Я уже сказала, что власти города выделили недалеко от Уфы каждому учреждению участок земли для сотрудников. Так, для Госбанка было выделено на станции Шакша, в 40 минутах езды от города, большое поле, которое весной обрабатывалось тракторами. Затем землю делили на полосы, величина которых определялась количеством членов семьи. Нам на шестерых была выделена такая широкая и длинная полоса земли что, казалось, мы её никогда не осилим. Ведь после тракторной вспашки надо было все комья разрыхлить, землю разровнять, сделать грядки и проходы (тропинки) между ними. Большая часть огорода отводилась для картошки. Проросшие клубни картофеля мы разрезали на части по количеству глазков или порослей, так было экономней. Подготавливали дома и другой посадочный материал для разных овощей.

На огород выезжали рано утром в свой единственный тогда выходной день – воскресенье. Выезжали Юрий, я, Соня и двое детей, которым было уже 10-11 лет, Катя и Алёша. С собой брали лопаты, грабли, прочий сельхозинструмент и провизию на обед (кусочки хлеба, картофель, сделанный дома омлет из яичного порошка, который получали по карточкам, чеснок, лук, сладкие корешки белой свёклы, чай в термосах). Работали до полудня, отдыхали в обед, а потом снова работали до вечера. На обратном пути домой в поезде дети часто засыпали. И так с ранней весны – морковь сажали уже в середине апреля – и до поздней осени. Кроме картофеля, мы выращивали на своём огороде самые разные овощи: морковь, свёклу, горох, бобы, фасоль и даже какие-то злаки. Юрий относился к огороду очень серьёзно: накупил разной специальной литературы и старался следовать советам учёных. Урожаи были хорошие. Только однажды случилась большая беда. Мы посеяли на большом участке далеко от дороги семена великолепной сладкой моркови (сорта «каратель»), старательно её обрабатывали и получили великолепный результат. В конце лета, в рабочий день вечером поехали в Шакшу, чтобы проверить готовность урожая к уборке. Но когда на следующее утро приехали

его убирать, участок огорода оказался разграбленным, моркови не было.

Каждую осень мы с Юрием составляли нечто вроде «продовольственно-финансового плана» на предстоящий год, в котором, с одной стороны, указывались наши потребности, исходя из прожиточного минимума, в основном, на питание и тепло, а с другой - источники их покрытия. Напомню, что это были: а) получаемая нами зарплата, покрывавшая только самую малую часть наших потребностей; б) продукция нашего огорода. Так определялся дефицит денежных средств, и сразу принималось решение, что следует продавать в этом году, чтобы выручить нужную сумму. Урожая с нашего огорода тоже, конечно, не хватало, чтобы прокормить большую семью в течение долгой зимы. Опыт первого года жизни в Башкирии уже показал, что картошки нам нужно минимум 40 пудов. Их надо было закупить непременно в сельских районах, где она была много дешевле, чем в Уфе. Но куда ехать за ней? И здесь нас выручал мой драгоценный Облпотребсоюз, где я могла узнать, в каком районе уродилась картошка и каковы в районах цены на неё. Грузовую машину предоставлял нам банк. И в воскресенье мы, взяв с собой деньги и мешки, отправлялись в район и с помощью Райпотребсоюза находили крестьян, продававших по сходным ценам картошку. Она привозилась домой, сушилась и укладывалась на зимнее время в сарай в глубокую яму.

Однако не всегда эта операция проходила гладко. Так, однажды Юрий отправился за картофелем один. Купил, погрузил мешки в машину и довольный поехал домой. Вечером я услышала позывные гудки его машины во дворе, быстро сбежала по лестнице вниз и увидела его, совсем растерянного, у открытого борта... совсем пустой машины. Что случилось? Юрий не мог объяснить. Очевидно, что погруженные и покрытые брезентом мешки с картошкой были в пути на какой-то остановке сброшены и украдены. Это была для нас большая потеря. Пришлось всю сложную и дорогую операцию по заготовке картофеля на зиму повторять сначала.

Последний год, когда нам нужно было осенью в Башкирии покупать картофель, совпали со временем, когда на селе проводилась подписка населения на очередной массовый

государственный военный заем[17]. Проводить подписку на госзаймы и собирать наличные деньги в сельской местности поручалось районному финансовому отделу. Дело это было хлопотное, надо было ходить по дворам, уговаривать крестьян расстаться с деньгами. Наш приезд в село за картофелем оказался для местных властей очень удачным. В Райпотребсоюзе нам сказали: у кого из крестьян есть много хорошего картофеля, мы двинулись по указанным адресам в сопровождении работника из райфинотдела. Мы покупали картофель при условии, что хозяин картофеля подпишется на заём на вырученную от продажи сумму. Если сделка состоялась, все три стороны были довольны: мы получали картофель, хозяин реализовывал свой товар и выполнял гражданский долг перед отечеством, чиновник тоже выполнял свой план, мобилизовав средства по подписке на государственный заём.

Очень большая неудача с покупкой картофеля, всем нам надолго запомнившаяся, постигла нас в последний год пребывания в Башкирии. Началось всё как обычно, но несколько позже, уже в начале октября. В Облпотребсоюзе мне подсказали, в каком районе мы можем подешевле сделать покупку. Юрий поехал и благополучно привёз полный кузов мешков, в которых было 40 пудов хорошего крупного картофеля. Но когда мы разгрузили машину и стали переносить мешки в сарай, то оказалось, что вся картошка была мёрзлая! Повторить всю операцию снова мы уже не могли. Оставалось только отнести мешки в сарай, где картофель ещё крепче замерзал, и есть его мороженым.

Каждый вечер Юрий шёл в сарай с топором, отрубал глыбу замёрзшей картошки и приносил её наверх. Картошку заливали холодной водой. К утру она отмокала, бабушка её мыла, чистила и варила большую кастрюлю, чтобы кормить семью весь день. Вареная мороженая картошка сладкая, отвратительная на вкус. Дети не хотели её есть. К тому же попадались картофелины с привкусом и запахом керосина. Тот, кому такая попадалась в тарелке, зажимал рот рукой и бежал в туалет, чтобы выплюнуть эту

[17] Напомню, что в то время ежегодно проводилась добровольная подписка трудящихся на государственные займы для покрытия расходов на индустриализацию, а во время войны – это были военные деньги. У рабочих и служащих подписка проводилась на год, обычно в размере месячного или двухмесячного оклада, а деньги удерживались из заработной платы один раз в месяц.

гадость. Эта пища в последний год войны была на грани возможного.

Картошку мы ели с ложкой постного масла, кислого молока или кусочком омлета из яичного порошка. Что-нибудь мясное, крупу или муку по карточкам мы получали редко. Лук и другие овощи покупали на ранке. Все испытывали большую потребность в чём-нибудь сытном и сладком. Мы покупали на рынке клубни белой сахарной свёклы, отваривали её, резали на куски и выдавали каждому к чаю. Хлеб получали по карточкам, дифференцированным на категории – рабочих, служащих, иждивенцев и детей. Нормы были разные – от 400 граммов для рабочих до 100 граммов на иждивенцев и детей. Я делила полученный хлеб на равные доли, и каждый получал утром свой кусочек хлеба на день. Мы не голодали в буквальном смысле этого слова[18], но в результате такого малокалорийного питания наши желудки были расширены, всегда хотелось съесть чего-нибудь побольше, вкусного и питательного[19].

Другим условием выживания в Башкирии было обеспечение тепла в домах, где люди работали и жили в течение долгой зимы. Кругом было много леса, но проблема заключалась в том, чтобы его рубить, возить из леса к местам сплава, затем организовать этот сплав по реке Белой, поднять из воды на высокий берег, на котором был город Уфа и доставлять во двор конторы Госбанка. Летом городские власти выделяли банку делянку в лесу для рубки деревьев, и всю указанную выше работу выполняли мужчины – сотрудники банка, в том числе и Юрий. Я участвовала в этом сложном деле только как член месткома – организатор работ и извозчик при доставке брёвен с пристани во двор Госбанка. При выполнении этой обязанности мне пришлось впервые близко познакомиться с лошадью, с которой я никогда прежде не имела дела. Первый раз мне дали в руки вожжи от запряженной в дровни лошадищи и сказали, что она хорошо знает дорогу к банку.

[18] Другие голодали больше нашего. Так, я однажды видела, как уборщица в банке выбирала из пепельницы Юрия изжёванные им косточки ежевики, которую он брал с собой на работу, чтобы утолить чувство голода до перерыва на обед, она их уносила домой.

[19] Хорошо помню: вскоре после окончания войны я приехала в Москву к Ляле Кабалевской, и она утром дала мне на завтрак нормальную порцию каши на десертной тарелке. Это было для меня очень мало, т. к. я в Башкирии привыкла съедать по утрам суповую тарелку картофеля и осталась голодной, постеснявшись сказать ей об этом.

Я села на брёвна и поехала по главной улице города. Здесь моя лошадь вдруг вышла из оглобель и пошла дальше самостоятельно, уже без меня. На моё счастье, это увидел мужчина, шедший навстречу. Он посмеялся надо мной, вставил лошадь снова в оглобли, и я благополучно довезла брёвна во двор банка. Мы, жившие здесь же, получили несколько длинных брёвен. Их надо было распилить, расколоть и убрать в сарай. Этим занимались Юрий, Алёша, Соня и, отчасти, я. Бывало, что со всей этой сложной работой запаздывали, и тогда дома и на работе было очень холодно, так, что чернила на столах замерзали[20].

***

Расскажу ещё об одной общественной нагрузке, которая выполнялась во время войны глубоко в тылу, в г. Уфе, стоявшем на реке, притоке Волги. С фронта далеко в тыл направлялись баржи с бывшей в употреблении солдатской верхней одеждой – ватными серыми штанами и такими же куртками. Они были грязными, часто в крови. Помню огромные длинные штабеля этой одежды, стоявшие на берегу, и множество барж, полных ею, на воде. Всё это надо было стирать, сушить и вновь отправлять на фронт для повторного использования в армии. В тяжелейшее время войны эта работу женщины тыла брали на дом. Моей обязанностью, как члена месткома, было привозить с пристани сотни комплектов штанов и ватников (они были связаны по десяткам), распределять их между сотрудницами банка для стирки, потом их снова собирать, отвозить на пристань, сдавать коменданту. На стирку выдавали по норме куски мыла, которые я тоже выдавала женщинам вместе со связкой грязных ватников[21]. Наша Соня тоже брала ватники в стирку и помогала мне при погрузке их на грузовую машину. Работа была не из лёгких. Бывало, что ватники были порваны, их надо было чинить, эту работу я брала на себя и поручала другим женщинам, постарше, которые не могли стирать. Так женщины тыла помогали фронту.

[20] В те годы ведь не было современных ручек со вставленными и заправленными стержнями, а писали простыми перьями, которые макали в чернильницы-«непроливайки».

[21] Одна из женщин мне призналась, что стирает ватники в золе, а мыло экономит, т. к. на рынке оно стоило очень дорого.

* * *

В Уфе, как и в других республиканских и областных конторах Госбанка, периодически проводились курсы повышения квалификации работников районных отделений. Эта работа проводилась и во время войны. В Башкирии на этих курсах читали лекции и вели занятия Юрий Евгеньевич и другие опытные работники банка. Юрий предложил и мне вести занятия, он говорил, что пора делиться знаниями и опытом со слушателями, привыкать к работе преподавателя, которой он хотел заняться вместе со мной после войны. Так на курсах повышения квалификации банковских работников я начала осваивать свою будущую профессию. Поначалу, конечно, было трудно и страшновато одной стоять перед аудиторией в 25-30 человек. Некоторые из них были старше меня по возрасту. Но скоро я привыкла, освоилась, и эта работа стала мне нравиться. Слушатели были внимательны и, выражая благодарность за обучение, придали мне уверенности в себе. Так, с пользой для меня, прошли последние три года войны в Башкирии.

О папе, Нонне Фёдоровне, Нике и его семье[22] с самого начала войны ничего не знала. Когда мы с Юрием и Алёшей, Катей и бабушкой (матерью Юрия) были в Башкирии, они оставались в Ленинграде. Мои письма папе, видимо, не доходили, и я очень беспокоилась о судьбе всех моих родных. Отрывочные сообщения, одно тревожнее другого, о бомбёжках и голоде в Ленинграде до нас доходили только по радио и через газеты. И вдруг летом 1943 г. мы узнали, что в Уфу прибыл поезд с вырвавшимися из блокады ленинградцами. Мы с Юрием кинулись на вокзал и среди сошедших с поезда людей нашли своих[23]. Какая это была радость! Папа, Нонна Фёдоровна и Даша стояли перед нами живые! Но вид их был ужасен: бледные серые лица, исхудавшие, измученные долгой и трудной дорогой (многие из пассажиров этого поезда, ослабевшие от голода, умирали в пути). Мы потеснились в нашей маленькой квартире, и первое время они жили у нас. Мы получили на них хлебные карточки и жили одной большой семьёй, стараясь восстановить их силы. Но пережитый во время блокады страшный голод долго давал о себе знать, и папа всё

[22] Родственники Н.Н. Шабановой.

[23] О том, что мы едем в Уфу, я успела сообщить папе еще из Москвы.

тревожился о хлебном пайке и постоянно меня спрашивал: «Ты хлеб за сегодня получила? А на завтра его ещё не дают? А ты не потеряла наши хлебные карточки? Где они лежат?»

Папа и Нонна Фёдоровна искали в Уфе работу по специальности и скоро нашли подходящую: в пригороде Уфы, в лесу был детский дом – приют для сирот и больных детей, местных и привезенных с мест боевых действий и партизанских отрядов. Детскому дому были нужны врач и администратор-заведующий. Папа занял место врача, а заведующей детским домом стала Н.Ф. Там же им предоставили квартиру. Так они устроились, взяв с собой и Дашу. А я, как могла, часто ездила к ним и многое узнала о трагических судьбах сирот. Помню рассказ Н.Ф. о маленькой девочке, поступившей к ним из партизанского отряда. Эта девочка была очень самостоятельна и никак не хотела спать на кроватке дома, а всё убегала в лес и там укладывалась прямо на земле в укромном местечке, так прочно был ею усвоен партизанский образ жизни в лесу.

От папы и Н.Ф. мы узнали, как они жили в начале войны в Ленинграде и что было с Никой. Когда начались бомбёжки, жить дома и ездить через весь город на Васильевский остров к Университету на работу в Институт им. Отто стало невозможно. Около их дома на Херсонской улице упала бомба и повредила наружную стену квартиры. Институт, где работали папа и Н.Ф., с началом войны был превращен в госпиталь, и папа и Н.Ф. с Дашей перебрались туда жить и работать. Так делали все врачи, оставшиеся в Ленинграде, независимо от специальности. Дашу обучили работе санитарки.

Ника с Марией Васильевной и Серёжей тоже оставались Ленинграде. Ника сначала ездил на работу в свой Радиокомитет[24]. Он привозил М.В. и Серёже гущу из своей миски супа, которую получал на работе (жидкость он выпивал), но скоро совсем ослабел от голода и не мог встать с постели. Тогда М.В. с Серёжей усадили его на детские саночки, привязали и отвезли к папе в госпиталь. «Он умирает, - сказала М.В., - спасите его!»[25]. Папа уложил Нику на госпитальную койку и в течение

[24] С Петропавловской улицы на Петроградской стороне на Итальянскую улицу в центре города.

[25] Это было в декабре 1941 г.

месяца лечил и кормил. Так папа спас Нике жизнь. А когда Ника смог снова ходить, то выписался из госпиталя, перевёз Марию Васильевну и Серёжу к себе на работу в Радиокомитет на Итальянскую улицу и там они все трое жили. В июне 1942 г. Мария Васильевна решила уехать с Серёжей из Ленинграда. Ника проводил её по «Дороге Жизни» до места, откуда отправлялись люди на баржах через Ладожское озеро и далее по Волге пароходом. Ехала М.В. в Краснодар к своей сестре, Жене. Последнюю открытку от неё папа получил из Самары. М.В. сообщала, что благополучно движется с Серёжей дальше на юг. Больше никаких известий о жене и сыне Ника не получал.

Позже я узнала, что Ника, отправив жену с Серёжей из Ленинграда, ушёл на фронт и дошёл с нашей армией до Кенигсберга. Летом 1945 г. он был отправлен на Восток, принимал участие в разгроме Квантунской армии. В начале 1946 г. демобилизовался, вернулся в Ленинград. Пытался найти следы Марии Васильевны, но безуспешно.

* * *

В Уфе мы дожили до конца войны. Хорошо помню этот славный День Победы, 9 мая 1945 года. Было воскресенье, светило солнце. Мы с Юрием вышли рано из дома, дети ещё спали. На улице были включены все радиорупоры. Раздавалась торжественная, громкая и весёлая музыка. Правительство сообщало о капитуляции германской армии. Наступил долгожданный конец жестокой войне! Какая это была радость! Люди на улице обнимались и целовали друг друга, поздравляя с Победой. Казалось, что с концом войны воцарится добро, все люди станут лучше, добрее, что жизнь будет радостной и счастливой после всех страданий и горя. Мы поспешили домой, купив сладкие булочки и мороженое для детей. По радио рассказывали, как проходит этот день в Москве, как радуются люди на улицах. Один полковник купил целую тележку мороженого и угощал им всех окружавших его ребят!

Папа с Нонной Фёдоровной уехали из Башкирии первыми. Их беспокоило состояние ленинградской квартиры, которую они бросили при спешной эвакуации. Стали оформлять документы на реэвакуацию, и им разрешили вернуться в родной город. Летом

1945 г. они уехали. А Паше пришлось остаться, так как возвращение в Ленинград разрешали только «нужным» городу людям – врачам, строителям, инженерам – для восстановления города после разрухи. Даша переехала к нам, и только через несколько месяцев мы проводили её в Ленинград.

Мы стали строить планы на дальнейшую жизнь. Юрий во что бы то ни стало хотел уйти из банка в институт на педагогическую и научную работу. К этому он призывал и меня. Я в Уфе уже вела занятия по повышению квалификации с приезжавшими из отделений банка кредитными инспекторами. Эта работа мне нравилась. Кроме того, у меня лежала незаконченная диссертация, которую надо было доработать и защитить, чтобы стать квалифицированным преподавателем, кандидатом экономических наук. Это сулило обеспеченное положение в институте и более высокий оклад.

Далее надо было решать, куда ехать. Возвращаться в Москву нам было некуда. Юрина квартира была занята дворником и сильно испорчена пожаром, который он там устроил. Кроме того, эта квартира принадлежала после развода его бывшей жене Фане. Моя комната мне тоже больше не принадлежала[26]. Нам хотелось жить в Ленинграде. Там жил мой отец, там была моя Родина. И Юрий долго жил и работал в Ленинграде. Мы знали, что Ленинградский учетно-экономический институт Госбанка был эвакуирован в начале войны в Казахстан и подумали, что если нам поехать сейчас в Алма-Ату, то есть шанс вернуться в Ленинград вместе с этим институтом. Мы обратились в правление Госбанка с просьбой отозвать нас из Башкирской конторы и направить в Алма-Ату на работу в Ленинградский учетно-экономический институт (который принадлежал тогда Госбанку). Нашу просьбу удовлетворили. Так мы, нацеливаясь на Ленинград, осенью 1945 г. поехали в Казахстан, в хорошо нам знакомую Алма-Ату. Юрий с бабушкой и Катей поехали первыми, а я с Алёшей осталась ещё в Уфе, чтобы убрать остатки урожая с огорода, ликвидировать ненужные вещи и сделать прочие домашние дела. Наша Соня уже давно работала на телефонном заводе, заслужила славу отличницы, получила место в общежитии при заводе. Ехать с нами в Алма-Ату она отказалась.

[26] Мои друзья, Майя и Давид Белявские, занимавшие ее во время войны, вернулись в Ленинград. По моей просьбе Лариса Павловна Кабалевская и большой друг Юрия Г.И. Поляк лучшие вещи из моей мебели взяли к себе, а остальное продали.

Соня помогла мне уложить и отправить вещи, и я с Алёшей поехала вслед за Юрием…

Шабанова Н.Н. Воспоминания о себе,
о времени, в котором жила.
Санкт-Петербург: Алетейя, 2010.
(Серия «Историческая книга»).

Нелли МОРОЗОВА

Нелли Александровна Морозова (1924-2015) – российский киносценарист, редактор, мемуарист. Родилась в г. Челябинске. Её дед – Г.Г. Морозов (1880-1934), революционер-подпольщик, участник трёх революций, член РКП(б) с 1903 г. – был одним из организаторов расстрела царской семьи. Её отец – А.П. Моррисон – был журналистом, редактором газеты «Таганрогская правда». Мать – В.Г. Морозова (1903-1991) – первая женщина-скульптор в Башкирии. Муж – В.Е. Бахнов (1924-1994) – известный в стране поэт, журналист, драматург, сценарист. После расстрела отца Нелли вместе с матерью были высланы в Башкирию. В 1942 году окончила уфимскую школу № 1 и поступила на английское отделение БГПИ им. К.А. Тимирязева, а затем по конкурсу перевелась на сценарный факультет ВГИКа, который окончила в 1947 году. Автор киносценариев «Море зовёт» (1956) (совместно с В. Морозовым), «Разорванный круг» (1987) (совместно с В. Бахновым). В 1990 и 2011 годах опубликовала в Москве семейную хронику «Моё пристрастие к Диккенсу», вызвавшую большой резонанс. Как отметил известный российский кинорежиссёр, сценарист и переводчик О. Дорман, «Присутствие Нелли Александровны Морозовой возвращает смысл и достоинство словам «русский» и «интеллигент». Её далёкая от публичности жизнь честного человека <…> многое изменила в нашей общей жизни. Её книга, каждая страница которой дорого оплачена, убедительно свидетельствует, что Диккенс сильнее Сталина». Умерла и похоронена в Москве.

В УФИМСКОЙ ССЫЛКЕ

Ловкач

Война вторглась в нашу жизнь не столь трагично, как другая катастрофа эпохи. И не столь сокрушительно, как в иные семьи.

Валентин — белобилетник по болезни сердца — вместе с другими студентами своего института рыл под Москвой окопы. Однако в середине октября, в дни московской паники, ВГИК срочно эвакуировали в Алма-Ату.

Леонид был на каникулах в Уфе, и его призвали в армию по месту проживания.

Накануне отъезда под Уфу, где располагалась его часть, он мыл ноги в эмалированном тазу и вдруг сказал:

— Если меня ранят, то пускай сюда, — и показал на подъем стопы.

— Ты сошел с ума!

— Замолчи сейчас же!

— Еще накликаешь! — закричали мы втроем.

— … но ранят так, чтобы потом я все-таки смог танцевать на сцене.

— Замолчи!

Он уехал. А бабушка вместе с другими женщинами округи спешила на станцию Уфа-сортировочная каждый раз, как проносился слух, что эшелон с новобранцами должен проехать на фронт.

Два раза она возвращалась с известием, что еще не отправили.

На третий вернулась взволнованная, с непонятным выражением лица.

— Что?! — спросила мама.

— Проводила. Только странно… наш Лёлька почему-то одет как комендир. Другие худо-бедно, а он — в новом полушубке, шапке-ушанке, в валенках… С чего бы это… странно.

— Словчил как-нибудь, — сказала мать.

Это слово пользовалось у нас в семье уважением. Чтобы выжить в условиях того времени, надо было зачастую проявлять незаурядную смекалку и хитрость. Чья-нибудь удача на поприще

объегоривания советской власти в ее бюрократических и бытовых препонах, направленных против нормального человеческого существования, вызывала восхищение: «Ну, словчил! Ловкость рук — и никакого мошенства!» — восклицали братья. Имея в виду, конечно, не руки, а мозги. Тут требовалось соблюдение только одного правила: чтобы твоя ловкость не навредила другому. А уж если при этом имело место озорство в исполнении! Это ценилось особенно высоко.

Но выше всего ценилась демагогия — как оружие борьбы с противником его же средствами.

Тут невольно вспомнишь случаи столкновения моих родственников с *ними*. И мамино предсказание расстрела начальнику ростовского НКВД в случае, если он ее «упечет». И ночной спектакль Валентина в кабинете начальника уфимского НКВД, не говоря уже о его схватке с Лубянкой, и спектакль, устроенный братьями во время обыска у нас в Уфе.

Это были вынужденные импровизации либо тщательно продуманный план. Как «боданье» с Лубянкой, сценарий которого Валя разрабатывал в поезде, везущем его по добровольному выбору в страшнейшее учреждение. Поезда ходили медленно, и время у него было.

Слово «спектакль» наиболее точно выражает это противостояние. Форма была выбрана согласно природной артистичности действующих лиц. По зрелом размышлении я думаю, что она помогала преодолеть страх.

Разыгравшаяся у меня на глазах сцена обыска — подтверждение этому. Братья весело подбадривали друг друга и насмешкой умаляли, делали менее страшными непрошенных гостей.

И это имело маленькое маленькое продолжение. Братья были королями танцплощадок. В городском парке танцплощадку окружали ресторанные столики. Танцуя, Леонид увидел за одним из них НКВДешника, проводившего у нас обыск. Лёка нарочно повел партнершу так, чтоб тот их увидел, и озорно помахал рукой: дескать, вот — не у вас, на свободе, живу, танцую!

НКВДешник неожиданно помахал в ответ.

Преодолением страха были стиль их повседневной жизни. Они стремились уйти от подавленности обстоятельствами,

наполнить биение пульса современности всяческими новинками: книгами, журналами — при всей нашей денежной скудости выписывались «Иностранка», «Новый мир» — радиоприемником вместо обычной «Тарелки», премьерами в Драматическом и Оперном. Все это называлось «не терять красивого взгляда на жизнь!»

Заурядное происшествие часто получало у них неожиданную окраску.

Утром они уходили на работу вместе. Валя в редакцию, Лёка в страховое бюро. Однажды Леонид замешкался, и Валя ушел вперед.

Минуя наш криминальный овраг, он услыхал крик и увидел, что рослый мужик избивает женщину. Подойдя и не останавливаясь, он дал мужику «под дых» и проследовал дальше. Мужик упал. Женщина убежала. Изрыгая ругательства, мужик хотел броситься Вале вдогонку.

Но тут подоспел Леонид, который видел всю сцену издалека и, тоже не останавливаясь, дал мужику «под дых». Тот упал. Лёка спокойно проследовал дальше.

Когда братья оглянулись, мужик стоял на коленях в снегу и, ошалело крутя головой, смотрел им вслед со страхом: не кара ли небесная настигла его?

Зайдя за угол, братья сами от хохота повалились в снег. Это был *спектакль для себя.*

Зачем я все это рассказываю? А чтобы понятнее стало происшедшее дальше.

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего
(Рассказ дяди Леонида — мне, взрослой)

Вечером, накануне отправки нам зачитали новый приказ Сталина о том, что красноармейцы должны прибывать на фронт уже одетыми в положенную зимнюю форму.

Конечно, лицемерный приказ. Откуда у них обмундирование на такие полчища новобранцев?

Гнали одетыми как попало — на фронте выдадут обмундирование. Не готовы были к войне во всем.

Видела бы ты этих вояк — нищая ведь страна.

И меня одолела злость. Такая, знаешь, веселая злость!

Утром нас выстроили перед отправкой.

— Смирно! Пере-счи-тайсь!

А я — абсолютно голый в строю. В чем мать родила. Мороз тридцать градусов. Что тут поднялось: «Сошел с ума!!!» — «Морозов!» — «Сошел с ума Морозов!!!»

Я делаю шаг вперед, козыряю:

— Никак нет! Не сошел. Я не могу нарушить приказ номер такой-то Верховного Главнокомандующего товарища Иосифа Виссарионовича Сталина и прибыть на фронт одетым не по форме!

Меня выдернули из строя, потащили в каптерку и… выдали зимнее обмундирование. Торопили: «Скорей! Опоздаем к эшелону!»

Впихнули в строй.

— Могли ведь и расстрелять.

— Да ты что?! За верность приказу товарища Сталина? А вот за нарушение приказа… дело другое. Тут свою шкуру сберечь надо, а не чужую дырявить.

— Они умели совмещать.

— Не в этом случае.

Везли нас на Северо-Западный фронт. Москву проезжали после ноябрьских праздников. Когда наступление немцев было уже остановлено.

Меня потрясло, просто ошеломило зрелище разбитой немецкой техники. И какой техники! На одной остановке я даже влез в искореженный танк. Ну и машинка! Невидаль.

И груды неубранных трупов вокруг. В основном наших. Не успевали убирать.

Так ясно было, какую махину остановили. И какой ценой. Сказать «героический народ» — мало сказать, тут никаких слов не хватит. И сколько из этого народа ненавидело власть… А за Москву полегли. Не отдали.

Прибыли мы на место. С маленькой станции — не помню ее названия — пёхом дошли до каких-то строений, окружающих просторный двор.

Посередине двора — гора из винтовок, собранных с поля боя.

Нас выстроили. Команда:

— Оружие раз-бери!

Все ринулись, толкаясь.

Я ухватил винтовку. Попробовал — стреляет. Ну и ладно. Потом разглядел. Винтовка допотопного образца, даже на берданку смахивает.

Украли ее у меня вскоре. Заходил с ребятами в помещение погреться, мороз стоял лютый. Оружие составили у входа. А вышел — моей винтовки нет. Свистнули.

А без оружия ходить опасно: примут за дезертира. Пришлось тоже украсть. Надеюсь, владелец винтовки последовал моему примеру.

На фронте мне как бывшему осовиахимовцу-планеристу, парашютисту и ворошиловскому стрелку присвоили звание старшины и назначили командиром взвода разведчиков. В подчинении у меня было три человека. Хорошие попались ребята: смекалки не занимать. Главное, все трое рисковые, надежные, полагались друг на друга.

Наша задача — ночью перед наступлением пробраться в расположение противника и добыть или уточнить данные, нужные командованию. Лучше всего взять «языка». Несколько раз нам это удавалось. Зазевавшегося немца или одинокого караульного. Подберемся, затаимся, ждем, когда начнет клевать носом или просто расслабится, и набрасываемся — кляп в рот, вяжем, тащим на нашу сторону. Тут, конечно, нужна предельная осторожность, чтобы не обнаружить себя и не завалить операцию.

Начальство было нами довольно. Мне присвоили звание сержанта, потом старшего сержанта.

Интересно, что я не убил ни одного немца. «Языка» надо брать без выстрела, бесшумно. Это условие работы. Ну, когда идешь в атаку, не знаешь, чья пуля кого убила. А вот так, чтобы отдельно… Не пришлось.

Занимали мы как-то одно село. Наш взвод разведал, что немцы не ждут нас с этой стороны. Понятия не имеют, что мы подошли. На рассвете мы ворвались в село. Немцы повыскакивали из домов полуодетые, но с оружием. Завязался уличный бой.

Я бегу с винтовкой в руках — к этому времени у нас были уже автоматические — из-за угла дома на меня немец выскакивает тоже с винтовкой. Я успел вскинуть свою первый: «Хенде хох!». Он выронил винтовку, руки поднял.

Смотрим друг на друга в упор. Вижу, что совсем молоденький, щуплый такой, лицо белое, губы прыгают. Мальчишка. Вдруг он поворачивается ко мне спиной и бежит, впрямь как мальчишка, в ближайший лесок, петляет по снегу. Не стал я стрелять.

Ранили меня отнюдь не в героических обстоятельствах. Мы сидели в окопах. Окопы маленькие — на четыре человека, между ними траншея, полузанесенная снегом. Подъехала кухня. В наш окоп передали хлеб, а бидоны со щами и кашей в следующие окопы. Из ближайшего мне кричат:

— Морозов! Тащи хлеб, угостим кашей!

Я повесил себе на шею два кирпича, хлеб был замерзший как камень. И пополз по траншее. На пути вдруг удар в ногу такой силы, что боли я даже не почувствовал, решил: оторвало ногу. Оглядываюсь, а у меня подошва валенка — тоже промерзшая — разворочена. Раскрылась, как цветок, и оттуда — горячий пар дымится и кровь хлещет.

— Ползи! — кричат мне.

Я пополз, нога пудовая, тащить ее нет сил… Лежу и думаю: ползти?.. Или умирать тут… Или все же ползти? Пополз. «След кровавый тянется»… Но не по траве, а по снегу.

Проползаю мимо каких-то кусточков, а там, оказывается, затаились санитары и тоже мне машут: «Ползи к нам!»

Сами не высовываются, место открытое — простреливается.

Не знаю, как выкарабкался из траншеи, пополз. Почему-то не стреляли.

Санитары меня подхватили и понесли в сторону, к какому-то строению. Там стояла лошадь, запряженная в сани. В них уже лежал раненый, укутанный в одеяло. Меня тоже укутали и положили рядом. Повезли в прифронтовой госпиталь.

Там стащили валенок. Оказалось, ранило меня аккурат в то место, куда я показывал, когда мыл ноги дома в тазу, помнишь? Только пуля оказалась разрывная и раздробила кости в мелкие осколки. Думал, отнимут ногу. Нет. Молодцы хирурги. Только обработали рану, оперировать не стали — сложная операция для фронтовых условий. Отправили в стационарный госпиталь. Везли нас, раненых, на грузовике, санитарных машин не хватало.

Вот тут уже боль была адская, особенно на ухабах.

В стационаре оперировали не один раз. Вынули все осколки, рана стала затягиваться, вроде иду на поправку. Раз! Снова движется осколок, который затаился где-то выше. Намучились со мной.

Казалось, проще бы оттяпать стопу, поставить на костыли и дело с концом. Готовый инвалид. Ан, нет.

Боролись за мою ногу. Низкий им поклон.

За это время я подружился с медперсоналом. Особенно с хирургом. Чудесная была женщина.

Только входит в палату — сразу настроение меняется. Какую-то умную энергию она несла. И мягкость, и сострадание, а в критические моменты — вдруг твердость и даже непререкаемость. Раненые ей доверяли как никому. И красивая… Роза Марковна.

Когда пришло время ехать в тыловой госпиталь в Томск, она дала мне пузырек с таблетками:

— При невыносимой боли — глотай. Только, смотри, если уж совсем невтерпеж! Будешь отключаться.

Как я понимаю, это был какой-то наркотик.

Санитарные вагоны оказались на диво комфортабельными. Просторные. Подвесные крюгеровские полки, вроде гамака, чтобы раненые не чувствовали толчков. Внимательный персонал.

Поначалу даже все оробели. Тихо было.

А потом освоились. Легкораненые даже затевали игру в карты.

Позвали как-то меня присоединиться. Сначала отказался. Я ведь — игрок. Бильярдный ас. В Уфе мало кто отваживался играть со мной. А тут — карты, «двадцать одно». Потом соблазнился от скуки.

Играли на деньги. Это надо было видеть! Купюры замусоленные, грязные, на некоторых пятна крови.

А я все выигрываю и выигрываю. Пока ногу не прихватило. Ребята зашумели: давай еще, отыграемся!

— Отыграетесь потом, — говорю. — А я вырубаюсь.

Проглотил таблетку и вырубился. Все уже раньше видели, как это со мной бывало.

Очнулся: в вагоне светопреставление! Крики, стоны, раненые барахтаются на полу; сестры, врачи их поднимают, укладывают на полки. Вагонные стекла выбиты. Оказывается, наш состав попал

под бомбежку. Чудом проскочили — поспела наша авиация. А я все проспал.

Постепенно вагон успокоился. Раненых уложили на свои места, осколки подмели. Медперсонал удалился. Одна медсестра сидела, покачиваясь, у своего столика. Стучали колеса.

Кто теперь, после всего пережитого вспомнит про картежную игру? А выиграл я честно.

Тихо подозвал медсестру:

— Сестричка, вот деньги. На первой станции, где поезд будет стоять, отправь их, пожалуйста, моей матери. Вот адрес.

Мы получили их, когда оказались совсем на мели. Не было денег, и нечего было продавать или менять. Тогда в городе вовсю шел обмен вещей на продукты. Некоторым эвакуированным удалось все-таки кое-что прихватить с собой. Но мы-то были не эвакуированные, а ссыльные. Война застала нас неимущими.

В первом письме с фронта Леонид велел продать его новое демисезонное пальто, которое с превеликим трудом ему справили перед отъездом в консерваторию. Мама и бабушка долго крепились, но, в конце концов, пальто «съели».

Пришлось продать коз Катьку и Машку («Юстаса» и «Флавия»), не было денег на корм. Рухнуло бабушкино нерушимое упование — на молоко.

Однако при виде денежного перевода бабушка, прежде всего, обеспокоилась:

— Откуда у него деньги? Он ведь в госпитале, раненый…

— Словчил как-нибудь, — сказала мама.

После ранения Леонид был освобожден от воинской службы. Даже спустя годы осколки нет-нет и выходили у него из раненой ноги.

Но удивительное дело. На сцене он переставал хромать. Напротив, прославился легкостью и пластичностью движений.

Звонки свыше

(Рассказ мамы — мне, много позднее)

Героика всегда была близка натуре матери. Неудивительно, что во время войны она стала лепить скульптурный портрет Александра Матросова.

Прозрачная от голода мама работала над скульптурой, которая выражала иступленную решимость в миг совершения подвига.

Эта ее работа отличалась большой экспрессией. Позднее она была принята на Всесоюзную выставку.

Но всему этому предшествовала авантюра вступления в Союз художников жены «врага народа».

— В Таганроге меня исключили из Товарищества художников, когда арестовали твоего отца. Об этом, разумеется, нельзя было и заикаться.

Однако пришла пора как-то вынырнуть на поверхность. Прежде всего из-за продуктовых карточек… Артель вышивальщиц, где я их получала, исчерпала себя. Слишком много времени отнимала, и сил не было выполнять нормы, занимаясь еще и скульптурой. Срок ссылки кончился, паспорт оказался чист — без волчьего штампа, бюст Матросова был готов — можно показывать. Сохранились вырезки из газет с фотографиями моих прежних работ.

Все сошлось, чтобы попробовать заново вступить в Союз.

В Уфе тогда был только один скульптор — Тавасиеев. Не башкир, осетин. Как-то его занесло в эти края. Я пошла к нему в Союз художников. Показала снимки работ, попросила, чтобы комиссия из Союза пришла посмотреть Матросова.

Он был надменен и сух. Сказал, что смотреть работу не пойдет, а, судя по фотографиям, может предложить мне быть у него формовщиком, отливать форму с его работ. Что-то он, видимо, почуял. Я повернулась и пошла. Уже в коридоре меня догнал старик-художник Уваров. Он присутствовал при нашем разговоре.

— Я ни о чем не спрашиваю, голубушка, я хочу дать вам совет: постарайтесь, чтобы на вашем заявлении о приеме была положительная резолюция секретаря обкома по пропаганде. Тогда мы вас примем.

Что ж, я отправилась к третьему секретарю. Он оказался русским. Внимательно разглядывал фотографии, потом поднял глаза:

— А почему вы до сих пор не член Союза художников?

Вот оно… Теперь все зависело от того, как мне удастся сыграть роль. Я была в бабушкином платке, в сшитых бабушкой

чунях. По наитию решила играть робкую, не от мира сего художницу, даже слегка чокнутую.

Опустив голову, стала медленно водить пальцем по столу:

— Н-ну… я не думала, что можно… мне… и в Союз.

Тут зазвонил телефон. Он разговаривал с кем-то раздраженно. Положив трубку, повторил вопрос:

— Так почему вы не в Союзе?

Я водила пальцем по столу…

— Н-не знаю. Не могла как-то представить… что это для меня… что… примут… меня. А вы думаете… примут?

— Разговор не обо мне, а о вас! О вас! Как вы, будучи профессиональным художником, скульптором вот, да еще о котором пресса пишет, вы не догадались вступить в союз?

Я убито молчала, выводя на столе узоры. Потом еле слышно:

— Не решалась. Тут мало внешнего побуждения, понимаете? Нужен внутренний толчок… Может, я не так живу…

Опять раздался телефонный звонок.

— Не так! — рявкнул он. — Не так живете!

В трубку:

— Это я не вам! Хотя мог бы и вам!

Он долго разговаривал на повышенных тонах, я смиренно ждала. Наконец он кончил и перегнулся ко мне через стол:

— Так почему вы все-таки не в Союзе?

Снова здорово! Что мне отвечать? Нельзя жевать одну и ту же жвачку. Образ потеряет убедительность. Что отвечать? Господи!

В третий раз позвонил телефон.

Он сорвал трубку. Но тут ему пришлось снизить тон и почтительно выслушивать. Трубку он тоже положил почтительно. На меня смотрел, сначала не видя, потом побагровел:

— Так почему вы не в союзе до сих пор?! — он выхватил у меня заявление. — Дайте сюда!

И размашисто написал: «Рекомендую принять». Я встала, поблагодарила, пошла.

— Нельзя быть такой гнилой интеллигенцией! — крикнул он мне вслед.

В коридоре у меня вдруг потемнело в глазах. Я прислонилась к стене. «Это звонил Бог», — подумала я.

На выставку в Москву мама привезла бюст Матросова в сорок девятом году.

Мы с мужем снимали комнату в одноэтажном флигеле, затерянном в Старо-Конюшенном переулке. Комната была такая крохотная, что в ней помещались только кровать, небольшой стол, застекленный книжный шкафчик и низенькое плюшевое кресло.

Расстояние между кроватью и столом позволяло протискиваться боком. В стульях не было необходимости: сидя на кровати с тарелкой в руках, можно было брать со стола еду.

Мы были очень счастливы в нашем пристанище.

И как раз в это время к Владику, еще не окончившему институт, стали приходить известность и признание в нем многообещающего молодого юмориста.

Когда-то, во время оно, мои озорные дядюшки сказали мне: «Если ты выйдешь замуж за человека без чувства юмора, мы просто спустим его с лестницы!». Кажется, я перевыполнила их требования.

Владик много работал. Наш обеденный стол добросовестно играл роль письменного.

В эту комнату к нам приехала мама. Валентин специально отправился в Уфу помочь упаковать и погрузить в вагон скульптуру, а потом остался там присматривать за бабушкой и нашим маленьким сыном (Леонид, оправясь от ранения, заканчивал Консерваторию).

Мама, свернувшись калачиком, спала на столе. Трудяге-столу пришлось играть еще и роль кровати! Его длины не хватало, чтобы вытянуться во весь рост.

Правда, вскоре хозяйка квартиры Инна Филимонова предложила занять кровать ее уехавшего брата.

Надо сказать, что у мамы и Владика с самого начала обнаружилась общность духа. Они прекрасно понимали друг друга. Много смеялись.

Отборочная комиссия приняла скульптуру Матросова, и она стояла в Выставочном зале Третьяковки. Дел у мамы в Москве не оставалось, но она не обнаруживала никакого желания возвращаться в Уфу.

Владик прозвал ее:

Настольная теща
(Продолжение рассказа мамы)

— В тот день, когда мы с Валей обшивали фанерой бюст Матросова, чтобы отвезти на станцию и погрузить в товарный вагон, а у меня в кармане был билет на тот же поезд, пожаловал курьер из НКВД с требованием немедленно явиться.

Валентин с возчиком остались упаковывать дальше, а я пошла.

Меня принял следователь, довольно молодой, «с приятным, открытым лицом». Очень любезно стал расспрашивать о семейных делах. Между прочим, обронил:

— Кажется, ваша дочка живет и работает в Москве?

Я сразу раскусила этот ход.

«Ага, хочет запугать. Мол, если не будешь покладистой, подберемся к дочке».

— Да, — говорю, — живет и работает.

— Как дела у Валентина?

Ну, просто друг дома!

— В порядке. Приехал помочь с отправкой моей работы на выставку в Москву.

— Наслышаны, наслышаны. Очень хотелось бы посмотреть. А как Моисей Григорьевич оценивает вашего Матросова?

Вот оно что… Молчу.

— Понимаю. Скромность украшает. На его мнение можно положиться. Моисей Григорьевич знаток во многих областях. Кстати, не помните ли вы один разговор — о Нюрнбергском процессе? Это происходило на квартире у Искандера.

(Необходимо пояснение: Моисей Григорьевич П. — эвакуированный из Ленинграда профессор-филолог. В Уфимском университете он заведовал кафедрой западной литературы. Человек энциклопедической образованности и своеобычной мысли, он стал объектом почитания городской интеллигенции.

Искандер Гизатуллин — студент филфака. Этот казанский татарин был одержим русским «серебряным веком». Горячо одобряемый своей красавицей женой, он тратил все до копейки на приобретение подшивок «Золотого руна», «Аполлона», «Мира искусств» и других изысканных изданий.)

Я хорошо помнила этот вечер у Искандера, но покачала головой.

— Постарайтесь вспомнить. Речь зашла о смертной казни. Моисей Григорьевич сказал, что он принципиальный ее противник и поэтому не может одобрить вынесение смертного приговора даже военным преступникам на Нюрнбергском процессе.

— Этого я не помню.

— Ну, как же! Как же! Вы еще ответили, что вы тоже противница смертной казни, но в отношении военных преступников считаете эту меру оправданной.

— Не помню.

— А два уважаемых профессора, которые присутствовали при этом, помнят!

— Это дело их совести.

— Вот как вы ставите вопрос. Вам что же, совесть не велит отвечать правду?

Пришлось отступить.

— Просто не помню.

— Плохая память?

— Не жалуюсь.

— Тогда вам придется напрячь ее.

— А вот на это у меня нет времени. Самое позднее через два часа моя работа должна быть погружена в вагон.

— Дайте показание, что вы помните этот разговор, и вы свободны.

— Я не могу дать ложное показание.

— Оставьте, Вера Георгиевна! Все вы прекрасно помните.

— А я вам говорю, что нет. И что времени у меня в обрез. И что по вашей милости Башкирия не будет представлена на Всесоюзной художественной выставке.

Он вспыхнул, но сдержался.

— Хорошо. Отправляйтесь, грузите вашу работу в вагон и возвращайтесь сюда. У вас будет еще два часа до отхода поезда. Продолжим. Только никому ни слова. Даже Валентину.

Я поспешила домой. Валя сразу кинулся предупредить М.Г. и Искандера. Как мы вдвоем с возчиком втащили скульптуру на сани, до сих пор не понимаю. У станции нас уже поджидал Валентин. Он застал дома обоих. Но разговаривать об этом было некогда.

Грузили в большой спешке. Только, когда кончили, передо мной со всей очевидностью встала перспектива возвращения в НКВД.

Нельзя сказать, чтобы я торопилась.

Навстречу мне просияла белозубая улыбка:

— Успели? Вот и прекрасно!

Как радуется за меня человек…

— А я тоже даром времени не терял. Потрудился. Вам остается лишь подписать.

Он протянул листы, покрытые убористым почерком.

Что говорить, он подробно и точно изложил все, что происходило у Искандера. Течение беседы, реплики, спор, включая упомянутые слова М.Г.

Я внимательно прочитала эти страницы и положила на стол.

— Нет. Этого я подписывать не стану.

— Как?! И я напрасно корпел столько времени? Вы что, издеваетесь?

— Я не просила вас корпеть. Это вы издеваетесь. Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я вам не говорила. Вы не получите моей подписи под вашим сочинением.

— Ах, так! Вы напрасно надеетесь уехать сегодня в Москву.

Я спокойно достала билет и положила перед ним.

— Вот. Я никуда не еду. А теперь можете допрашивать меня сутки, двое, трое. Сколько вам понадобится. Я не спешу.

Откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу.

Он озадаченно посмотрел на билет.

— Только ничего вы не добьетесь, — я помолчала и добавила, — кроме того, что, как я уже говорила, Башкирия не будет представлена на Всесоюзной выставке.

На лице его неприкрыто промелькнула злоба.

— Ну, так еду я или нет? — как можно вкрадчивее осведомилась я.

— Поезжайте! — воскликнул он вдруг почти с воодушевлением. — Поезжайте! А когда вернетесь из Москвы — сразу к нам! Будем ждать.

Так я оказалась у вас на столе.

Не хотела волновать и ничего не рассказывала. А Валя прислал открытку, очень бодрую, советовал подольше оставаться в Москве, походить по театрам, музеям, а он с удовольствием

поживет с бабушкой. Там была, между прочим, фраза: «Представь себе такую странность: от М.Г. и Искандера одновременно ушли жены». Я поняла, что оба арестованы. И что мне лучше повременить с возвращением. А когда вернулась, разумеется, не пошла к *ним*.

Вскоре стало известно, что М.Г. обвинен в хитроумном «протаскивании» на своих лекциях «низкопоклонства перед Западом», а татаро-русский декадент Искандер в пособничестве ему.

Уже из лагеря Искандер прислал своей Лёле письмо, где писал, что организовал там художественную самодеятельность и что такие-то — следовали имена двух расторопных профессоров — «хорошие актеры». Мы поняли, что на следствии ему предъявили их донос.

Самое поразительное, что эти двое при встречах со мной на улице всегда очень почтительно раскланивались. Я ни разу не ответила на их поклоны, а они все продолжали кланяться. Потом я узнала, что один из них умер. Второй кланяется до сих пор, зная, что я не отвечу.

Когда М.Г. вернулся в пятьдесят четвертом году, не по реабилитации, а «по актированию»: сгубил свои легкие на лесоповале и его отпустили умирать за полной непригодностью к работе, — он рассказывал, что следователь предложил ему составить список его знакомых. М.Г. аккуратно переписал весь преподавательский состав университета. Следователь спросил: «А почему в списке нет Веры Георгиевны?» М.Г. ответил: «Вера Георгиевна — совсем особая статья». — «Да, — согласился следователь. — Она из тех, кто: *только через мой труп!»*

— Вот такое у них, значит, есть определение, — закончила свой рассказ мама.

Бюст Матросова с выставки был закуплен Третьяковской галереей.

Пути, которые нас выбирают

Прежде чем продолжать повествование о моей, уже взрослой, жизни необходимо вернуться немного назад.

В Уфимский университет я была принята без экзаменов — по школьному аттестату отличницы. На отделение английского языка.

Я мечтала стать литературным переводчиком. Конечно, Диккенс уже весь переведен… Но знание языка открывает отличную возможность плавать в море английской литературы и находить там неведомые острова. И в американской тоже! «- Том! — ответа нет. — Том! — ответа нет. — Куда он запропастился, негодный мальчишка?!»… Может, там, в Америке, объявился новый Марк Твен… Или О'Генри. Я была окрылена перспективой открывать это русскому читателю.

И вдруг все перевернулось.

Валентин прислал из Алма-Аты телеграмму, что эвакуированный туда ВГИК объявляет набор студентов. Надо срочно написать и прислать два рассказа для отборочного конкурса. Если они пройдут, я буду допущена к вступительным экзаменам на сценарный факультет.

— Надо попробовать, — осторожно сказала мама.

— Зачем?! Я уже студентка.

— ВГИК гораздо интереснее. И потом, после войны, он вернется в Москву.

— И ты хочешь, чтобы я сейчас ехала в Алма-Ату? Другая бы мать во время войны постаралась держать дочь около себя.

— Дру-гая, — протянула мама. — Если дойдет до дела, Валентин приедет за тобой. Разумеется, одну я тебя не отпущу.

Похоже, они исхитрились сговориться за моей спиной. Но как? Или это семейная телепатия?

— Никуда я не поеду, — угрюмо сказала я.

— Здесь тебе даже не за кого выйти замуж! — с непонятным отчаянием воскликнула мать.

Я уставилась на нее:

— Но я не собираюсь замуж!

— Придет время — соберешься. Тебе исполнилось восемнадцать…

Что за безумие? Откуда эта забота о моем мифическом замужестве? У моей матери! Словно у какой-нибудь маменьки девятнадцатого века…

И вдруг я поняла. Мне исполнилось восемнадцать. Я совершеннолетняя. Она боится, что меня могут арестовать как дочь

«врага народа»… И хочет убрать меня из города ссыльных… Оторвать меня от своей судьбы.

Но я тоже боюсь. Смертельно боюсь, что ее арестуют. Этот страх всегда со мной. Я живу в нем. Но все-таки я каждый день вижу, что она еще не арестована. Это дает мне надежду на следующий. А в разлуке? Каждый день я буду думать, что она может быть уже арестована, а я этого не знаю!

— Я буду писать тебе каждый день! — воскликнула мама. — Каждый день! — как заклинание повторила она. — Послушайся меня, дочушка…

Когда-то это уже было. Это заклинание. «Помоги мне, дочушка»… Таганрог. Перед моей отправкой в Уфу к бабушке.

— Я никогда не писала рассказов, — растерянно сказала я.

— Пора начинать. Литературный переводчик тоже ведь должен уметь писать прозу.

Я вдруг вспомнила, как еще в тоскливые бакалинские вечера взяла в обыкновение сочинять длинные романы «с продолжением», лежа на постели в кромешной тьме. И я вроде даже работала тогда над словом. Долго искала точное. Меняла эпитеты. Выстраивала диалоги. Может, это были попытки писать «в уме» прозу?

— У тебя получится, — мама обняла меня. — Уверена.

Я написала два рассказа — из моего таганрогского детства — и отправила в Алма-Ату.

Ответ пришел для военного времени довольно скоро. Это была телеграмма: «Получили ваши очаровательные рассказы тчк допущены экзаменам срочно выезжайте Алма-Ату = Дирекция ВГИК»

— «Очаровательные» — это Валина работа, — мрачно сказала я.

С этой идиотской, по моему разумению, телеграммой я отправилась хлопотать о пропуске и железнодорожном билете в Алма-Ату. К моему удивлению злополучный эпитет сработал безотказно. В унылых учреждениях замороченные начальники вдруг начинали улыбаться и заинтересованно глядеть на меня.

Пропуск я получила быстро.

Единственная книга, которую я взяла с собой в новую жизнь, была «Записки Пиквиккского клуба».

В минуты упадка духа Мистер Пиквик и Сэм Уэллер с верностью старых друзей приходили на выручку. И заставляли улыбаться.

Морозова Н.А. Мое пристрастие к Диккенсу:
семейная хроника XX век.
Москва: Новый Хронограф, 2011. 352 с.

Инга КАРЕТНИКОВА

Инга Абрамовна Каретникова (1931-2015) – советский и американский искусствовед, сценарист и писатель. Родилась в Москве. В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в Уфу.

Окончила искусствоведческое отделение Московского университета. Работала куратором в Гравюрном кабинете ГМИИ. После окончания Высших сценарных курсов писала сценарии для студии документальных и научно-популярных фильмов.

В 1972 году покинула Советский Союз. Год жила в Италии, где опубликовала книгу об Эйзенштейне в Мексике. С 1973 года жила в США, преподавала сценарное мастерство в американских университетах, приглашалась кинокомпаниями Германии, Австрии и Швейцарии в качестве консультанта. Была награждена Гуггенхеймовской премией за работу о живописи и кино, а также премиями Карнеги-Меллон и Радклифского колледжа. В Соединенных Штатах опубликовала несколько книг о кино, среди них исследования о «Казанове» Феллини, «Веридиане» Бунюэля, «Семь киношедевров 40-х годов». Книга о сценарном мастерстве «Как делаются киносценарии» получила широкую известность в Америке и Европе. В 2014 году в Голландии на английском был опубликован ее роман «Полин». В марте 2015 года Инги Каретниковой не стало.

Разрыв человека, привыкшего не просто говорить, но писать на родном языке, резкое погружение в чужой язык чаще всего завершается тем, что этот человек либо совсем перестает писать, либо продолжает свою работу на том языке, на котором

писал прежде, стараясь не замечать двусмысленности создавшегося положения. Когда Инга Каретникова уехала из России, перед ней, как и перед многими другими людьми гуманитарных профессий, должен был встать этот катастрофический вопрос: возможно ли продолжение того, что она делала, там? Сорок два года жизни в Америке ответили на этот вопрос с предельной выразительностью: она продолжала работать в том же профессиональном ритме, с тем же напряжением и тем же блеском, только язык ее труда изменился: книги Каретниковой выходили не в переводе с русского, как это случается почти всегда, — она писала их по-английски. Помню, как она однажды сказала мне: «Знаешь, детка, я, кажется, справилась. Я не только сама понимаю, что говорят американские дети, но и они понимают меня».

«Портреты» — поразительный опыт возвращения не только в прожитую жизнь — лучше сказать «судьбу», — но и в лоно родного языка, вытесненного в силу обусловленных этой судьбой обстоятельств. Работая над «Портретами», она нанизывала человеческие характеры на стержень собственной биографии, с каждым из них возвращаясь обратно, в не остывшую за столько десятилетий колыбель своего, как говорят по-английски, «mother tongue», в буквальном переводе — «материнского языка».

Ирина Муравьева

ПОРТРЕТЫ РАЗНОГО РАЗМЕРА

Граф Альфред Витте

Бывший граф Альфред Карлович Витте жил в Уфе. Все его родственники были расстреляны большевиками в первые дни Октябрьской революции.

— Это была аристократическая, близкая царской семья, — рассказала мне мама. — Один из них, Сергей Витте, был премьер-министром. Сразу же после переворота Альфред Карлович и его жена — это было каким-то озарением, по-другому не объяснишь, — все бросив, сели на поезд, идущий из Петербурга в глубь России, к Уралу, и выбрали Уфу. Этот далекий провинциальный город не

привлекал к себе внимания. Люди бежали от революции за границу, на Кавказ, в Крым. Уфа никого не интересовала, и супругов Витте этот выбор спас…

По дороге, через несколько дней, жена заболела тифом. Их высадили из поезда немного не доезжая до Уфы, в месте, где была больница. Удивительно, что ее там выходили и даже дали им какой-то документ. В Уфе Альфред Карлович устроился чистить улицы, потом мостить дороги, потом делал что-то еще. Со временем из старого заброшенного сарая он состроил жилье — без электричества, но с утепленными стенами, окном и даже небольшой печкой. Жену, графиню Витте, взяли уборщицей в библиотеку, так что им было что читать. Еще одна удача — никто ими не интересовался. Вокруг сарая разрослись кусты смородины и малины, деревца сирени. Был там и небольшой огород. Когда сломалась, вернее, почти отвалилась дверь нашей комнаты, наша квартирная хозяйка Ивановна (мы были эвакуированные из Москвы, которые снимали комнату в ее квартире) сказала, что позовет Карлыча и он починит.

— Один из этих — бывших, — хмыкнула она. На следующий день к нам пришел благородного вида старик с седой, аккуратно постриженной бородкой, худым, состоящим почти только из профиля лицом. На нем было потертое рыжее, из лошадиной шкуры, пальто, старые валенки с галошами, в руках — сумка с инструментами. Это был граф Витте. Что-то в нем осталось от прежней выправки — в фигуре, в выражении лица, — хотя он прожил более двадцати лет в чужом окружении, чужом языке, среди татар и башкир, которых он плохо понимал, а они не понимали его. Русских он сторонился.

Он долго возился с дверью. Молчал, со мною — ни слова, был занят своим делом. А я делала уроки, но все время на него поглядывала. «Бывший, — думала я, — значит, аристократ, а у них были дворцы, слуги, которых они эксплуатировали, как нам говорили об этом в школе. Была музыка. Балы. А сейчас…» Я посмотрела на него. Он держал большой гвоздь губами — его руки были заняты дверью, а она все время соскакивала с петель. Я тихонько погладила его лошадиное пальто, которое лежало рядом со мной.

Мама пришла с работы, а я пошла гулять. Когда вернулась, они пили чай, сидя на табуретках за столом из ящиков, и тихо разговаривали по-французски. Он что-то рассказывал. Французские слова! Это было так красиво, так по-другому, чем все вокруг! Время от времени Альфред Карлович приходил к нам — то что-то починить, то забить дыры от крыс — и каждый раз он приносил книжку маме почитать и какой-нибудь овощ или фрукт из того, что он и жена выращивали. «Вы меня очень обяжете, если возьмете эту тыкву (или кабачок, или капусту)», — говорил он. Мама, конечно, брала и благодарила.

А потом они пили чай и, как всегда, уютно беседовали. Мама, которая работала в госпитале, время от времени посылала его жене какие-то лекарства.

Потом Альфред Карлович долго не приходил, а когда Ивановна пошла позвать его, чтобы починить пол в коридоре, ей сказали, что бывший умер, а его жену забрали в приют для бездомных.

Актриса Мария Стрелкова

Мария Павловна Стрелкова была не как все. Не только на сцене — то грибоедовская Софья, то лермонтовская Нина, — а в жизни. Высокая, красивая, она была похожа на античную статую — пропорции, правильность черт лица, величавость всей фигуры. Курила. От нее всегда так приятно пахло табаком и духами. Говорила она мало, но каждое слово звучало.

Со Стрелковой моя мама была дружна в юности, но потом та уехала из Москвы в Киев, стала там известной актрисой, вышла замуж за еще более известного актера Михаила Романова, и они с мамой совсем не встречались. Но там, в Уфе, увидев ее, Стрелкова бросилась к ней, как к родной. А потом она нежно привязалась ко мне. У нее не было своих детей. Она и Романов просили маму хоть на время давать меня им — ведь условия их жизни были несравненно лучше. Мама превращала эту просьбу в шутку. Так вот, на сцене было «Горе от ума». Софья, ее всегда играла Стрелкова, была такой красивой; Чацкий, его играл Романов, был лучше всех. В свои десять лет я никак не могла понять, почему Софья выбирает такого глупого Молчалина, а не Чацкого.

Стрелкова мне потом объяснила, что Молчалин казался Софье более преданным. Он никогда бы не уехал, оставив ее, как это сделал Чацкий.

— Но она ошиблась, — сказала Стрелкова и затянулась папиросой. — Как мы все ошибаемся, — добавила она. Со мной так по-взрослому никто не разговаривал.

Во многом благодаря Стрелковой началась для меня русская литература. Она любила читать вслух и видела, как я замираю. Я и сейчас слышу ее завораживающий голос:

— «Тетенька Михайловна! — кричала девочка, едва поспевая за нею. — Платок потеряли!»...

И ветер, и слезы Катюши Масловой, и быстро несущийся поезд с ним, Нехлюдовым, который обманул ее, возникают передо мной сейчас, как они возникали тогда.

А как Тургенева, как Чехова Стрелкова для меня открыла! Однажды, когда я была больна и в кровати, она и Романов разыграли для меня отрывок из лермонтовского «Маскарада». Театр приблизился ко мне, заполнил нашу комнату. И наша убогая комната преобразилась. Был бал, музыка, маски, и валялся этот уроненный кем-то браслет, ставший уликой неверности Нины. Поверив в клевету, Арбенин, муж Нины, отравляет ее. Она умирает, а он узнает, что она ни в чем не виновна... От впечатлений я не могла шевельнуться. А они оба как-то сразу очнулись от своего маскарадного сна. Романов достал из кармана очки, протер их платком, надел и подошел к окну.

— Опять сыплет снег, — сказал он мрачно, — а я не в сапогах. Стрелкова встала, взяла папиросу. Закурила.

— Я так люблю снег, — сказала она, подойдя к окну, — что может быть красивее…

Потом достала из своей сумки фляжку и сделала большой глоток. Она уже тогда становилась алкоголиком, от чего потом трагически погибла — пьяная упала где-то в Киевском парке, ее тело долго не могли найти.

После Уфы я не видела ее почти десять лет. Но вот Киевский театр привез в Москву новые постановки. Я получила от Романова приглашение на «Три сестры». Сбоку была приписка Стрелковой, что она меня помнит, любит и хочет видеть. Конечно, на сцене она была Машей («Надо жить! Надо начать нашу жизнь снова!») —

самой красивой и самой несчастной из сестер. «Как жаль, что уже нет грибоедов ской Софьи», — думала я.

Я встретилась со Стрелковой на следующий день в гостинице «Метрополь», в ее шикарном номере. Был день, и зимний свет из огромных, завешенных искусной кисеей окон заливал все вокруг. Она сидела в кресле в пижаме, жмурясь от солнца, сильно изменившаяся, совсем не та.

— Моя жизнь переполнена грустью, — сказала она с пьяной улыбкой и долго потом молчала.

Разговора не получилось. Она только повторяла, что водка и яблоки — на столе, и что я должна обязательно выпить. И налить ей еще. Вскоре она так и уснула на полуслове, сидя в кресле.

Полковник НКВД Эмма Судоплатова

Все дети моего поколения носили летом испанки — прямоугольные шапочки, их надевали узким краем вперед. Мы все говорили: «No passaran!» («Они не пройдут!») — о франкистах и повторяли: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» — лозунг Долорес Ибаррури, главной испанской коммунистки, который потом шутники переделали во что-то вульгарное.

Моя испанка была особенно красивой, ярко-красной с белой кисточкой. Ее мне подарила мамина давняя знакомая Эмма Карловна. Она привезла ее из Испании, где целый год, а может, дольше, была в Республиканской армии. Она была переводчицей с нескольких языков.

Эмма Карловна приглашала нас к себе на дачу где-то под Москвой, меня и маму. За нами приезжала ее машина. Мне было лет семь. После завтрака они с мамой разговаривали, а я играла с кошкой, гуляла в саду, что-то рисовала большими красивыми карандашами, которые потом давались мне в подарок. Ее дети жили и учились в Крыму. Я их не знала.

В доме было много комнат, но каких-то полупустых. В столовой висел большой портрет Ленина. Ее мужа, важного военного, я никогда не видела. Маму она знала давно, наверное, они учились вместе, называла ее нежно Полиночка. Я не вызывала у нее никакого интереса.

Через несколько лет, когда началась война, Эмма Карловна, уже немолодая, сорокалетняя, приехала в Уфу. У нее был грудной ребенок, Толик. Она дала мне его подержать, и я ему что-то пела. В Уфе она была недолго.

Года через два, только что закончилась война, мы с мамой опять были на той даче под Москвой, так же за нами приехала машина. За завтраком кроме нас сидела пожилая, неулыбающаяся женщина, испанка. Она молчала и, выпив кофе, ушла к себе в комнату.

— Она гостит у меня. Только недавно узнала, что под Сталинградом погиб ее сын, — сказала Эмма Карловна. Мне было интересно, кто эта женщина. Но я знала, что о взрослых и их делах никогда не надо спрашивать и не надо этим интересоваться.

Прошло много лет, когда я узнала, что эта женщина была Долорес Ибаррури, сама Эмма Карловна была полковником контрразведки, а ее муж — никто иной, как всесильный генерал Судоплатов, главный заместитель Берии по иностранным делам. Она и ее муж были честными, заблуждающимися фанатиками коммунизма.

Вспоминаю лицо Эммы Карловны — сухое, скуластое, без косметики, чуть навыкате серые глаза, затянутые в пучок светлые волосы. Всегда с папиросой. Даже мне, ребенку, передавалось напряжение, идущее от нее. Почему она нас с мамой приглашала? Наверное, мама была частью ее юности — самым светлым временем, без шпионажа, предательств и убийств. После смерти Сталина Берия, как известно, был расстрелян, все его приближенные — тоже. Судоплатов был арестован, но не расстрелян — он никак не был связан с террором внутри страны. Все убийства, которые он планировал, включая убийство Троцкого, совершались за рубежом.

— Мой отец не был палачом, и он не был убийцей — он был диверсантом, — утверждал его сын, тот самый Толик, которого я когда-то держала на руках в Уфе. Сейчас Толик — известный ученый-демограф.

После расстрела Берии Эмму Карловну арестовали, но через несколько месяцев выпустили. Теперь она приходила к маме пить кофе, но я ни разу с ней не столкнулась. Конечно, у нее забрали

дачу и дом в Москве. Она жила в одной крошечной комнате, без права работать. Зарабатывала гроши уроками. Но дети могли продолжать учиться. Судоплатов просидел пятнадцать лет в тюрьме во Владимире, вышел оттуда инвалидом с искривленным позвоночником, но, немного оправившись, стал работать. Теперь он писал о советской дипломатии, системе шпионажа, лидерах; о Сталине, с которым регулярно встречался; о Берии, которого считал не таким злодеем, как его обычно представляют; о Хрущеве, которого презирал.

Судоплатов очень любил Эмму Карловну, больше полувека они были преданы друг другу. Недавно я видела в документальном фильме, как он — маленький, сгорбленный старичок (далеко за девяносто), в прошлом высокий, красивый генерал — кладет красную розу на ее могилу на московском Донском кладбище.

Знамя. 2015. № 8.

Лариса РУМАРЧУК

Лариса Ильинична Румарчук – поэт, переводчик и прозаик поколения шестидесятников. Родилась в 1935 году в Подмосковье. Во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Уфу. В послевоенные годы занималась в литературном кружке при Московском доме пионеров. В 1953 году поступила в Литинститут. На их курсе учились известные в будущем писатели и поэты, но ее голос не затерялся в их мощном хоре, потому что был неповторим. Дебютировала в коллективном сборнике стихов «Знакомство» (1963). Стихи и проза публиковались в периодике, альманахе «День поэзии». Первая книга стихов «Дом» вышла в 1966 году. Автор шести поэтических сборников («Маленькая птица», «Осеннее купанье», «Воздушные шары моей юности» и других) и нескольких книг прозы. Переводила поэзию и прозу с венгерского языка и языков народов СССР. На её стихи писали песни барды и эстрадные композиторы. У Ларисы Румарчук редкий дар – говорить ясно о сложном, парадоксальном, невыразимом. А порой – о таинственном, мистическом, иррациональном. Таковы многие

её рассказы из последней книги «Третье око». Председатель и ведущая клуба прозаиков Союза писателей Москвы в ЦДЛ. Ряд книг стихов и прозы переведены на английский, словацкий и венгерский языки.

ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА

Башня удачи

Из подъезда вышла Эльза с бидоном в руке. Бидон был старый, большой, литров на пять, с вмятиной на боку. С таким бидоном не ходят за молоком. Я сразу поняла это, поняла, куда собралась Эльза, и обрадовалась:

— Чур, я с тобой!

— Ну… пошли, — неуверенно согласилась Эльза. — Только смотри, чтоб не хныкать в очереди и помогать мне нести.

— Ага, — заверила я.

И мы не спеша отправились.

За кинотеатром Салавата Юлаева стояла керосиновая лавка, вся железная — на случай пожара.

А возле лавки на солнцепеке — длиннющая очередь. Все с бидонами, большими и поменьше, а кто-то так даже с тележками. Пока что тележки спокойно «паслись» в сторонке, на травке, словно это были не тележки, а лошадки или ослики.

— Да-а, — протянула Эльза, пристраиваясь к хвосту, и, жалостливо посмотрев на меня, предложила: — Может, домой провожу?

— Что ты, что ты! — испугалась я.

Дело в том, что у меня была одна особенность, в которой мне казалось стыдным признаться. Я очень любила запах керосина. А здесь, вокруг лавки, прямо-таки плавал этот прекрасный запах, и я могла нюхать сколько угодно. И все под предлогом того, что я вот стою в очереди, помогаю взрослым…

Так я стояла, незаметно, все сильнее втягивая в себя керосиновый запах. А потом, спохватившись, принималась вздыхать — это на всякий случай, чтобы отвести подозрения: мол, мне совсем не хочется здесь торчать, но что же поделаешь, раз надо.

В том, что я люблю керосиновый запах, нет ничего удивительного. Во всяком случае, это менее удивительно, чем есть мел.

А ведь едят же. Да еще как. Прямо отколупывают от стенки целыми кусищами и едят. Недаром в нашем городе так много облупленных, вернее, объеденных домов. И недаром же облуплены они именно снизу: ведь известку едят дети, а дети не могут дотянуться высоко.

Я не понимаю только одного: почему люди при этом так стремятся оштукатуривать свои дома. Я сама видела, как одна старушка длинной кистью белила свой заново оштукатуренный дом. Я подошла к ней и сказала:

— Зачем вы так стараетесь, ведь все равно съедят.

Так старушка выкатила глаза и даже замахнулась на меня кистью.

Откровенно говоря, я ни разу не видела человека, жующего мел. Но кто же станет делать это открыто?

Хотя нет, однажды на углу нашей улицы, между молочной фабрикой и детским садом, около маленького домика, в кустах сирени, сидел на корточках худенький бледный мальчик с большими ушами и что-то тщательно отколупывал ногтем. Я сразу насторожилась и, стараясь не дышать, подошла поближе. Но мальчик услышал мои шаги своими большими ушами и убежал, метнув в меня быстрый, пугливый, какой-то вороватый взгляд. Так вот, оказывается, как выглядит поедатель мела.

Между прочим, и в нашей школе часто пропадает мел, просто не напасешься. Поэтому дежурство для меня — мука. Не успею оглянуться, а мела нет. Вот тряпка на месте, а мела нет как нет.

Из-за этого несчастного мела у меня как-то произошел конфликт с Анной Максимовной, нашей учительницей.

— Дежурная, где мел? — спрашивает она меня и при этом смотрит так пронзительно, словно что-то подозревает. Я не выдержала и говорю:

— Анна Максимовна, вы не думайте, я мела не ем.

Так она как закричит:

— Грубиянка! — И побежала вызывать директора.

В очереди я стояла и вспоминала этот случай, а также думала о том, почему человеку нужно скрывать то, что ему так приятно,

почему бы не поделиться этим, например, с Эльзой. Поняла бы Эльза или нет?

А может быть, у Эльзы тоже есть что-то, приятное ей? И она тоже это скрывает? И таится ото всех, и стыдится? Может быть, даже мучается? Я посмотрела на Эльзу, пытаясь понять ее тайну. Но лицо Эльзы было таким открытым и веселым, как будто никакой тайны у нее не было. Ее узкие глаза сверкали, как добрые чертенята. И тоже как чертенята, из кольца в кольцо вились черные волосы. Только, пожалуй, в смуглоте ее кожи таилось что-то похожее на спрятанную тайну. Эльза — башкирка. Она умеет говорить на трех языках: русском, башкирском и еще одном, без названия.

Этому третьему языку она научила и меня. Теперь, когда мы хотим сказать что-нибудь друг другу по секрету, мы говорим на этом языке, и нас никто не понимает. Это почему-то всех сердит, а мою бабушку прямо-таки выводит из себя.

Вот и сейчас Эльза покосилась на меня, подмигнула и сказала:

— Пивчепира пико пимне пиприпихопидил питролль. Пия писпрописипила: «Почему у вас такая черная кожа?» Питролль пискапизал: «Я пришел к вам через трубу. Отмойте меня скорее, и вы увидите, что у меня небесно-голубая кожа. Где у вас умывальник?»

— Эльза, — умоляю я, — когда к тебе в следующий раз придет тролль, позови меня. Обещаешь?

А нас уже подталкивают сзади, потому что незаметно подошла наша очередь. И я вхожу в керосиновую лавку, как в полутемный зал кинотеатра, который сулит столько интересного. Вот лоснящиеся куски мыла, вот желтые свечи, вот керосиновые лампы с запыленными стеклами, а вот еще какие-то предметы, сваленные друг на друга: да это же бидоны, новенькие бидоны для керосина. И я смотрю на все это, как на декорации за кулисами театра.

А Эльза уже протягивает свой бидон с металлической ручкой, и в подставленную воронку льется жирная золотисто-коричневая ароматнейшая струя.

На улице я берусь за одну сторону ручки, а Эльза — за другую. Рука быстро вспотевает, я чувствую мягкую теплую потную Эльзину руку рядом со своей.

До чего хороший сегодня денек! До чего удачно, что Эльза вышла из подъезда, как раз когда я была во дворе. До чего здорово, что она взяла меня с собой. Как хорошо, что удачи льнут одна к другой, складываются вместе, как домик из кубиков или рисунок, когда все его части, нарисованные на кубике, так чудно подошли один к одному.

До чего красивый лоток у мороженщицы, голубой-голубой. И совсем еще не запыленный, — наверное, только что покрасили. А передник белый и тоже совсем чистый, прямо-таки ослепительно белый. И мороженщица эта не кто иная, как Марзея. А Марзея — Эльзина мама.

И мы с Эльзой бежим к лотку, крепко сжимая в руках ручку бидона, и я слышу, как глухо плещется в нем керосин.

— Помощнички вы мои! — еще издалека кричит нам Марзея. — Сейчас я вас мороженым угощу. Руки-то небось грязные. Оботрите вон о лопухи. — И Марзея зачерпывает ложкой твердую белую массу и быстро-быстро ложкой же вминает ее в круглую формочку, а потом покрывает сверху желтой вафлей.

Мороженое холодное, сладкое, твердое — аж мурашки по языку. И оттого что мороженое, что тополиный пух, что солнце, внутри у меня вдруг начинает что-то то ли подпрыгивать, как мяч, то ли взлетать, как птица.

Напротив голубого лотка останавливается красный автобус.

— Бежим! — кричит Эльза и, подхватив бидон, бросается к автобусу. До дома и пешком рукой подать. Но я понимаю, что Эльза хочет прокатиться: кутить так кутить! Ее черные кудри прыгают во все стороны.

И от этой спешки, от красного автобуса, от черных ее кудрей я становлюсь прямо-таки по-сумасшедшему веселой. И начинаю чувствовать, что запертая во мне птица вот-вот вылетит наружу.

Автобус уже трогается, а я еще не села. Эльза с несколько испуганным лицом протягивает мне руку. Что-то кричит Марзея. Ветер относит ее слова. Я отталкиваю руку Эльзы и сама вспрыгиваю на ходу, да так ловко, словно всю жизнь только этим и занималась. А на самом деле — первый раз. И, главное, мне ничуть не страшно.

На секунду я теряю равновесие и, чтобы не упасть, хватаюсь рукой за какой-то провод или веревку. Автобус останавливается —

наверное, еще кто-нибудь садится с передней площадки. Эльза, воспользовавшись остановкой, пытается засунуть подальше под сиденье свой бидон: ведь керосин возить в автобусах не разрешается. Кондуктор увидит — сразу высадит.

Вот уже и бидон надежно запрятан. Слава богу, кондукторша в сутолоке ничего не заметила. Вот уже Эльза, пошарив в кармане, извлекла оттуда монетки и, пересыпав их кондукторше из ладони в ладонь, получила два билетика. Вот уж и я, подсчитав все цифры, не без грусти отметила, что билеты несчастливые. А автобус все стоял. Пассажиры начали глухо роптать. А один мужчина с заднего сиденья даже выкрикнул зычным голосом:

— Эй, мать, долго загорать собираемся?!

Да и сама кондукторша нетерпеливо ерзала на своем сиденье, хотя и делала вид, что так и полагается. А автобус все стоял.

Собственно, нам с Эльзой это было все равно. Мы ведь никуда не торопились. Но то ли общее беспокойство передалось мне, то ли еще что-нибудь, только я вдруг почувствовала, как тот счастливый ветер, который все это утро распирал меня, стих. А вместо него где-то в животе засосал, закопошился смутный страх. Сначала он был маленьким и почти уютным, как медвежонок. Но с каждой секундой медвежонок все вырастал, грозя превратиться в большого медведя и задавить своей тяжестью ту маленькую певунью-птицу, что взлетала во мне, и рвалась наружу, и все не могла вырваться.

За окнами автобуса была улица, не центральная и не совсем окраинная, обыкновенная улица нашего города, еще минуту назад зеленая, сверкающая на солнце, а теперь — то ли солнце зашло за облако, то ли стекла были непромытые — улица показалась мне серой и неопрятной, а деревья — пыльными и обвисшими. Возле некрашеных заборов ветер гонял обрывки бумаги.

И вдруг в ухо мое ворвался визгливый окрик кондукторши:

— Вот кто, оказывается, автобус держит! А я-то думаю… Нет, вы только поглядите!..

Я недоуменно оглянулась на кондукторшу, уже предчувствуя что-то неладное, но еще ничего не понимая. И тут только я увидела, что кондукторша обращается ко мне. Да-да, ко мне, потому что в направлении ее взгляда стояла только я, и смотрела она именно на меня, да так пронзительно.

— Вы мне? — спросила я растерянно.

— Тебе, тебе, а то кому же! Да отцепись ты наконец! — и кондукторша сильно дернула меня за руку. Я отпустила провод и схватилась рукой за Эльзу. И — о чудо! — автобус, словно только и ждал этого сигнала, зашипел, затарахтел и тронулся. Тут только до меня дошло, что я держалась за провод, который был протянут от шофера к кондукторше и служил для шофера сигналом.

Я подняла голову и — о ужас! — увидела, что все пассажиры смотрят на меня. Некоторые — те, что были от меня далеко, — даже привставали с мест, вытягивали шеи, а то и протискивались сквозь толпу.

Не помню, как я проехала оставшийся путь. Щеки мои горели, а мысли путались.

«Теперь эта кондукторша всегда будет узнавать меня, — думала я. — Теперь я вообще не смогу ездить в автобусах. Да и не только кондукторша. Все пассажиры. Уж они-то меня запомнят, недаром так разглядывали. А ведь у всех пассажиров есть дети. Кто-нибудь из них наверняка учится в нашей школе. Выходит, я и в школу не смогу ходить».

Едва дождавшись остановки, я выпрыгнула из автобуса, Эльза — за мной.

…В мрачном молчании дошла я до своего двора. Теперь, пожалуй, и во двор не выйдешь. Эльза, конечно, тоже не удержится — расскажет. И я с болью окинула взглядом двор, прощаясь с ним навсегда.

Это был большой двор, к которому примыкало три коммунальных плотно заселенных дома. Его сухая растрескавшаяся земля была в середине лета похожа на географическую карту: те же неровные произвольные зигзаги, словно проведенные шаловливым карандашом ребенка или, наоборот, дрожащей рукой старика. Центр двора был пуст, солнечен и гол, как пустыня. И только у водокачки оазисом темно поблескивала лужица воды.

В глубине двора стояли сараи, а за ними — аккуратно сложенные штабеля дров. Дрова сияли березовой корой и свежими срезами, и то ли от опрятности этих дров, то ли от нежного сияния опилок казалось, что это самое чистое место на земле.

А в другом углу двора под старым тополем неуклюже громоздилась помойка, заваленная картофельной шелухой, ржавыми консервными банками, бутылочными осколками…

Я любила этот двор — с его водокачкой, с лужами мыльной пены, с сараями, с потрескавшейся землей, с помойкой, где мы находили цветные стеклышки. Я совсем не хотела с ним расставаться — ни сегодня, ни завтра, ни потом. Была бы моя воля, я прожила бы здесь всю жизнь.

— Да брось ты! — вдруг сказала Эльза и взъерошила мне волосы.

— Ты о чем? — прикинулась я.

Эльза взглянула на меня внимательно и ничего не сказала. Она была старше меня на три года, мечтала стать учительницей и к нам, ребятне, относилась снисходительно, как старшая к младшим.

И все-таки мой родной двор успокоил меня. Глядя на такие знакомые тополя, которые мы сажали всей семьей, и на скамейку под ними, и на водокачку, я сладко подумала, что все еще, может быть, уладится, не знаю как, но уладится.

Однако не успела я так подумать, как из подъезда выскочила моя бабушка и накинулась на меня:

— Явилась! Соизволила! Или теперь такая мода — не спрашиваться, не отпрашиваться? Пусть родители нервничают, пусть разыскивают, хоть с милицией, хоть с собаками!

Я посмотрела на Эльзу, ожидая поддержки. Но Эльза, моя любимая Эльза, всегда стоявшая за меня горой, на этот раз почему-то, вместо того чтобы поддержать меня, бочком, бочком стала отодвигаться в сторону и — нырнула в подъезд. Я была ошарашена. Я никак не ожидала от нее такого предательства. С тупым недоумением смотрела я на бабушку, и слова ее не доходили до меня. Наконец бабушка успокоилась и, сунув мне в руки какой-то сверток — там оказался хлеб с маслом и килькой, — сказала примирительно:

— Ну ладно, поешь, и пойдем картошку окучивать. Для этого тебя и ждали.

…И пока мы шли на наш участок, я все думала о предательстве Эльзы и о том, как это странно, что день, начавшийся так празднично, вдруг ни с того ни с сего стал прямо-таки сыпать на меня неприятности, как горох из разорванного мешка. Я думала, с чего же это началось, какую оплошность я совершила, и пыталась по цепочке перебрать все подробности этого дня.

И я уже с опаской переходила дорогу: что из того, что она пуста и даже заросла травой — все равно того и гляди угодишь под машину. Хоть машины здесь и не ездят, но одна возьмет да выкатится из-за угла ради такого случая. Если уж пошли неудачи, всего можно ожидать.

Передо мной вышагивала бабушка с граблями на плече. И я предусмотрительно отошла в сторону, сообразив, что бабушка может споткнуться, и тогда грабли ударят меня по голове.

Даже ясное небо внушало опасения — ведь с неба может посыпаться град.

И представьте себе, действительно, небо в один момент покрылось тучами, воздух потемнел, неизвестно откуда взялся ветер, на дороге завихрились воронки пыли. Не успели мы оглянуться, как нам в лицо полетели мелкие камешки. Но даже если бы ветер швырнул в меня дымоходной трубой, я бы и то не удивилась.

— Придется возвращаться, — сказала бабушка. — И кто бы мог подумать? Такой денек был.

И бабушка почти бегом поспешила обратно.

А я, глядя, как воронками взвивается пыль, как ветер то сталкивает, то, наоборот, расшвыривает в стороны листья, обрывки бумаги, скомканные коробки из-под папирос, представила вдруг, что точно так же другой, невидимый ветер с разных концов света пригоняет к одному человеку всевозможные мелкие частицы, частицы удачи, и они цепляются друг за друга крохотными крючочками, соединяются, притягиваются, как железки к магниту, образуя прекрасную, но хрупкую башню, башню удачи.

Но подует другой ветер, пробежит мальчишка, пролетит тополиная пушинка — и башня рухнет так же моментально, как и построилась.

И все ее колесики, винтики, гвоздики и подшипники гулко раскатятся по всей земле. Пока другой, счастливый ветер по неуловимому сигналу не соберет их снова — до нового разрушения. И так без конца.

И никто, ни один человек, даже сам директор школы, не может управлять этим ветром.

Он появляется неизвестно откуда и исчезает неизвестно куда.

Может быть, потому человек никогда не бывает абсолютно спокоен и совершенно счастлив.

Мы добежали до дома. И только влетели в подъезд, как хлынул ливень. Из водосточной трубы с шумом вырвался мутный поток. И в одно мгновение наш двор превратился в море. На воде прыгали, суетились, лопались пузыри. Я скинула тапочки и бросилась под этот дождь. Но бабушка схватила меня за подол и втащила обратно. Дома я включила радио и услышала свою любимую песню:

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце родины моей.

Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая.

И я почувствовала, как во мне, задавливая страх, возникает и растет уверенность и возвращается настроение сегодняшнего утра. И та птица, которая еще недавно понуро дремала во мне, снова подняла свои крылья.

И еще я увидела, как отовсюду — из джунглей и пустыни, с Северного полюса и из южных тропиков, из огромных городов, которых я никогда не видала, и из маленьких деревушек, которых я тоже пока не видала, — катятся сюда, к моему городу Уфе, к моей улице Зенцова, к дому № 27 разные колесики с зазубринами по краям, разные гвоздики с большими и маленькими шляпками и еще какие-то механизмы, которым я не знаю названия, как они громоздятся друг на друга, занимают свои места, примыкают, привинчиваются, припаиваются друг к другу.

И вот уже под моим окном возвышается башня, видимая только мне, стройная и легкая, похожая на будущую Останкинскую телебашню, прямая, как стрела, и, как стрела, уходящая в небо, великолепная и добрая, самая лучшая башня в мире — башня удачи.

Эвакуация

Это был Урал. Здесь было много солнца. И если одна сторона улицы была на солнце, а другая в тени, то это выглядело как день и ночь (нигде потом я не встречала такого контраста света).

Это была Башкирия, Солнечная Башкирия, как ее называли. И когда приходила весна, она сваливалась сразу: светом, грохотом, половодьем. А какие ручьи текли в канавах! Они клокотали, дыбились, пенились (никогда больше в жизни, ни разу и нигде я не встречала таких ручьев!). По мутной воде, вздыбленной, клокочущей, летели, обгоняя друг друга, щепки — наши корабли. И когда я опускала на воду свой кораблик и смотрела, как он летел, мгновенно подхваченный потоком, у меня захватывало дух.

Мы приехали сюда в эвакуацию. Я, моя младшая сестра Эля и бабушка. Наш сосед — старик с квадратной белой бородой — все время молчал.

— Его уплотнили. Вот он и сердится, — говорила бабушка.

— А мы-то при чем? — говорила я.

— Мы-то ни при чем, а все-таки из-за нас его уплотнили, — отвечала бабушка.

Однажды, когда он проходил по коридору твердыми шагами хозяина, бабушка догнала его и сказала:

— Вы уж не обижайтесь. Война скоро кончится. Мы уедем, и комната снова ваша будет.

— У Ивановых квартиранты уехали, а ордер в исполком сдали. Им и подселили других, — глухо ответил старик. — Нет, что с возу упало, то пропало.

Дом был бревенчатый, с длинным глухим забором. Доски в заборе пригнаны так плотно, что ни щелочки. А у калитки росла бузина, несъедобная, волчья ягода. Но какая же она волчья, если такая красная и веселая? Когда она цвела, дом выглядел менее мрачным. На ночь закрывались ставни, что очень забавляло меня и Элю. Сначала ставни закрывала бабушка, потом разрешила мне. В комнате становилось так темно, что я все время опаздывала в школу: думала, еще ночь. А потом научилась узнавать утро по просвету в круглой дырке, куда вставляли болт.

Училась я в старой деревянной школе, низкой и длинной, похожей на барак. А как раз напротив нашего дома, через дорогу,

стояло великолепное здание, каменное, в четыре этажа, с огромными окнами.

— Это школа, — сказала мне какая-то женщина, когда мы стояли у водокачки.

— Школа? — удивилась я. — Вот так раз. А почему же в ней не учатся?

— Там сейчас госпиталь, — грустно пояснила женщина и добавила, поправив платок: — Перед самой войной построили. Только собирались открыть.

…Однажды к нам лезли воры. Кто-то ломился в дверь и кричал глухо:

— Нюрка, открой, дура!

Мы были дома одни: сосед куда-то ушел. И бабушка сказала дрожащим голосом:

— Никакой Нюрки здесь нет. Дома только я, больная женщина, и двое детей.

Стук прекратился. Наверное, воры удалились на совещание. Бабушка несколько раз подходила к дверям и прикладывала ухо.

Потом в дверь снова забарабанили.

— Нюрка — это их хитрость, — сообразила бабушка, — это они для отвода глаз придумали.

Она влезла на табуретку и, высунув голову в форточку (наши окна выходили на улицу, и довольно людную), стала окликать прохожих.

— Будьте добры, — говорила она, — вызовите, пожалуйста, милицию, а то к нам лезут воры.

Какой-то мужчина захохотал. Какая-то женщина завела разговор с бабушкой.

— Боже мой, — говорила она, — какое страшное время. И вы действительно одни дома? Напасть на старую женщину с больными детьми (с чего она взяла, что мы больные?)… Разве это могло быть в прежние времена (какие прежние? До войны? Или в царские?)… Храни вас бог! — И женщина удалилась.

Наконец кто-то все-таки вызвал милицию.

Мы долго не открывали: боялись, а вдруг это воры придумали новую хитрость — выдают себя за милицию. В конце концов, после долгих переговоров, открыли.

— Ну, что здесь происходит? — спросил толстый милиционер.

Их пришло двое, плотных, важных, величественных. Один вел на привязи овчарку.

— Собачка! Маленькая… — запричитала Эля и — ой! — отскочила, потому что собака ощетинилась.

Милиционеры, конечно, никого не поймали, потому что воры уже убежали.

Нам жилось трудно. От мамы почему-то не было ни писем, ни денег. Пенсии за отца не хватало. И бабушка вдруг вспомнила, что в юности она прекрасно рисовала и даже в гимназии получила приз за лучший рисунок. Только что*о* рисовать и на чем? Бабушка думала и наконец придумала. Она купила в аптеке детскую клеенку, вырезала из бумаги трафарет… Так появились детские коврики с зайчиками и котятами. Бабушка быстро уловила требования публики: к Новому году она рисовала зайцев под елкой, к Первому мая — зайцев с флажками.

Каждое воскресенье бабушка продавала коврики на рынке. В поселке она подружилась с одной женщиной и тоже научила ее рисовать. Вдвоем продавать было веселее. Правда, иногда бабушка жаловалась нам:

— Подходит ко мне покупательница. «Какая прелесть, — говорит. — Сколько это стоит? Десять рублей? А как отдать?» А она подскакивает (она — это бабушкина приятельница) и говорит: «Я вам уступлю. Берите за девять». Вот она, человеческая благодарность, — разводила руками бабушка.

Мы с Элей всегда с нетерпением ждали бабушку с рынка. Уже все было съедено: и холодные картофелины, и хлеб. Эля ногтем соскребала со сковородки что-то черное: то ли остатки подгоревшего жира, то ли гарь, пахнущую жиром, а потом обсасывала палец.

Она никогда не хныкала, никогда не просила есть — понимала, что нечего, и только боялась: вдруг бабушка больше никогда не придет.

— Пошли встречать, — просила она.

— Мы ведь только что ходили, — отвечала я.

— Ну и что же? Может, она уже идет.

Я закутывала Элю, и мы выходили в темную улицу: фонари в войну зажигались редко.

— Смотри, по-моему, это она! — радостно восклицала Эля.

Я вглядывалась в темноту.

— Нет, — вздыхала я, — не ее походка.

А иногда, почти угадав бабушку, мы обе молчали — боялись обмануться. И только когда она была уже близко, с криками бросались к ней. Я пыталась снять у нее со спины вязанку дров, а бабушка не давала и предлагала сумку — та была легче.

— Ах вы, дурочки мои, — говорила бабушка, и голос у нее становился растроганным. — Ну что со мной может случиться? Сегодня на рынке облава была. Все всё попрятали. А меня, если и заберут, выпустят: какой со старухи спрос?

Бабушка выкладывала на стол мясные кости, картошку, иногда еще кислую капусту и клюкву: выменивала у деревенских на коврики. Картошка продавалась кучками, дрова — вязанками, а молоко зимой — застывшими кругами льда.

В нашей комнате стало уютней: бабушка купила на рынке абажур (а то висела на шнуре голая лампочка); правда, свет давали редко, больше сидели с коптилкой. Абажур был зеленый, из тонкой бумаги «в гармошечку». «Гофрированный», — сказала бабушка.

Как-то принесла мне ботинки. Я была на седьмом небе от счастья. Ботинки рыжие, толстые, со шнурками. Не то мальчишечьи, не то девчоночьи — не разберешь. Эля мрачно молчала, глядя на мои ботинки. Я нарядилась и пошла гулять за калитку. Эля — за мной. И все — молча. Я расхаживала, подпрыгивала и все время будто случайно бросала взгляд на свои ноги. Эля крутилась тут же и вдруг наступила мне на ногу.

— Ты что, слепая? — сказала я. Она промолчала. А потом вдруг снова наступила. Я нагнулась и стала тереть ладонью испачканный ботинок. Мне стало жарко от возмущения. Я была уверена, что она наступает нарочно — завидует моим ботинкам.

С каждым разом бабушке все труднее становилось ходить на рынок. Однажды утром она встала с постели и упала. Я подбежала к ней, чтобы помочь ей подняться, и вдруг почувствовала, что могу донести ее до кровати — такая она была легкая. У нее начиналась дистрофия.

Вечером с рынка пришла та самая бабушкина приятельница. Всегда шумная и энергичная, она стояла над бабушкиной постелью и только качала головой. А в ногах сидела Эля и смотрела на нее с надеждой. В комнате было темно, ставни закрыты, и только тени от коптилки (почему такие огромные от такого маленького света?) метались по стенам и потолку.

Утром та женщина принесла пузырек с золотистой жидкостью: на дне ее колыхался мутный густой осадок.

— Вот, достала, — сказала она. — Будешь пить рыбий жир — встанешь на ноги.

И действительно, бабушка наливала рыбий жир прямо в суп, и это ее спасло.

…Много времени прошло с тех пор. Война кончилась, и детство кончилось, потому что ничто на свете не бывает всегда.

Мы снова соединились: мама, бабушка, Эля и я. Только отец не вернулся с фронта.

Мы уехали туда, где жили до войны. И только изредка вспоминаем эвакуацию.

— Ненавижу этот город, — говорит бабушка. — Даже вспоминать страшно. И как мы только выжили тогда?

«Дорогой мой город, город солнца, детства, необыкновенных весенних ручьев», — с нежностью думаю я.

Как-то я была в нем проездом. Взяла такси и поехала с вокзала на свою улицу. Все на ней осталось прежним. Было странное чувство: словно время застыло.

— Это потому, — сказал мне шофер, — что город застраивается в другом направлении. Там целый второй город вырос.

Я вышла из машины, чтобы потрогать серый забор, и, как прежде, не нашла в нем ни щелочки.

Был апрель, бузина еще не цвела. Она стояла сухая и черная. Но это была та, та самая бузина, которая видела меня маленькой. И я сорвала сухую веточку и взяла ее с собой.

…Как-то дома мы с моей институтской подругой готовились к экзаменам. Я раскрыла учебник и нашла эту веточку. Растрогавшись, я рассказала подруге, как нам жилось в войну, и даже, вытащив откуда-то, показала ей коврик, детский коврик с

зайцем под елкой, желтый от времени (мы его сохранили на память).

— Какая безвкусица! — сказала она. — Подумать только. Ведь вы приносили большой вред — портили людям вкус.

Графиня

— Вы к кому? — спросила я.

Женщина молчала. У нее было серое лицо. И мне вдруг показалось, что она неживая. В страхе я попятилась назад и бросилась в комнату:

— Бабушка, у нас на кухне кто-то сидит.

— Кто «кто-то»? Чужой? — ахнула бабушка и побежала на кухню. Я, конечно, за ней.

По-моему, женщина сидела все так же. Глаза у нее были закрыты. И только лицо, когда она услышала наши шаги, как будто дрогнуло.

— Вы к кому? — так же, как и я, спросила бабушка.

И тоже не получила ответа.

Бабушка растерялась. Она посмотрела на меня вопросительно, как будто я могла что-то объяснить. Потом вздохнула. В это время раздался скрип ключа в скважине и вошла наша соседка Марзея. Бабушка сразу успокоилась.

— Вот, — сказала она Марзее, — захожу в кухню — и пожалуйста… Наверное, Эля забыла запереть дверь.

Марзея не спеша поставила на пол сумку с продуктами и осмотрела женщину. Мы молчали.

— Притворяется, — наконец объявила Марзея. Голос у нее звучал решительно. — Они теперь на все идут. (Я похолодела: они — это были бандиты.) То за кошек мяукают (я сразу вспомнила ужасающий рассказ о черной кошке), то нищенками прикидываются.

— А вдруг она больная? — подала голос Эля. Она неожиданно выросла за бабушкиной спиной и теперь стояла, вытягивая свою длинную шею из шарфа, которым было обмотано горло. У Эли была ангина.

— Больная? — повторила Марзея. — Вон Ивановы тоже — впустили, пожалели. Старушка была, не то что эта. Думали: ну какой от нее вред? А утром хватились — ни карточек, ни вещей…

Женщина зашевелилась. Она вдруг открыла глаза и как-то пусто посмотрела на стену.

— Постойте, постойте, — насторожилась Марзея. — А она не сумасшедшая? Да-да, не удивляйтесь, — обернулась Марзея к бабушке. — Сейчас, знаете, из сумасшедших домов выпускают. Кормить-то нечем, вот и выпускают. Чтобы они себе сами пропитание искали.

— Господи, — совсем разволновалась бабушка, — еще зарежет ночью. Мало ли что умалишенному в голову придет. А у меня дети. Ну-ка, марш отсюда! Эля, а тебе разрешили встать?.. — И бабушка стала спешно выдвигать ящики буфета, выгребая оттуда ножи и вилки.

— Не бойтесь, — вдруг тихо сказала женщина. — Я не оттуда.

У бабушки от неожиданности нож выпал из рук.

— Мужчина придет, — сказала Марзея с уверенностью…

— Какой еще мужчина? — прямо-таки застонала бабушка. — Не нужен нам никакой мужчина.

Действительно, у нас в этом городе и мужчин-то знакомых не было.

— Все ясно, — заключила Марзея. — Мужчина — это ее привод. Мы как уснем, она его и впустит. Ну, дверь ему откроет.

— Нет-нет, — сказала бабушка и решительно подошла к женщине. — Вы уж, пожалуйста, уйдите. Сделайте одолжение. Вот так… сейчас я вам помогу, потихонечку, полегонечку… — говоря так, бабушка подталкивала ее к дверям. — У нас ведь кухня не отапливается. Вы лучше в соседний подъезд ступайте, постучите в первую дверь направо. У них и печка на кухне, и передняя теплая. Постучитесь, может, пустят. Там и погреетесь.

Говоря так, бабушка вывела женщину на лестницу и быстро захлопнула за ней дверь.

— Смотрите у меня, никому не отпирайте, — предупредила Марзея и строго посмотрела на нас из-под своих угольных бровей.

Мы вернулись в комнату. Эля легла в постель. Я села за уроки. Бабушка вернулась к картофельному тесту — оно стало совсем коричневым. Все почему-то молчали.

— А может, она совсем и не нищенка, — вдруг изрекла Эля. — Может, она, наоборот, графиня.

Я прыснула.

— И нечего смеяться, — обиделась Эля. — Если хочешь знать, так очень часто бывает.

— Что графиня притворяется нищенкой? — съязвила я. — Ты что, сама видела или вычитала где?

— Не обязательно графиня. Я вообще говорю. Между прочим, — не сдавалась Эля, — она похожа на графиню. Они всегда такие бледные. Это потому, что они уксус пьют. Не веришь?

— Не болтай глупостей, — не выдержала бабушка. — Графинь теперь нет.

— А куда же они делись? — спросила Эля. — Ведь не может быть, чтобы все исчезли. Хоть одна должна была остаться.

— Помолчи, — сказала бабушка. Она определенно была не в духе.

Меня вообще-то тоже интересовал вопрос, куда могли подеваться все графини. Но я не решилась спрашивать.

А ночью мне приснился сон: будто на улице поднялся страшный ураган. Молния так и сверкала. Деревья трещали от ветра. И вдруг в окно кто-то постучал.

— Кто там? — спросила я, дрожа от страха.

— Это я, графиня, — раздался слабый голос. — Открой мне дверь, девочка.

— Я не могу, — зашептала я, — бабушка не велела никого впускать.

— Но это же я, графиня. Ты что, не узнала меня? Я промокла до костей. Кажется, у меня начинается воспаление легких.

— Но бабушка спрятала куда-то ключ, — в отчаянии зашептала я.

— Тогда открой окно. Только поторопись, девочка.

— Как же я открою окно? Ведь мы уже поставили вторую раму. А вы не смогли бы влезть в форточку?

— Не знаю… — сказала графиня растерянно. — Я никогда не лазила в форточки. Но я попробую…

Я вскочила с постели и стала ощупью пробираться к окну. В темноте я наткнулась на стул, и он повалился. Раздался ужасный грохот.

— Что такое, что случилось, кто-нибудь лезет? — закричала испуганная бабушка.

И тут я проснулась. Я действительно стояла на полу около упавшего стула. А за окном, замороженным и пушистым, плыла светлая, тихая ночь. Ни молнии. Ни урагана. Ни графини.

— Да нет, бабушка, это я, — сказала я и нырнула под одеяло.

Утром я проснулась и все забыла.

Бабушка жарила картофельные оладьи. Эля выреза*а* ла из бумаги кукол, радуясь тому, что у нее ангина и можно не идти в школу. А на стекле блестели под солнцем целые джунгли, нарисованные морозом. И я подумала, что, когда вырасту, обязательно стану путешественником, как Миклухо-Маклай.

Я уже хотела поделиться с Элей этой мыслью, как вошла хмурая Марзея и сказала, что женщину ту нашли в соседнем подъезде мертвой и что труп был совсем замерзшим, аж стучал.

Ночь моего рождения

— Ты родилась перед рассветом, — сказала мне мама, — в ночь на Седьмое ноября, в самый канун праздника. И наш дедушка предложил назвать тебя Октябриной. Как сейчас помню: стоит он под окном роддома, худой, в ватнике, в валенках, подшитых кожей, бородка клинышком, как у Калинина, и плачет. Рад был, что дождался правнучки. Я ему что-то кричу, руками на стекле показываю, а он не слышит, не понимает: ведь стекла-то двойные. А форточки открывать не разрешали. Потом записку прислал: мол, поздравляю с Октябриной. А мне было весело, так весело, как, может, никогда потом не было: и оттого, что ты уже родилась, и оттого, что праздник, и флаги, и солнце, и снег, и на тротуаре обрывки бумажных цветов — малиновые, красные, васильковые — на снегу… Я взяла и написала дедушке стихами: «Коль вторым родится сын, он и будет Октябрин. А пока прими Наташу и учись варить ей кашу».

Но дедушке так и не удалось ввести в нашу семью Октябрину. Он и мне пытался дать это имя. А когда появилась на свет ты, да еще накануне Октябрьских праздников, тут уж дедушка совсем разошелся; он заявил, что все равно будет воспитывать тебя в революционных традициях и когда тебе исполнится шестнадцать и ты пойдешь получать паспорт, то сама пожелаешь изменить свое имя.

Бедный дедушка, он так и не дожил до этого дня. Собственно, мне он приходился уже прадедушкой, но, пренебрегая степенью родства, я, конечно, называла его дедушкой. Я помню его совсем старым, но высоким и стройным. Только лицо все в мелких морщинках. Посмотришь со спины — юноша. Посмотришь с лица — старик. Был он очень добрый, пожалуй, добрее всех, кого я знала в жизни. Но жил на свете один человек, которого он ненавидел всей душой. Это был татарин Абдула, его сосед. Я не знала причин этой взаимной ненависти. Помню только, что при одном упоминании имени Абдулы дедушка начинал трястись. Но самое интересное заключалось в том, что их собаки тоже ненавидели друг друга. У дедушки был Тузик, а у Абдулы — Мальчик. Тузик был похож на ящерицу: длинный, коротконогий, с рыжими подпалинами. А Мальчик — вертлявый и визгливый. Стоило со своей стороны двора показаться Тузику, как из-под крыльца сейчас же выныривал Мальчик. И сразу же двор наполнялся странными звуками, как будто в кране булькала вода и никак не могла прорваться наружу. Так часами стояли они друг против друга и булькали. И только иногда этот сдавленный хрип прорывался лаем. При этом они неудержимо рвались друг к другу, но, соблюдая неприкосновенность границ, каждый оставался на своей территории. Со стороны это выглядело очень смешно: собаки дергались на месте, словно их сдерживала невидимая привязь.

Когда мы с дедушкой отправлялись на прогулку и вдруг в конце улицы показывалась коренастая фигура Абдулы, дедушка, темнея лицом, отворачивался, чтобы не впасть в соблазн. И только, сплюнув, говорил в сердцах: «Тьфу ты, пся крев!» И это звучало как «Сгинь ты, нечистая сила!»

Абдула же не отворачивался, а, наоборот, норовил столкнуться с нами нос к носу. При этом он презрительно цедил: «Каторжанин». Этого уж дедушка не мог выдержать, ведь Абдула оскорблял его лучшие чувства. И они начинали смешно топтаться друг против друга, как драчливые петушки. А вокруг бегали Тузик и Мальчик и яростно хрипели.

Каторжанином Абдула называл дедушку потому, что еще в царские времена дедушка, ткач из польского городка Згерж, был сослан на Сахалин в каторжные работы за участие в революционной организации «Пролетариат». Следом за ним

приехала его молодая жена с грудным ребенком. Подумать только, этот грудной ребенок и есть моя бабушка.

…Дедушка очень любил Некрасова и, когда читал «Русские женщины», — плакал. Меня всегда удивляло, что революционер может плакать. И вообще я совсем не такими представляла бойцов революции. В моем представлении все они похожи на скульптуру Ленина в нашем сквере, который мы ласково называем «ленинский садик» и весной, когда чуть пригреет солнце, так любим играть в мяч на теплом граните постамента.

Так вот, я никогда не думала, что революционер может плакать. А дедушка плакал как ребенок. Его сморщенное лицо делалось еще более сморщенным. В морщинах ручейками скапливались слезы, а дедушка и не думал их вытирать. По-моему, он просто не замечал, что плачет.

Дедушка любил возиться с землей. Часами копался он в саду и огороде: подстригал ветки, пересаживал деревья, ставил им подпорки, копал, сажал, окучивал… Взяв меня за руку, долго водил по участку. Больше всего меня привлекал малинник. Я залезала в самую глубину, где даже в ослепительный летний день было сумрачно, прохладно и сыро, как в подземелье. Здесь на мокрой черной земле догнивали черные ягоды. Багровые от спелости, они свисали с веток прямо мне в рот. Их совсем не прельщала участь их сестер, догнивающих на жирной земле. И потому стоило мне подставить рот, как ягода тут же шлепалась на язык.

Объевшись ягодами, я вылезала из кустов в знойный, сухой, солнечный полдень, где, щурясь от солнца, стоял мой дедушка, тоже сухой, высокий, с маленькой бородкой клинышком. И я бросалась к нему с таким чувством, словно вернулась из далекого далека.

А умер он зимой, когда колол дрова. Топор застрял в сучке. Дедушка изо всех сил размахнулся топором с насаженным на острие поленом, да так и упал вместе с ним лицом в снег. Это случилось за двенадцать лет до того, как я должна была получить паспорт и стать Октябриной.

Октябриной я так и не стала.

Но зато, когда город готовится к этому празднику, испытываю необычайное волнение и, замирая, смотрю, как в кузовах грузовиков везут свернутые флаги, как подтягивают вверх

транспаранты, как укрепляют вокруг них лампочки, чтобы вечером они вспыхнули ярко и весело. Наверное, дедушка был прав: во мне все-таки живет частица Октябрины. Да и как же иначе! Родиться накануне такого дня, соединить в себе два праздника — и всенародный, и свой личный — не каждому такое везенье. Смотреть на цветные огоньки, на летящие по ветру флаги, на воздушные шары, рвущиеся в холодное, ясное сапфировое небо, и думать втайне, что это для тебя, ради тебя, в честь тебя…

И в этот вечер в канун праздника мы с мамой, как всегда, пошли смотреть иллюминацию. Молча прошли мы по темным пустынным улицам (ведь война, электричество надо экономить) и вышли на главную. Тротуары уже покрылись толстым слоем снега. Морозило. Мама взяла мою руку, подышала на нее и сунула в свой карман. Так мы и стояли, как две подруги, с неизъяснимым волнением глядя на центральное здание города. В полутьме оно одно полыхало светом, как корабль в море. И над знакомыми и незнакомыми мне портретами, окруженными гирляндой огней, красным контуром горела пятиконечная звезда. Словно это море выплеснуло со дна свою звезду, как подарок, и то ли волнами, то ли ветром ее занесло в небо.

Вокруг нас — кучками и поодиночке — топтались люди. Одни уходили, другие подходили. Почти все молчали. А если и переговаривались, то шепотом. Все, как и мы, зачарованно смотрели на эти огни, на портреты в лучах света, на звезду. А какая-то старуха даже перекрестилась.

Позже, когда я выросла, в моей жизни было много праздников с неоновым светом, с бегом огней, с фейерверком салютов. Но едва ли они были лучше этой бедной иллюминации третьего года войны.

А ночью я не могла заснуть. Мне хотелось, чтобы скорее настало утро — утро моего рождения. Я так часто вскакивала и смотрела на часы, что бабушка наконец не выдержала. «Пока ты не уснешь, утра не будет!» — пробурчала она сквозь сон. Конечно, бабушка не вкладывала в эту фразу никакого другого смысла, кроме того, что мне надо спать. Но в моем разгоряченном воображении сейчас же возникла картина вечной ночи. «А что, если я так и не усну?! — с ужасом подумала я. — Значит, утра не будет никогда. Не будет ни света, ни солнца, ни голубого неба, ни демонстрации. Ничего не будет. Будет только эта ночь. Только

темнота. Только слабый, чуть различимый свет окна». Но тут мой рассудок запротестовал. «Ну хорошо, — подумала я, — я виновата. Но чем же виноват весь город, все люди? Ведь если утра не будет, то его не будет не только для меня, но и для них. Значит, из-за какой-то глупой девчонки весь город, а может быть, и весь мир останется в темноте, в вечной ночи. Но разве такое бывает, может быть? Конечно, нет!»

И я засмеялась тихим, счастливым, облегчающим смехом. А успокоившись, не заметила, как уснула.

Проснулась я неожиданно и сразу, словно кто-то толкнул меня изнутри. В комнате было тихо и темно. Все спали. Только квадрат окна слабо светился, и я подошла к нему, сама не знаю зачем.

Там, за окном, была та же особенная тишина, которую называют мертвой. И действительно, город словно вымер: ни души, ни ветерка. Дома, палисадники, трубы без дымов, столбы с погашенными фонарями, заборы и деревья — все было полно такой неподвижности, как будто город окаменел и я в нем единственная живая душа.

Я смотрела в окно и ничего не узнавала. Вот белая стена молочного комбината… Вот черная будка сапожника… Но разве это та самая стена, на которой кусочком угля мы рисовали человечков? И разве это та будка, где толстый усатый армянин чистил мне ботинки?

Передо мной был совершенно другой мир, ничем не похожий на тот, дневной, который я знала и любила. И это было как два разных города. Два материка. Две земли. Две жизни. Две меня. Потому что и я сама была другая. Смутное предчувствие коснулось моей души: я поняла, вернее почувствовала: то, что я увидела, нельзя рассказать днем. И то, что происходит днем — и наши игры, и работа взрослых, — все это кажется бессмысленным ночью.

Так я стояла, приникнув к подоконнику. Тело мое сделалось легким, а голова кружилась, словно это земля, вращаясь, увлекала меня за собой. Конечно, она вращалась и днем. Но в играх и заботах дня разве могла я почувствовать это кружение?

И вдруг в этой неподвижности что-то произошло, сдвинулось… Где-то в глубине, еще не прорвавшееся на поверхность, началось движение, словно перемещение слоев в колбе алхимика.

И вот небо стало похоже на огромную чашу, в которой сначала медленно, а потом все быстрее начало закипать вещество, сложное по составу. Его первый, нижний слой был еще черным, как все вокруг. Но в этой черноте уже угадывались оттенки всех следующих слоев.

Потом черный цвет расслоился, распался… Темно-багровый перелился в фиолетовый, фиолетовый — в малиновый, малиновый — в розовый.

Слои лежали спокойно и величаво, не смешиваясь, гордо храня свою отъединенность.

Но вот словно кто-то невидимый прибавил снизу огня. И враз, как это бывает в кипящей посуде, все забурлило, смешалось, вспенилось. Заклубились облака, устремляя в небо прозрачные, легкие, испаряющиеся дымки.

И вдруг все погасло.

Только блеклый белый свет равномерно разлился повсюду. Стена молочного комбината снова стала стеной молочного комбината. А будка сапожника — знакомой мне будкой. С неба посыпался мелкий снежок. И одинокая кошка с тощим и длинным туловищем, пугливо озираясь, быстро пересекла дорогу и нырнула в приоткрытую дверь подъезда.

Все стало как всегда. Только мое тело, еще минуту назад невесомое, словно готовое улететь, как воздушный шарик, вдруг так отяжелело, что я с трудом дотащилась до постели и рухнула в нее камнем.

Качели

Почему в той комнате висели качели? Не во дворе, не в саду, не в лесу, а в жилом доме. Но они были. Я не придумала их. Они были настоящие — широкая доска, толстые веревки на кольцах. И комната, наверное, была большая, просторная, с высоким потолком, потому что когда я раскачивалась на этих качелях, то получался такой размах, как будто это была не комната, а поляна.

И никакой тесноты. Ничто не лежало, не обступало, не громоздилось вокруг: ни столов, ни диванов, ни комодов. А может, комната была пустая, без вещей?..

Я помню, быть может, первую свою зависть. И вызвана она была не качелями (ведь на них мне разрешали качаться сколько

угодно), а пальто Лики, прекрасным, густо-розовым трофейным пальто из материи шишечками. Это пальто прислал Лике отец с фронта.

И хотя я не совсем понимала, откуда на фронте, там, где стреляют и убивают, могло взяться детское розовое пальто, все же я верила Лике и никому не высказывала своих сомнений.

А потом Лика показала мне открытку, где красивая женщина нежно смотрела на красивого мужчину, а между ними был голубь, и тоже сказала небрежно: «Папа прислал».

И я подумала, что качели, наверное, тоже прислал этот необыкновенный папа. Наверное, он специально приезжал с фронта, чтобы повесить для Лики эти высокие качели, а когда привесил, то снова уехал на фронт сражаться с фашистами.

И мне становилось досадно и даже немного стыдно за своего отца, который не только не прислал мне розового пальто, не только не приехал, чтобы сделать качели, но даже и писем-то не писал. И мне нечем было погордиться перед Ликой, и потому я только молча отворачивалась, когда она выходила во двор, держа в руке белую булку с колбасой, и долго, очень долго жевала эту булку. Я уже смутно чувствовала, что спрашивать ничего не надо, а надо смотреть куда-нибудь в сторону, мимо булки, а еще лучше отойти от Лики с независимым видом. Но Эля еще не понимала и однажды спросила:

— А булку с колбасой тоже отец прислал?

— Какие глупости, — сказала Лика. — В посылке можно присылать только консервы. Например, сгущенку. Ела?

Эля сглотнула слюну и замотала головой.

Глядя на Лику, мне все больше и больше хотелось, чтобы вернулся мой отец. Конечно, не ради колбасы или пальто. Просто мне хотелось что-то доказать Лике, а что — я и сама толком не знала.

И вот однажды, когда вечером я, как всегда, играла во дворе и случайно взглянула на наше окно, я оторопела: в окне был свет. Конечно, в этом не было бы ничего удивительного, если бы я не знала, что мама еще засветло ушла на вечернее дежурство, а бабушка отправилась в гости. Я сама посадила ее на трамвай. Что касается Эли, то она должна была играть где-то во дворе, ей еще не доверяли ключи. И тогда я поняла, что это вернулся отец. Сначала я

не поверила своей радостной догадке. А потом сразу поверила: кто же еще мог быть? Ведь чужой не войдет.

Я пошла к дому по нашему темному двору, не спуская глаз с окна, натыкаясь на кирпичи, спотыкаясь о консервные банки. Я не смотрела под ноги, потому что боялась: вдруг оторву глаза от окна, потом посмотрю снова, а света и нет. Наверное, я была похожа на лунатика, потому что Ленька, соседский мальчишка, на которого я наткнулась, сказал: «Ты чего, спятила?»

Прежде чем зайти в подъезд, я остановилась. Ведь сейчас, пусть ненадолго, мне предстояло расстаться с окном, и это пугало меня. За моей спиной был двор, в котором я выросла. Большой двор большого коммунального дома, с сараями, с дровами, за которыми мы любили прятаться, с водокачкой, с сырым бельем, развешанным на веревках, с лужами мыльной пены, с тремя тополями, посаженными моим отцом.

Сейчас этот двор был черен и пуст, и я, повернувшись к нему лицом, постояла перед ним, сама не знаю зачем. У меня была странная привычка как-то без слов разговаривать с неодушевленными предметами. Так вот, я постояла перед этим двором, как будто он был моим сообщником и понимал меня. А потом сразу нырнула в подъезд, задыхаясь, пробежала темную переднюю, больно ударившись коленом об угол сундука, и рывком толкнула дверь.

— Ты что это, бежала от кого? — спросила мама.

— Ой, не могу, какая ты смешная, — захихикала Эля, — посмотри на себя в зеркало.

— А меня попросили завтра подменить первую смену, а сегодня отпустили, — сказала мама. — Сейчас чай будем пить. Вприкуску. Я сахар достала. Давайте чистую скатерть постелим, раз уж сегодня такой день.

— Какой день? — спросила я мрачно.

— Ну как какой… — смутилась мама. — Вроде как выходной получился. Неожиданная радость — она вдвойне ценится.

— Мама, — сказала я угрюмо, — а почему у меня нет розового пальто?

— Какого еще пальто? — удивилась мама.

— И качелей, — продолжала я упрямо.

— А я знаю, — радостно закричала Эля. — Это она Лике завидует.

— Ах, Лике, — огорчилась мама. — Это той, у которой качели в комнате? Но ведь это очень вредно для дома, когда в комнате качели. От этого потолочные балки расшатываются. Им, видно, чужого не жалко. Как приехали, так и уедут…

Моя прекрасная дама

Больше всего на свете мы любили собирать стеклышки. В нашем дворе их водилось сколько угодно. Можно было подумать, что в каждой семье за вечерним чаем непременно разбивается сервиз, а утром покупается новый, а вечером снова разбивается, и так без конца.

Мы ходили по двору, опустив головы, как лошадки, щиплющие травку, и глядели в землю. Мы искали стеклышки, как ищут грибы. Удача могла настигнуть в любую минуту, в самом неожиданном месте, но чаще всего на помойке. И потому помойка стала для нас самым заманчивым местом. Утром, наскоро позавтракав под напором бабушек, мы бежали туда. Мы обходили помойку вокруг: присматривались, приглядывались, примеривались. И скок — драгоценный осколок уже прикрыт ладонью, а глаза в это время жадно шарят вокруг в поисках новой находки. А какое наслаждение оттирать стеклышко от грязи, высвобождая рисунок! Не водой, конечно. И не носовым платком — такого у нас и не водилось. А просто поплевать на стеклышко, а потом тереть и соскабливать присохшую грязь.

Рисунки попадались всякие: и цветы, и золотые узоры. Иногда даже маркизы в пышных кринолинах и голубых напудренных кудрях. Правда, большей частью они оказывались или без ног, или даже без головы. Но это было еще заманчивее. Подумать только: маркиза без головы. Это вам не какой-нибудь всадник без головы. Можно неделю ходить и думать: а какое у нее было лицо, а какие локоны, — и сочинять истории, от которых захватывало дух.

Как-то я нашла стеклышко. Из-за него-то все и началось. Это было совсем необыкновенное стеклышко. На нем была изображена почти голая дама. Она лежала в густой траве, лениво и небрежно протянув руку к ветке, усыпанной золотистыми яблоками. Ее тело,

чуть прикрытое чем-то белым и легким, было так красиво изогнуто, словно она сама вовсе не дама, а гибкий розовый стебель.

Я была в восторге от своей находки. Но Эля взглянула и процедила сквозь зубы:

— Ерунда!

— Сама ты ерунда! — отпарировала я, уверенная, что Эля просто завидует мне.

Но подошла Люся, посмотрела и фыркнула.

— Где уж нам! Ты одна понятливая, — ехидно заметила Эля.

— Ну где ты такое видела? — добавила Люся. При этом она так презрительно взглянула на мою даму, что та словно как-то съежилась, померкла, и на ее розовом теле проступили мелкие трещинки.

— Я и маркиз не видела, — резонно заметила я.

— Маркизы — это другое дело. Они на самом деле жили, — сказала Эля.

— Ну и она тоже жила, — не сдавалась я, испытывая потребность защитить свою даму.

— Ха-ха-ха! — сказала Эля и ткнула в меня пальцем.

— Ха-ха-ха! — как эхо подхватила Люся и сделала вид, будто не может устоять на ногах от смеха.

Я не выдержала. В глазах у меня потемнело.

— Дуры! — выкрикнула я с бешенством и бросилась бежать.

В конце нашего двора были сложены штабеля дров, целые стены из поленьев, и я спряталась за ними, как в крепости. Здесь стояли ко*з*лы и нежно пахло свежими опилками. И я легла животом на эти опилки, теплые от солнца, и положила перед собой свое стеклышко. Розовая дама нежно улыбалась — то ли мне, то ли облаку над головой. И я подумала о том, что этот рисунок — правда. И чем дольше я смотрела на него, тем больше оживала дама. «Да, — думала я, — были такие времена на земле, когда зимы не существовало, и потому люди не носили никакой одежды и только для приличия чуть прикрывались чем-то легким и воздушным, как лепесток жасмина. И дом*а* были не нужны: люди спали на траве, под открытым небом. И керосинок не было, потому что никто не готовил обеда. Зато на каждом дереве росли плоды. Стоит только протянуть руку. И никто не будет тебя за это ругать, потому что всего много и все общее».

Наверное, я первая узнала о том, что существовали такие времена, ведь я нашла это стеклышко. Подумать только, я сделала открытие необычайной важности. Надо скорее бежать в школу и рассказать. А еще я подумала о том, как, должно быть, приятно ходить голышом. Без рубашек, без трусов, без сарафанов. Ничего не жмет, не натирает. Не надо ни стирать, ни гладить. А как хорошо, когда пригревает солнце и обвевает ветер. И я очень пожалела, что не жила тогда.

Но потом я сообразила, что если бы я жила тогда, то, значит, не жила бы теперь. Вот сейчас, в этот момент, меня бы не было, нигде не было, совсем не было, не существовало. Я бы не лежала сейчас на теплых опилках, не болтала ногами, не смотрела на свое стеклышко, не вдыхала такой прекрасный, такой любимый запах дров.

Была бы только пустота. Черная-черная. Я зажмурила глаза — и мурашки побежали по телу. Тогда я скорее открыла глаза, сильно-сильно, прямо-таки вытаращила их, вскочила на ноги и стала трясти головой, чтобы вытрясти из себя эти дурацкие мысли.

Моя дама, розовая на белом стекле, улыбалась нежно и загадочно, как будто она владела какой-то тайной и знала, что будет жить вечно.

Косой луч солнца прошел сквозь просвет среди сложенных поленьев и лег на опилки. Они вспыхнули, как рассыпанные крупицы золотой пыли. И я остро почувствовала, как люблю этот луч, эти дрова, эти опилки, этот двор, и Элю, и Люсю, так люблю, что ни за что никогда не расстанусь с ними. А если?.. — и сердце екнуло, оборвалось… Было тихо, спокойно и… страшно.

— Эй, вы! — закричала я, выбегая из своего укрытия.

Эля и Люся со всех ног мчались ко мне от помойки. Они, наверное, подумали, что я опять что-то нашла.

Я не ошиблась.

— Нашла? — проговорила Люся, задыхаясь от быстрого бега.

— Угу, — промычала я.

— Покажи, — сказала Эля, и глаза ее загорелись.

— Потом, — сказала я небрежно. — Давайте лучше мостик делать. — И я стала валяться по траве, и ходить колесом, и кувыркаться как ошалелая.

А когда пришла домой и сунула руку в карман, то обнаружила, что он пуст. Стеклышко с дамой пропало. Наверное, я обронила его, когда делала стойку.

Но, странно, эта потеря не огорчила меня. Я быстро забыла и свою прекрасную даму, и то, что испытала там, за штабелями дров, и вообще весь этот длинный-длинный день. Потому что впереди были другие дни, яркие, как цветные стеклышки, вспыхивающие на солнце. И дней этих было много-много-много…

Рыбинские, или веселая Эльвира

В конце концов стеклышек накопилось такое количество, что держать их в комнате стало просто невозможно.

Правда, моя бабушка, в отличие от Люсиной мамы, не грозилась ежеминутно выкинуть их обратно на помойку, но все же я сама понимала: это уж слишком. Станешь что-нибудь доставать с гардероба, а оттуда на голову градом сыплются стекла. Сунешь ногу в туфлю и — раз! — напорешься на стекло.

И тогда я собрала свою коллекцию, насыпала в мешок из-под картошки, а мешок поставила на кухне, в угол.

И вдруг однажды, забредя зачем-то на кухню, я тихо охнула: мешка не было. А на его месте стоял новенький желтый веник.

— Бабушка! — завопила я, влетая в комнату. — Ты куда дела мой мешок?

— Не ори, — рассердилась бабушка. — Не брала я никакого мешка.

— Но куда же он мог деться? — чуть не плакала я. Еще бы, целых два лета собирала я эти стеклышки.

— Поищи получше. Сама, наверное, переставила и забыла. Кому нужно такое добро?

— Как это переставила, как это забыла? Что я, сумасшедшая, что ли?

Еще вчера вечером он был. Я еще туда три новых стеклышка бросила.

Целый день я ходила мрачная и не могла забыть про свой мешок. А вечером бабушка рассказала об этой пропаже маме:

— Я уж думала, Марзея выбросила — так нет, говорит, не трогала.

— Да это Рыбинские. Их рук дело, — сразу догадалась мама. Она была в нашей семье самая прозорливая.

— Нужны им стеклышки, — отмахнулась бабушка.

Но мама и тут сообразила.

— А они думали, там картошка, — пояснила она.

И догадка ее была так проста, проще пареной репы, что никакого сомнения не оставалось: конечно, Рыбинские.

Я сразу обрадовалась, а потом подумала: чему, собственно, радуюсь, мешок-то не нашелся.

Рыбинские — это наши новые соседи. С тех пор как они к нам переехали, у всех стали пропадать разные вещи. В кухне ничего нельзя было оставить. Даже ведра с водой — и те держали в комнате, потому что Рыбинские бросали туда мусор.

Вообще-то фамилия их была Фомины: Клава Фомина, муж ее Петр Фомин и сын, лет двенадцати, тоже Петька Фомин. Были они все рыжие, особенно Петька. Угрюмые. Ни с кем не здоровались, не разговаривали. Только воровали. Даже Петька не ходил во двор играть с ребятами. Придет откуда-то — и шмыг в свою комнату.

А Рыбинскими их прозвали потому, что приехали они из Рыбинска. «Это воровской город, — сказала Марзея, когда у нас пропала первая вещь — тапочки. — Рыбинские все воры».

Мы с Элей даже рты раскрыли от удивления и страха. Подумать только, оказывается, есть город, где живут одни воры. Как встанут утром, так и принимаются воровать. Интересно, они воруют друг у друга или отправляются в другие места? Наверное, в другие. Вот Рыбинские к нам и нагрянули.

— А почему же их не посадят в тюрьму? — спросила Эля.

— Не пойман — не вор, — ответила Марзея.

И в самом деле, мы же ни разу не застали Петьку, сующего руку в нашу кастрюлю. А между тем как только бабушка опускала в кастрюлю сосиски, то обязательно вынимала оттуда… веревку. Мы знали точно, что это Рыбинские, а вот доказать не могли. Выходит, вор может свободно разгуливать по городу и все знают, что он вор, но никто не смеет подойти и сказать ему в глаза: «Слушай, а ты вор». Все знают это про себя.

Это было для меня потрясающим открытием. Я долго думала над этим и наконец предложила выследить Рыбинских, но Марзея

сказала, что это пустая затея, что их все равно не перехитришь, что нужно найти другой, особый метод. Но вот какой?

А вскоре за этим открытием последовало другое, еще более потрясающее. Оказывается, метод был.

Вот как это произошло.

В конце концов мы не выдержали натиска Рыбинских и позорно сдались, то есть переехали в другой дом.

Одной маминой знакомой, Эльвире, давно нравилась наша комната, большая и солнечная. Как-то, когда мы особенно жаловались на Рыбинских, она и предложила:

— Давайте меняться.

Мы прямо-таки обомлели.

— Эльвирочка! — только и воскликнула моя бабушка. Она, наверное, подумала, что Эльвира хочет пожертвовать собой ради нас.

— А как же Рыбинские? — сказала моя мама. — Да они вас по миру пустят. — И она с грустью оглядела богатую обстановку Эльвиры: деревянную кровать, новый шифоньер, огромное трюмо и ножную швейную машину — Эльвира была портнихой.

Но та только глазами сверкнула: мол, это мы еще поглядим, кто кого. И правда, Эльвира умела всех прибрать к рукам и при этом оставаться со всеми в хороших отношениях. Муж у нее был таким тихим, что я ни разу не слышала, чтобы он разговаривал. Спросит его Эльвира о чем-нибудь, а он в ответ подойдет и поцелует ручку.

А мать так оберегала ее покой, что, если заказчики, случалось, приходили раньше двенадцати дня, выпроваживала их со словами: «Эльвирочка спит». Эта маленькая сгорбленная старушка так любила свою дочь, что даже ради нее ходила собирать милостыню. Именно так это и было. Я сначала думала, что это чья-то злая шутка. Но однажды старушка сама сказала: «Эльвирочка так много работает. А муж у нее такой недотепа. Надо же помочь бедняжке. Вот я и собираю милостыньку, свет не без добрых людей. Вчера на яички насобирала. А сегодня мясник на рынке — очень порядочный человек — подозвал меня и говорит: „Возьми, мать“. И такой хороший кусок мяса дал, грудинку. Я уж и жаркое сделала».

И старушка посмотрела на меня с тихой гордостью. Вот, мол, как надо жить. Но что самое удивительное, Эльвира, которая стояла

тут же, не провалилась сквозь пол, не сгорела от стыда, даже не покраснела. А наоборот, засмеялась. Мол, если у старушки такая блажь, зачем ей мешать? Разве кому от этого вред? Некоторым, наоборот, польза. Эльвира вообще была веселой и смеялась по всякому поводу. И вот эта самая веселая Эльвира вместе со своим тихим мужем и заботливой матерью переехала в нашу квартиру, а мы — в ее.

Рыбинские встретили ее восторженно и в первый же день украли ножницы, крышку от швейной машины и пепельницу.

Потом у нее стали пропадать всякие мелкие вещи: то пуговица, то катушка ниток, то коробок спичек.

Бабушка, возвращаясь от Эльвиры, чуть не плакала.

— Боже мой! — восклицала она. — Ну и удружили мы им. Мне теперь стыдно смотреть ей в глаза, словно это я во всем виновата, словно я соучастница, ты понимаешь, соучастница преступления.

— Но она же сама хотела. Мы ведь предупреждали, — робко возражала мама.

— Она чистая, доверчивая душа. Она не знает жизни! — восклицала бабушка.

…Но веселая Эльвира, несмотря на мелкий ущерб в своем хозяйстве, становилась все более веселой. А Рыбинские — так те прямо лоснились от счастья. С них даже сп*а*ла их обычная угрюмость. Они, конечно, радовались потому, что у Эльвиры было чем поживиться. И оттого прониклись к ней даже чем-то вроде уважения.

Шло время. И однажды бабушка вернулась от Эльвиры в совершенном смятении.

— Что я вам сейчас расскажу, — торопливо начала она. — Нет, вы мне все равно не поверите…

— Поверим, поверим! — закричали мы, окружая бабушку.

— Так слушайте, — торжественно начала она. — Сижу я, значит, у Эльвиры. И вдруг заходит к ней — кто бы вы думали? — сам Петр Фомин. Остановился на пороге и говорит, да так почтительно: «Эльвира Валерьяновна, я вам дров наколол. Меленько. Как раз для вашей топки. Если что еще надо — скажите, я мигом…» Я ушам своим не поверила, — закончила бабушка и обвела нас торжествующим взглядом.

Каково же было наше удивление, когда в скором времени мы узнали, что Петька Фомин носит Эльвире воду, а Клавдия Фомина — картошку с рынка.

Но что самое главное, Эльвира теперь даже не запирала своей квартиры, а из общей кухни, откуда Марзею вытеснили Рыбинские, а Рыбинских, в свою очередь, Эльвира, сделала себе кухню-столовую: и обедали там, и гостей принимали.

— Какие чудесные люди эти Фомины, — говорила Эльвира. — Такие услужливые, на руках готовы меня носить, а уж честные! Пошлешь мальчика в магазин — он тебе копейка в копейку сдачу вернет. Я за ними как за каменной стеной.

И действительно, Эльвира даже перестала держать собаку. Какой же вор полезет в квартиру, где живут сами Рыбинские! Петр Фомин с его квадратной спиной и Петька Фомин с хитрющими щелочками глаз и вечно шмыгающим носом. Оба рыжие, патлатые, как костер на ветру. «Эльвира Валерьяновна — это человек», — внушительно заявлял Фомин-старший, Фомин-младший утвердительно шмыгал носом, а Клавдия торопливо вытирала руки о передник.

Мы ничего не понимали. Мы терялись в догадках. Пожалуй, если бы в один прекрасный день люди стали ходить вверх ногами, мы бы и то меньше удивились.

Никто не знал причины перерождения Фоминых. А веселая Эльвира, ставшая прямо-таки бешено веселой, в ответ на наши вопросы только заливалась смехом.

И лишь моя прозорливая мама, как всегда, докопалась до истины.

— А я, кажется, догадываюсь, что произошло с Рыбинскими, — как-то раздумчиво сказала она, когда мы теплым июньским вечером пили чай с вишневым вареньем.

Мы, конечно, сразу навострились.

— Эльвира не брезговала ими, как мы. А относилась как к честным людям. Настойчиво. Терпеливо.

— Ну уж, таких усовестишь, — засомневалась бабушка.

— Только и всего? — разочарованно протянула я.

— Почти, — ответила мама. — Но не совсем. Это, так сказать, суть. Но был у нее и свой метод. Он заключался в том, что она стала делать Рыбинским хорошее. Клавдии сшила платье, Петру-

старшему подарила портсигар. Он у нее папиросы стащит, а она ему портсигар. И при этом обращается к нему вежливо, по имени-отчеству. Вот они и встали в тупик. Как же это — злом за добро платить? И тоже стали делать добро. А тут уж и почувствовали себя людьми. Все-таки в каждом человеке живет доброе начало. Надо только докопаться до него, разглядеть, нащупать, отмести всякие наслоения. Ну, а для этого надо приложить усилия.

— Думаешь, Эльвира действовала в гуманных целях? — спросила бабушка.

— Не знаю. Да и не в этом суть. Скорее всего, она думала о своем спокойствии. Но в конце концов, так ли уж важно, как появилось дерево, с которого мы едим вишни: посадила ли его пионерка или кто-то случайно обронил косточку?..

Хозяйка луковой грядки

У меня было две бабушки: мамина мама и папина мама, приехавшие в эвакуацию позже. Первая жила с нами, и потому я считала ее своей; вторая — отдельно. Может быть, поэтому мне она казалась чужой.

Свою я любила и совсем не боялась. Чужую, наоборот, и побаивалась, и недолюбливала.

В комнате моей «чужой» бабушки мне нравились только полы. Были они из широких досок и ярко-желтые. Эти полы очень занимали меня. Мне казалось, что таких широких досок не бывает, и я ползала по полу в поисках того места, где они, по моему мнению, должны быть склеены. Как-то за этим занятием меня застала моя «чужая» бабушка. В тот раз я особенно увлеклась: ощупывала доски рукой, заслоняла от солнца ладонью, чтобы они не отсвечивали… И бабушка, споткнувшись о меня, спросила раздраженно: что я тут потеряла, неужели иголку? Надо сказать, что она больше всего на свете боялась потерять иголку и потом найти ее в супе. Я сказала, что ничего не потеряла и ищу вовсе не иголку, а то место, где склеены доски.

Бабушка посмотрела на меня как-то странно, а потом стала выпытывать, не разговариваю ли я во сне и не испытываю ли желания походить ночью по крыше. Я сказала, что нет, не испытываю, но она, по-моему, не поверила.

Пожалуй, кроме пола, мне ничего не нравилось у моей «чужой» бабушки. Она, конечно, этого не знала и, видимо, думала, что мне не нравится у нее абсолютно ничего. И потому сердилась на меня. Мне кажется, она бы стала относиться ко мне гораздо ласковее, знай она о том, какие чувства вызывает во мне хотя бы пол в ее комнате.

В отличие от моей родной, худенькой, маленькой и шустрой, эта была дородна и величава. И мне это тоже не нравилось. Конечно, я не могла признаться ей в своей нелюбви, но пыталась как-то выразить свой протест — например, ни за что не хотела с ней здороваться.

Еще по дороге к ней я наслаждалась предстоящей местью. Вот сейчас мы приедем, я сползу с санок, поднимусь на крыльцо. Мы постучимся в дверь, дверь откроется, и «чужая» бабушка, нисколько не меняя своей величественной осанки, скажет недовольно: «Что же вы так поздно? Уж обед подали». Она всегда говорила «обед подали», хотя и готовила, и подавала сама. У нее садились за стол минута в минуту, не то что у нас, и мне это тоже крайне не нравилось.

И вот тут-то моя родная бабушка посмотрит на меня: дескать, поздоровайся. А я сделаю вид, будто очень занята завязками своего мехового капора.

Тогда «чужая», потеряв терпение, дернет за эти завязки, так что голова у меня мотнется из стороны в сторону, будто хочет слететь вместе с капором.

Моя подтолкнет меня в спину, но я, словно не понимая, чего от меня хотят, нагнусь и начну стаскивать галоши с валенок.

И тогда моя бабушка как закричит:

— Ты что, забыла, что надо поздороваться?!

Но ведь я нисколько не боюсь ее. И гнев ее, и крик для меня — что с гуся вода. Мигом скину я валенки — и бегом в комнату, в шерстяных носках — по чистому, желтому, аппетитному полу.

…Как-то летом мы уже собрались уходить, как «чужая», провожая нас до калитки, спохватилась: «Что же я вам морковки не нарвала, да и помидоры уже почти поспели. Дойдут на подоконнике». И она повела нас за дом, в огород. А огород у нее был такой же ухоженный, аккуратный, как и комната в чужом доме, где она временно жила.

Я остановилась между грядками, а бабушки пошли дальше. Они выдергивали морковь, отряхивали ее, раздвигали кусты помидоров. А я стояла в стороне и носком сандалии подталкивала дождевого червя, чтобы он уполз с дорожки, где его запросто могли раздавить. Но червь не понимал моих добрых намерений и, свернувшись в клубок, притворялся мертвым.

Тогда я взяла его двумя пальцами и, размахнувшись, бросила на дальнюю грядку. И тут от восторга у меня перехватило дыхание…

Там, на дальней грядке, на толстом, сочном, неподвижном ярко-зеленом стебле, прямо, как стрела, невесомо и гордо стоял круглый прозрачный цветок. Он весь состоял из белых тычинок, которые словно бы не были ни к чему прикреплены, а держались в воздухе, не теряя, однако, своей формы — формы легкого, сквозного шара. Так стайка мошек образует иногда четкий правильный шар, и шар этот перемещается в воздухе, не распадаясь и не теряя своих очертаний.

Странный цветок был похож на одуванчик, и в то же время было ясно, что это не одуванчик, а совсем другое, самостоятельное растение.

Было в нем что-то гордое, даже надменное. Может быть, оттого, что рос он один, один-одинешенек. И я побежала к нему, не отрывая от него глаз, побежала по грядкам, утопая в мягкой земле, ломая кусты помидоров и топча укроп.

Меня пригвоздил к месту резкий окрик:

— Негодница! Вы только посмотрите, она вытоптала весь укроп! А я никогда, никогда не сажусь обедать без укропа. Сколько раз говорила: не смей ничего трогать без разрешения. Хочешь лука — так попроси.

Тут только я заметила, что стою на луковой грядке. И «чужая» бабушка стала рвать эти изумрудные острые стрелы и прямо-таки зашвыривать меня ими, словно хотела пронзить насквозь.

Но подоспела моя родная бабушка и грудью заслонила меня от этих живых стрел.

— Да нет, она не хочет лука. Зачем разорять грядку? Ей понравился тот цветок.

— Какой еще цветок? — гневно и даже вызывающе выпрямилась хозяйка луковой грядки. — Где вы видите цветок? —

И добавила гордо: — Я никогда не сажаю цветов. В наше время это слишком большая роскошь.

И она уничтожающе посмотрела на мою бабушку.

И моя маленькая добрая бабушка пробормотала униженно:

— Конечно, конечно, ты права. Но девочка (в растерянности она почему-то даже не назвала меня по имени, то ли боясь, что это еще больше взбесит хозяйку грядки, то ли пытаясь вызвать снисхождение к моему детскому возрасту)… но девочка имела в виду вот это… — И она робко показала пальцем на белую головку из тычинок, которая невозмутимо возвышалась посреди грядки.

— Какой же это цветок? — с полным презрением процедила хозяйка луковой грядки. — Это просто цветет лук.

В дождь на чердаке

Когда начинает накрапывать летний дождь и теплое небо спускается к нам совсем близко, мне почему-то всегда хочется спрятаться на чердаке. Мне хочется стать маленькой мышкой, которая, юркнув в щель, забирается в свою норку. Или гусеницей, что сворачивается под каким-нибудь листом. Или жуком, что прячется в коре дерева. Или детенышем кенгуру.

Мне хочется спрятаться так, чтобы меня никто не видел, но чтобы я видела все.

Вот по двору пронесся вихрь, клубя пыль. Вот уже, темнея, расползлись на асфальте две-три крупные капли. Вот вышла наша соседка, чернявая тетя Катя, которую дразнят цыганкой, и стала расставлять на земле свои неизменные горшки с цветами.

Конечно, все это я могу увидеть и просто стоя в подъезде. Но тогда и они будут видеть меня. А так получается, будто меня нет и в то же время я есть. Как будто я еще не родилась, но уже вижу. А еще я могла бы смотреть на двор из окна. Но и это не то.

Разве можно представить себе, что ты еще не родилась, если каждую минуту может войти мама и сказать: «Ну чего ты уставилась в окно? Дождя, что ли, не видела? Помой лучше посуду».

Да и вообще, даже если не войдет, разве можно представить себе, что ты еще не родился, если ты сидишь на том же стуле, на котором сидел вчера и позавчера?..

Другое дело чердак. Здесь в сумраке даже собственная рука может показаться другим существом. Здесь стучит дождь над самой головой, а все равно сухо. Здесь можно сидеть на корточках и дышать на паутину. Она будет колыхаться у самого твоего рта. Здесь можно вслух разговаривать с мухой, застрявшей в этой паутине. Например, так:

— Муха, а муха, как ты сюда попала?

— Я летела, летела, ударилась лбом о стекло, потеряла сознание — и вот…

— А если я тебя освобожу, ты не будешь прилипать к варенью на моем бутерброде?

— Ни за что! Честное слово. Ни я, ни мои дети, ни мои внуки, мы никогда больше не сядем ни на чей бутерброд.

— Нет, на Элин, пожалуй, можно.

— А Эля — это такая маленькая собачка, которая подпрыгивает и глотает нас?

— Нет, что ты!..

— А-а, вспомнила. Это такая старенькая старушка, которая везде привязывает свои липучки.

— Да нет же, Эля — это такая девочка, которая всегда норовит съесть самый большой бутерброд, хотя сама меньше всех.

— А-а! Должна тебе сказать, что я вообще не люблю варенья, с тех пор как моя старшая сестра погибла в банке с вареньем. Утонула, — муха всхлипнула, — жужжала, жужжала, прямо как пропеллер. Но никто из вас почему-то не услышал и не спас ее. Что толку освободиться из паутины, если потом погибнешь в варенье!

— Я всегда буду вынимать мух из варенья! Обещаю тебе.

— Спасибо, девочка.

…Ну разве можно где-нибудь еще так поговорить с мухой?.. Здесь, на чердаке, так тесно, что все время натыкаешься на разные предметы: то это велосипедное колесо, то рассохшаяся бочка, то заржавевший жестяной умывальник. И может быть, потому чувствуешь себя маленьким зверьком в норке, который только что родился и понял, что жить он будет долго-долго. А может быть, и всегда.

Нет ничего на свете уютнее чердака во время дождя.

Собор парижской Богоматери

Как-то мне купили на барахолке книгу «Собор парижской Богоматери». Книгу взрослую, а я еще была мала.

Купили на вырост, как пальто или свитер. Шла война, с книгами было туго.

Я не помню подробностей. Помню только, что была весна или начало лета. И был закат.

С улицы он бил в окна пожаром. (О, как нестерпимо горели стекла, как это всегда волновало меня! Потом, когда я выросла, мне стало казаться, что это напоминает конец света и что полотно «Последний день Помпеи» было задумано, когда художник смотрел на закат.)

А здесь, в комнате, он клубился тихим и пыльным рассеянным светом, напоминая одновременно о смерти и о вечности.

Я раскрыла книгу, пробежала первую страницу и наткнулась на нерусское слово. И остановилась. Оно было коротким. Перевела глаза на сноску в конце страницы: «Рок». Вот как переводилось это слово.

— Мама, а что такое рок? — спросила я.

— Ну, как бы тебе объяснить? — задумалась мама. — Рок — это неизбежность.

— Я же говорила, что рано давать ребенку такие книги, — ворчливо заметила бабушка.

— Это когда с человеком что-то обязательно должно случиться. Хочет он того или нет, — пояснила мама.

Солнце освещало комнату, было очень тихо, и в его луче лежали мои руки и книга на коленях, в которой пугало и притягивало к себе нерусское слово.

И вдруг что-то пронзило меня. Я почувствовала, что пройдет много дней, я вырасту, забуду этот полдень, этот дом, этот разговор, и тогда-то со мной случится то, чего я не хочу.

Я могу зарыться в подушки, укрыться в малиннике, где на сырой земле догнивают черные ягоды. Я могу залезть в шкаф, пропахший нафталином, даже спрятаться в мусорный ящик, наконец. Но Это все равно случится.

И тогда я закричала страшно и сильно. Но никто даже не оглянулся. Потому что, оказывается, я кричала про себя.

Стучала швейная машинка, крутилось колесо, по материи бежала ровная белая строчка.

Мама надкусила зубами нитку, встала, разгибая спину, сказала: «Не люблю заката. Он на меня всегда наводит тоску…»

Ничегонеделанье

Больше всего на свете я любила ничего не делать. Но это было совсем не то ничегонеделанье, которое так осуждается взрослыми и называется ленью.

Мое ничегонеделанье было полно глубокого смысла.

Но взрослые, конечно, этого не знали. Да и вряд ли поняли бы меня, если бы я им объяснила. И потому им казалось, что я расту ленивой или больной, что еще хуже.

Стоило мне забраться в какой-нибудь укромный уголок, как ко мне мгновенно подлетала мама и нервно спрашивала: «А ты не заболела?» При этом она с беспокойством ощупывала мой лоб, прикладывала к нему губы и вообще всячески мешала мне ничего не делать.

Бабушка реагировала на это несколько иначе.

— Просто лентяйка! — заявляла она и заставляла меня штопать носки или мыть посуду.

Взрослые почему-то были уверены, что стирать, мыть, варить — это значит заниматься делом.

А вот просто сидеть и молчать — значит не делать ничего.

В то время как все обстояло совсем наоборот.

Вот, например, я сижу и молчу. Со стороны это выглядит так, как будто я ничем не занимаюсь, просто лентяйничаю.

Но на самом деле…

За то время, пока моя бабушка всего-навсего вымыла посуду, я успела вырасти, состариться, даже умереть, а потом снова родиться и счастливо вернуться в свою сегодняшнюю жизнь, на свой любимый сундук, который так располагает к мечтаниям.

Я размышляла так. Еще шесть лет я проучусь в школе, потом пять — в институте. Когда я закончу институт, то буду уже пожилой. А у пожилых какая жизнь? Значит, мне осталось только одиннадцать лет настоящей жизни. Но ведь это так мало! И пролетят они так быстро! Я содрогнулась. Ведь это почти столько же, сколько я уже прожила на свете. А разве много я жила? Всего

ничего, если разобраться. Да и то это было как подготовка к жизни, а не сама жизнь. Тут я кстати вспомнила детское стихотворение про одуванчик: «Засыпала молода — а проснулася старушка». Какой ужас! Это ведь совсем не про одуванчик. Это про меня. И напрасно я так жалела одуванчик. Оказывается, жалеть-то надо было себя. Вот лягу сегодня спать, а завтра утром встану старушкой с седыми волосами. Так какой же тогда смысл рождаться? Бедная бабушка, ей-то осталось всего ничего. А она еще моет посуду. Подумать только, моет посуду! Да и зачем вообще мыть посуду, если на то пошло. Какой смысл есть, пить, чистить зубы, стелить постель, учить уроки, если все равно умрешь? Надо бежать на улицу и кричать, чтобы все услышали. Но что кричать и зачем? Как что — чтобы спасли, что я не хочу, не согласна… А почему же все молчат? Не догадываются? Или знают и молчат? Стесняются или понимают, что бесполезно? А может быть, к тому времени, когда я вырасту, что-нибудь изобретут? Ну конечно, изобретут, как я раньше не сообразила. Так не может продолжаться долго. Это же неправильно, несправедливо! Ведь каждый день совершаются научные открытия, так говорили нам в школе. Надо только дотянуть до того времени, пока изобретут. А вдруг умрешь раньше? Выйдешь себе погулять, простудишься и умрешь. Нет, надо беречься изо всех сил. Бабушка права: надо обязательно надевать галоши, а то еще ноги промочишь: от ног вся простуда. И на санках не кататься ни в коем случае — потому что, когда взбираешься обратно на гору, обязательно вспотеваешь. И потом сразу так жарко становится, что так и тянет положить в рот снег. А ведь это верная ангина.

Тут я похолодела, вспомнив, что не далее как сегодня днем обсасывала сосульку. Какой ужас! У меня, наверное, уже ангина. Я стала судорожно заглатывать слюну и прислушиваться к себе: не болит ли горло? Сначала как будто ничего не болело. Но чем дольше я глотала, тем больше мне начинало казаться, что болит, ну конечно, болит, да и разве могло быть иначе?

Я сидела, вытаращив глаза, и глотала, глотала.

Наверное, у меня был довольно странный вид, потому что Эля стала подкрадываться ко мне, а потом как закричит:

— Ба, а чего она рожи строит!

— Прекрати сейчас же, — безучастно откликнулась бабушка, не поднимая головы от посуды, которую она теперь тщательно вытирала.

Но я не обиделась на них. Бедняги! Они еще ничего не знали. Не знали, что, скорее всего, видят меня в последний раз. А если бы знали — как бы они рыдали сейчас, как бы просили у меня прощения за все обиды!

Но я им ничего не скажу. Зачем омрачать этот последний вечер? Вот сейчас усну, а завтра уже не проснусь.

— Дети! Мыть ноги — и в постель! — скомандовала бабушка.

«Мыть ноги!» — горько усмехнулась я. Мойте посуду! Мойте ноги! Мойте полы! Жалкие люди! И для таких изобретут лекарство, чтобы жить вечно.

И всю свою вечную жизнь они потратят на мытье ног и полов!

Вот если бы я не съела сегодня эту несчастную сосульку, уж я-то бы знала, на что потратить жизнь.

— Ну чего ты вытаращила на меня глаза? — сказала Эля.

— Завтра узнаешь, — ответила я загадочно.

Все-таки я вымыла ноги, снисходительно подчинившись воле тех, кому еще долго предстояло сводить счеты с этим так неудачно устроенным миром.

В постель я шла, как Жанна д'Арк на костер.

Я легла на спину, сложила руки на груди крест-накрест, потому что вспомнила, что, когда хоронили нашу соседку, у нее точно так же красиво лежали руки, что произвело большое впечатление на Элю. Она потом без конца об этом говорила.

Я в последний раз взглянула на школьное расписание, висевшее напротив моих глаз, — взглянула с какой-то жуткой радостью, поняв, что оно мне больше не понадобится. И — закрыла глаза.

…Проснулась я от запаха блинов и журчания жидкого пузырящегося теста, вылитого на раскаленную сковородку.

В первый момент я никак не могла понять, где я и что со мной, потому что, даже уснув, ни на секунду не забывала, что если мне и предстоит пробуждение, то в другом, совсем ином мире.

Со страхом и надеждой я приоткрыла один глаз и… увидела бабушкину спину, склонившуюся над керосинкой. И такой родной была эта спина в серой телогрейке, наброшенной на плечи, и

такими уютными — запах керосинки и журчание теста, что я тут же заплакала сладкими, счастливыми, судорожными слезами.

Я была жива, и мои руки, так красиво уложенные с вечера крест-накрест, были разбросаны как попало, и одна рука свесилась почти до пола. И этот беспорядок тоже означал жизнь.

Наскоро одевшись, я выбежала во двор. И таким огромным и солнечным показался он мне, светлым и снежным после полутьмы подъезда! На широкой скамейке под снежными тополями стояли тазы с бельем. Марзея, размахнувшись, плеснула на снег мыльную пену, и та вспыхнула на солнце радужными пузырьками.

— Марзея, — закричала я, — дай мне скорее воды и мыла!

— Вот умница, — похвалила Марзея и подвинула мне освободившийся таз.

— Я буду пускать мыльные пузыри, — восторженно сообщила я.

— А я-то думала, ты хочешь мне помочь, — укоризненно проговорила Марзея.

В это время из подъезда вышла моя мама с продуктовой сумкой в руке. Она, сощурившись на солнце, оглядела двор: Марзею, стирающую белье, Эльзу, тащившую от водокачки два ведра, из которых выплескивалась вода, растекаясь на снегу серыми лужицами, ребят, самозабвенно лепящих снежную бабу, и остановила глаза на мне.

— Опять ты ничего не делаешь, — сказала она с грустной укоризной.

— Я делаю, мама! Честное слово, делаю! — закричала я.

— А-а, — махнула рукой мама и пошла в магазин.

Я хотела догнать ее и все объяснить, но тут во дворе показался Степка. Он вообще-то жил на другой улице, но все время околачивался в нашем дворе. Степка выкатился из-за угла на одном коньке-«снегурке». Конек был туго привязан к черному валенку. Лезвие его ярко сверкало. Ушанка у Степки съехала набок, из-под нее торчало большое красное ухо, похожее на раковину. Но дело было не в единственном коньке — я и сама каталась на одном. И не в ухе — у меня тоже развязывались тесемки и капор почему-то всегда съезжал с правого уха. Дело было в том, что Степка упоенно обсасывал толстую сосульку.

И хотя мы совсем не дружили со Степкой, скорее даже наоборот, я поняла, что мой долг — предостеречь его.

— Степка! — заорала я. — А ну-ка, брось сейчас же сосульку! Тебе что, жить надоело?

И я выбила у него из рук сосульку и стала затаптывать ее в снег.

Но Степка не понял моих добрых намерений.

— Чего лезешь? — промычал он и так толкнул меня, что я полетела вверх тормашками прямо в пышный, легкий, ослепительный сугроб.

От жгучей обиды у меня защипало в носу. Вытаскивая из валенок снег мокрыми, красными, горящими от холода руками, я уже хотела было заплакать, но вовремя вспомнила, что все это мелочи в сравнении с тем большим и даже великим, что я пережила и открыла вчера вечером.

Прихрамывая — ныло колено, — я побрела домой, думая, что уж если я так стойко перенесла вчерашнее испытание, то это переживу тем более.

А все-таки почему вчера я не заболела ангиной? Ведь съесть целую сосульку, пусть даже маленькую, — это вам не шуточки. Почему у меня не поднялся жар? Почему мое горло так легко и без всякой боли заглатывает этот воздух, острый от крепкого морозца? Почему, наконец, я не умерла в эту ночь?

Неужели потому, что все-таки, все-таки, несмотря на уверенность, что все кончено, где-то в глубине души, на самом ее потаенном донышке, лежала и нежно светилась маленькая надежда, словно та капля влаги, что, переливаясь от света, дрожит на кончике голой апрельской ветки и все-таки не падает.

Да, да, я не заболела, я осталась жива. А значит, я непременно доживу до того времени, когда изобретут это чудесное лекарство — эликсир жизни.

Я доживу, я буду жить вечно. Всегда.

А может быть, я сама изобрету этот эликсир и спасу и маму, и Элю, и Марзею, и Степку, и даже бабушку.

А вдруг?..

Сюрприз

— Поди-ка сюда, — поманила меня Эльза. Вид у нее был заговорщицкий.

Я сейчас же побросала свои книжки и вприпрыжку помчалась к ней. Эльза ухватила меня за руку и потащила за собой. Мы быстро прошмыгнули темный коридор и влетели в ее комнату. Здесь Эльза отпустила мою руку и взглянула на меня внимательно, словно соображала, можно ли мне доверить что-то важное.

Я навострилась. При этом я изо всех сил пыталась придать себе такой вид, чтобы Эльза не сомневалась, что можно.

Оглядев меня с ног до головы, Эльза неожиданно выпалила:

— Хочешь сюрприз?!

Сюрприз! Сердце во мне подпрыгнуло мячиком. Тем самым, который превосходно надут и подскакивает выше головы.

Сюрприз! Ведь это могло быть и граненое стеклянное яичко, зеленое или красное, и клоун из пластилина, и розовый елочный шарик, покрытый сверху чем-то вроде инея, и растрепанная книжка, и осколок стеклышка от чайного сервиза, и белая круглая бусинка, выловленная со дна самого океана, и пестрый, ни с чем не сравнимый фантик из-под конфеты, смятый на сгибах, который в тыщу раз лучше самой конфеты, и потускневший значок с непонятными, но завлекательными буквами ДОСААФ, и наконец — страшно подумать! — это мог быть даже щенок, живой щенок, о котором я мечтала всю жизнь.

Что из того, что его пока не видно и не слышно? Все равно еще не все потеряно. Может быть, Эльза спрятала его в шкаф. Наверное, он уснул там и потому не лает. А вдруг он задохнется? Мой щенок, толстый и ласковый. Эта мысль так испугала меня, что я закричала, не помня себя от страха:

— Эльза, открой скорее шкаф, ведь он задохнется!

— Кто задохнется? — непритворно удивилась Эльза.

— Как кто? Щенок! — не выдержала я.

Эльза еще больше удивилась:

— Ты что, того?..

Я смутилась. Не очень-то приятно, когда с тобой так разговаривают. И потом, выходит, щенка-то и нет. Но в ту же минуту меня пронзила догадка: да Эльза же притворяется! Просто я слишком быстро сообразила, в чем заключается ее сюрприз, вот она и недовольна. Надо сделать вид, что я ничего не понимаю.

— Эльза… — недоуменно начала я.

Но Эльза уже не слушала. Она подвела меня к печке, большой побеленной печке, от которой исходило ровное несильное тепло: наверное, утром перед работой мать Эльзы истопила ее.

«Неужели щенок в печке?» — удивилась я, но вслух ничего не сказала.

Тем временем Эльза протянула свои длинные смуглые руки и быстрым движением фокусника распахнула створки печи.

Замирая от нахлынувшей радости, я сунула нос в печку.

Но… она была совершенно пуста.

Граненый шарик, осколок стеклышка, бусина и наконец… щенок — все это каруселью прокрутилось у меня перед глазами. Я почувствовала себя обманутой, жестоко и несправедливо, да еще кем — Эльзой, которую я так любила.

— Но там же ничего нет! — вскричала я дрожащим голосом.

Я услышала тихий, вкрадчивый смех Эльзы, и столько ласки было в этом тихом смехе, что во мне снова возликовала надежда.

— Закрой глаза, вот так, не подглядывай, — медленно, голосом феи из сказки проговорила, как пропела, Эльза и скороговоркой строго добавила: — Не то волшебства не будет.

Я мгновенно зажмурилась. Чтобы нечаянно не подглядеть, я так сжала веки, что глазам стало больно.

В моей мурашковой, шевелящейся, радужной темноте раздался осторожный скрип двери: я догадалась, что это Эльза вышла из комнаты.

Прошла минута, другая… Уже мне казалось, что минула целая вечность, а Эльза все не возвращалась.

В моем напряженном мозгу, усиленные темнотой, бились дневные звуки: тиканье часов, словно бой колокола, бормотание радио, крики ребят во дворе. Перед моими добросовестно зажмуренными глазами клубилась темнота, словно состоящая из множества шевелящихся змей.

И вдруг мне стало страшно. Показалось, что кто-то, когтистый и обросший, сейчас подкрадывается ко мне и вот-вот схватит своими лапами. А я не вижу его и не могу защититься.

А вдруг так останется навсегда, неожиданно подумала я, вдруг веки у меня так слиплись, что я не смогу их разодрать? И что же? Тогда, значит, эта темнота, эти шевелящиеся змеи перед глазами навечно, навсегда. Выходит, я не увижу больше ни нашего двора,

залитого солнцем, ни мыльных пузырей, которые я так любила пускать через соломинку, ни белой стены молочной фабрики, на которой я рисовала углем пресмешные рожицы, ни вывески «улица Зенцова» на той же стене фабрики, ни номера 27 на углу нашего дома. А как же тогда я смогу находить свою улицу и свой дом? Выходит, мне нужно будет ходить с поводырем. Но ведь у меня нет поводыря…

А щенок? Как же я сразу не подумала? Ведь сюрприз, обещанный Эльзой, вполне может оказаться щенком, тем более что теперь он мне просто необходим. И я уже совсем было собралась приоткрыть глаз, только один, только самый краешек, чтобы удостовериться, что в печке лежит щенок. Но тут вовремя вспомнила наказ Эльзы: «Не подглядывать, а то волшебства не будет».

А Эльзы все нет. И тогда, от бездействия, что ли, мне в голову приходит совсем странная, совсем непонятная мысль: вот я сейчас стою и жду волшебства, и эти секунды никогда больше не повторятся. Будут другие, а за ними еще другие — и так без конца. Если вдуматься: что такое время? Это секунды. А что такое секунда? Это один миг. Казалось бы, что он значит? Но с каждым мигом я буду становиться все старше, пока не стану такой, как мама, а потом как бабушка.

Жизнь состоит из мигов, как песочница из песка, как сугроб из снежинок. И сугроб растает, и песок исчезнет неизвестно куда: вон у нас во дворе не успевают привозить. Только прикатят тачку, а через несколько дней смотришь — его и нет, и неизвестно, куда девался. Выходит, миг — все равно что мыльный пузырь. Только залюбуешься — а его уже и нет, лопнул…

Впервые в жизни мир показался мне непрочным, несправедливым, устроенным не раз и навсегда, а тяп-ляп, как говорила моя бабушка, когда я делала что-нибудь как попало.

И такая тоска вдруг овладела мной, что захотелось опуститься на пол, привалиться спиной к теплому боку печки да так и сидеть до самой смерти.

И тут раздался торжествующий голос Эльзы:

— Можно! Смотри!

Я вздрогнула и открыла глаза.

Передо мной на черной чугунной плите, еще совсем недавно пустой, стояла большая тарелка манной каши. Это была на вид обыкновенная манная каша, которую мне навязывали каждое утро. И ложка, утонувшая в этом белом крупитчатом месиве, была испачкана у черенка чуть затвердевшей кашей, что всегда отбивало у меня аппетит.

Комок обиды застрял у меня в горле. Я перевела глаза на Эльзу. Но странно, никакой насмешки не выражало ее лицо. Наоборот, оно сияло торжествующей добротой. И тогда, медленно соображая, я вдруг задумалась над тем, что ведь три или пять минут назад в печке ничего не было, а Эльза выходила из комнаты: я сама слышала скрип двери и ее шаги. Так, значит, значит… Выходит, кто-то опустил тарелку в дымоходную трубу. Но кто же, кто? Неужели маленькая пастушка из сказки Андерсена? Но в ту же секунду меня пронзило другое, еще более ошеломляющее открытие: никто ее сюда не клал. И пастушка тут ни при чем. Просто она сама слетела с неба. Ведь говорят же — манна небесная. А я еще не верила, еще сомневалась, даже насмехалась над бабушкой.

Так вот, оказывается, как выглядит манна небесная.

…Эльза ликовала. Ее смуглое лицо, ее узкие блестящие глаза, ее волосы, закрученные в тугие пружинистые кольца, — все словно плясало от радости. Она сказала, что я должна съесть всю тарелку, и тогда волшебство проникнет в меня, и я стану вроде как волшебницей.

И я съела все, до мельчайшей крупицы.

Трое в вагоне, не считая собаки

1

В тот вечер мама пришла домой в сильном волнении. Ее настроение сразу же передалось всем нам. Собака Майка стала кругами бегать по комнате, высунув до полу язык. Бабушка выронила чашку и отбила у нее ручку. Поэтому она набросилась на Майку, которая и вправду действовала на нервы своим круговым бегом. Я переписывала из учебника предложения и пропустила целый абзац.

Но вот мама пошепталась с бабушкой и торжественно объявила, что этим летом мы уезжаем в Москву. Насовсем! Навсегда!

Я, конечно, тут же бросила свой учебник и стала выделывать ногами такие кренделя, что Майка прямо-таки взбесилась от радости и волнения.

И только Эля с удивленным испугом смотрела на нас со своего сундука. Она, видно, совсем не помнила Москвы и не понимала, чему мы так радуемся.

…Однако до отъезда было еще далеко. До лета — тоже. И наша жизнь пошла своим привычным ходом. Я ходила в школу. Мама дежурила в госпитале. Бабушка хлопотала на кухне. Эля возилась со своими игрушками.

По вечерам я прикручивала к валенкам коньки-«снегурки» и, держась за забор, выползала на улицу, где сугробы доходили до самых ставен, а между ними темнела скользкая ледяная дорожка: прохожие часто шлепались на ней, что чрезвычайно веселило Элю.

Но вот незаметно дни стали длиннее, а сугробы осели. Однажды, когда я утром толкнула ногой калитку, то чуть не утонула, потому что сразу же за ней оказалась огромная лужа, глубокая, как море. А поскольку у нас не было ни корабля, ни даже лодки, то мне пришлось пропустить занятия в школе, пока бабушка не соорудила из досок что-то вроде плота.

И вот мы стали готовиться к отъезду. Мама сказала, что мы поедем в товарном поезде. Правда, идет он гораздо дольше пассажирского, но зато в нашем распоряжении будет целый вагон: можно даже взять мебель.

Элю, как маленькую, решено было отправить с нашими друзьями, которые тоже возвращались из эвакуации в Москву, но пассажирским поездом.

— А Майка?! — вдруг встрепенулась я. — Как же Майка?

Майка взвизгнула, подпрыгнула и лизнула меня в нос.

— Придется кому-нибудь пристроить, — грустно сказала мама. — Не брать же с собой псину в такое дальнее путешествие. И вообще, еще неизвестно, где мы там будем жить.

— Тогда и меня тоже кому-нибудь пристройте, — с вызовом, но со слезами в голосе заявила я. — Я тоже никуда не поеду.

— Ну ладно, — примирительно заявила бабушка. — Конечно, в пассажирский с собакой нельзя. А в товарняк, думаю, разрешат. Ты узнай, Лена.

После того как участь Майки была почти решена, мы принялись обсуждать, что брать с собой.

Не обошлось, конечно, без споров.

Бабушка считала, что взять надо как можно больше: и две кровати с никелированными шарами (в самом деле, не на полу же спать в Москве), и дубовый стол (опять же, будет на чем обедать и готовить домашние задания), и, конечно же, сундук (как же без сундука, ведь он такой вместительный). А вот трюмо, как уверяла бабушка, совсем не обязательно. Кроме того, оно может разбиться в пути, а это плохая примета. Мама же была против сундука, но не желала расстаться с трюмо.

Ну а я больше всего беспокоилась, разрешат ли мне взять с собой елочные игрушки. В трех картонных коробках хранились переложенные газетой и ватой настоящие сокровища: и хрупкие, словно покрытые инеем шары, и стеклянные домики, и Снегурки…

Бабушка, видя, что я прижимаю к себе эти коробки, закричала, что это чистое безумие и что она не намерена привозить в Москву кашу из стекла.

Мама неуверенно предложила подарить игрушки моей подруге Люське. Я согласилась. Но когда мама с бабушкой отвернулись, потихоньку сунула коробки в сундук.

…Нам предстояло проститься со своими друзьями, соседями… Я еще была в том возрасте, когда не умеют сожалеть о прошлом, когда расстаются легко, когда устремленность в будущее совершенно заслоняет день вчерашний.

О, как потом, спустя годы, это откликнется во мне! Как зазвучат голоса тех, от которых я так безоглядно и весело уходила! Как запахнет тот клевер — оттуда, из детства! Я и теперь иногда вдруг наклонюсь над невзрачной травинкой, сорву, помну в пальцах, вдохну — и отброшу: нет, не то, не та, не так… Почему сейчас, спустя десятилетия, они проходят передо мной — эти старухи, которых давно уже нет на свете, эти девчонки, прыгающие через веревочку, которые тоже в свой черед стали старухами и тоже, скорее всего, уже переступили жизненную черту?

…Вот Наталья Ивановна, наша соседка, — сколько я себя помню, она всегда была рядом. Помню ее блузку в потрепанных кружевах с приколотой к ним огромной камеей.

Наталья Ивановна была дочерью генерала. Но не красного генерала, а белого, что существенно меняло дело.

Если бы она была дочерью красного генерала, к ней приходили бы пионеры и наперебой упрашивали выступить у них в школе на пионерском сборе или праздничном утреннике, и Наталья Ивановна, спрятав в ридикюль фотографии отца (ребенок, комсомолец, бравый офицер, генерал), торжественная и растроганная, выходила бы из калитки в окружении ребят, присмиревших от торжественности момента.

Если бы она была дочерью красного генерала, то даже в очереди за хлебом, когда какая-нибудь нахалка стала бы оттирать ее, визжа, что она здесь не стояла, а вся очередь поддержала бы эту нахалку, она, Наталья Ивановна, могла бы сказать со скрытой гордостью, что она вам не какая-нибудь спекулянтка, наживающаяся на бедствиях народных, а самая настоящая дочь красного генерала, пролившего кровь за этот самый народ. И тогда вся очередь смолкла бы, пристыженная. А продавщица выкрикнула бы со своего прилавка: «Что же вы молчали, гражданка?! Товарищи, пропустите дочь красного генерала!»

Да что там говорить! Разве она жила бы в такой халупе? Она наверняка жила бы в центре города, в одном из серых каменных зданий, где даже печку топить не надо, так как в подвале сидит истопник и обогревает весь дом сразу; и окно ее комнаты выходило бы прямо в сквер, где стоит памятник Ленину, возле которого всегда играют дети.

Правда, если бы Наталья Ивановна была дочерью красного генерала, она, скорее всего, не знала бы французского языка. А Наталья Ивановна знала его так, что когда однажды слегла с высокой температурой, то на все вопросы сыпала только по-французски, чем привела в большое замешательство врача, который заявил обиженно, что это первый такой тяжелый случай в его многолетней практике.

Но скажите, на что нужен этот французский?!

Наоборот, если бы она не знала его, ей бы не пришлось расклеивать по городу объявления: «Даю уроки французского

языка. Кто хочет читать в подлиннике Мопассана…» — а потом бесплатно учить нашего соседа Митю, который и по-русски-то не читал Мопассана и вообще вряд ли знал, кто это такой.

И уж конечно, ей не пришлось бы с пристыженным лицом занимать деньги у нашей бабушки и с извинениями отдавать их через полгода.

Если бы она была дочерью красного генерала!

Но она была дочерью белого генерала. И потому все обстояло совсем наоборот.

2

…И вот наконец настал день нашего отъезда. Утро выдалось теплым и пасмурным. Я встала ни свет ни заря, что случалось со мной чрезвычайно редко, и вышла за калитку. У водокачки, как всегда по утрам, толпился народ. Люсина мама стирала, водрузив на скамейку большое корыто. Корыто ерзало, грозя свалиться, шлепки мыльной пены пузырились и таяли вокруг скамейки. Люська принимала от матери отжатое белье и развешивала тут же на веревке. Надо сказать, что место вокруг водокачки было самым главным и людным на нашей улице. Хлопнула ставня, кто-то крикнул из раскрывшегося окна:

— Эй, Марзея, ты чего это стирку затеяла? Никак дождик собирается.

— Да не-а, — лениво отозвалась Люськина мама, — распогоживается… — И она посмотрела в небо, где сквозь облака неярко просвечивало солнце.

Словом, все было как всегда.

И тут, переваливаясь на ухабах нашей немощеной улицы, из-за поворота выехал грузовик. А грузовики на нашей окраине появлялись редко. Вот он приостановился на секунду, словно раздумывая, туда ли попал, и не спеша покатил прямо к нашему забору, где шумели и клонились от ветра в сторону верхушки могучих тополей, посаженных еще моим дедом. Грузовик съехал в канаву, подрулил к самым воротам, которые, надо сказать, никогда не открывались, и уткнулся в них своей бульдожьей мордой.

И все, кто стоял у водокачки, побросав ведра, смотрели только на грузовик. И Люська, держа на весу мокрую простыню, смотрела

на грузовик. И я смотрела на него, чувствуя, как что-то сдвигается во мне, на улице, в мире…

— Лена! — вдруг испуганно выкрикнула Марзея и бросилась к нашей калитке. — За вами приехали!

И сразу все ожило, загомонило, засуетилось. Кто-то пытался открыть ворота, но они никак не поддавались. Кто-то волочил из дома сундук. Кто-то придерживал за ошейник лающую до хрипоты, рвущуюся из рук Майку. Кто-то обнимал плачущую бабушку…

И вот я уже сижу в кузове, зажатая тюками и чемоданами. И грузовик деловито катит по городу. Какой он, оказывается, большой, наш город! Чего в нем только нет: и заводы, и парки, и больницы, и барахолки, и кинотеатры, и кладбища…

Мама поминутно смотрит на свои ручные часы. У нее большие мужские часы (папа оставил, когда уходил на фронт). Ни у кого больше нет таких часов — с крупной металлической сеткой (от удара), словно окно за решеткой. Мама боится опоздать. Ее страх передается и мне: вдруг, в самом деле, приедем, а поезд уже ушел? Что тогда делать? Возвращаться обратно?

Но думать об этом некогда, потому что вот уже и вокзал — небольшая площадь, стиснутая горами. Подумать только, оказывается, в нашем городе есть даже горы! Никогда бы не догадалась.

А теперь новая суматоха: нужно найти свой поезд, свой вагон, нужно разгружать вещи. Шофер нервничает, ему пора обратно в город.

Но напрасно мы торопились. Напрасно боялись опоздать.

Уже и вещи были внесены и даже расставлены и разложены по вагону. Уже и грузовик с быстротой и легкостью порожняка укатил в город. Уже мы не раз и не два расцеловались с провожающими. Уже и вокзал, вызывающий сначала мое любопытство, порядком наскучил. И даже солнце зашло за кучу щебня и скрылось за ней, как за серой горой, а его место заняла большая луна… А мы все стояли.

Я забралась с ногами на сундук и не заметила, как уснула.

А наутро к нам пришла Наталья Ивановна. Первой ее унюхала Майка. Она вдруг взвизгнула и, оборвав поводок (на всякий случай мы ее привязали, но что для Майки поводок?), выпрыгнула из вагона. Я тоже высунулась и обомлела. Со стороны вокзала,

спотыкаясь на шпалах, как могла быстро шла Наталья Ивановна в своей неизменной белой блузке с тяжелой брошкой у ворота и с ридикюлем царских времен, а вокруг радостно прыгала Майка.

…Дело в том, что между Натальей Ивановной и Майкой издавна существовали особые отношения. Почему-то Майка, резвая молодая овчарка с примесью беспородной крови, именно Наталью Ивановну выбрала в подруги своих сумасшедших игр. Стоило Наталье Ивановне выползти во двор, как собака с радостным визгом летела ей навстречу. И начинался дикарский танец вокруг обезумевшей от испуга старухи. Скоро к визгу собаки примешивался и ее визг. И тогда кто-нибудь из домашних спешил ей на помощь.

— Это чудовище хотело меня растерзать! — стонала Наталья Ивановна и начинала торопливо ощупывать себя, хотя собака, кружившаяся вокруг нее черным вихрем, ни разу не коснулась ее…

Но сегодня, похоже, Наталья Ивановна была рада встрече со своим недругом. Ведь это означало, что и мы где-то поблизости.

— Ой, Наталья Ивановна идет! — завопила я.

Мама и бабушка, с утра копошившиеся с вещами в глубине вагона, бросились к выходу. Но двери у нас не было, был только открытый проем, как люк, только не в полу, а в стене; на ночь мы его задвигали щитом из досок. А раз не было двери, значит, не было и ступенек. И платформы тоже не было. Поезд стоял где-то на запасных путях. И как только Наталья Ивановна нас отыскала! Конечно, мама и бабушка затоптались у выхода, не зная, как спуститься. И только я храбро вытянула вперед ногу, готовая спрыгнуть на землю. Но в это время раздался гудок. Бабушка испугалась и схватила меня за подол. Она, конечно, подумала, что это наш поезд трогается. Но это был не наш, а другой товарняк. И вот его буро-коричневые вагоны медленно поплыли у нас перед глазами, заслонив Наталью Ивановну и Майку. Вагоны ползли целую вечность. А когда наконец состав вильнул последним вагоном, как хвостом, мы все увидели Наталью Ивановну. Ей оставалось только перешагнуть рельсы. А нам — спрыгнуть на землю. Минута — и мы уже обнимались, словно встретились после долгой разлуки.

— Наталья Ивановна, голубчик вы наш, — растроганно говорила бабушка. — Да как же вы нас отыскали?

— Все очень просто, — отвечала Наталья Ивановна бодрым прокуренным баском, но вид у нее был смущенный, и даже брошка с камеей как-то растерянно обвисла. — Когда Митя вернулся (Митя был тот самый сосед, которого Наталья Ивановна учила французскому языку. Он же помогал нам грузить вещи), я спросила, дождался ли он ухода поезда. Митя сказал, что нет. Я ахнула: «Митя, неужели вы даже не помахали им рукой на прощанье?» Но Митя опять сказал, что нет, не помахал, потому что поезд еще не ушел и вообще неизвестно, когда уйдет. Представляете себе мое волнение? В наше время поезда ходили точно по расписанию. — И Наталья Ивановна гордо выпрямилась. — Я не спала всю ночь. А утром подумала: а вдруг поезд еще не ушел, и вы там голодные и отойти не можете? Тогда я сварила картошку в мундире и сделала коржики. — Вот… кажется, еще не совсем остыли. — И Наталья Ивановна, щелкнув замком, раскрыла свой ридикюль.

И тут, вероятно, от пережитого волнения, ее глаза не выдержали… Нет-нет, Наталья Ивановна не заплакала, она вообще никогда не плакала. Но она имела привычку закатывать глаза, особенно когда нервничала. Тогда глаза ее начинали быстро-быстро моргать, словно не зная, в какой момент им надо остановиться, потом закатывались, так что становились видны только выпуклые белки, и, продержавшись так секунду-другую, выкатывались обратно, устанавливались на прежнее место и уже больше не моргали.

Так вот сейчас был как раз такой момент, момент сильного душевного волнения, и глаза Натальи Ивановны не выдержали: они закрутились быстрее обычного, потом закатились, да так надолго, что я вся похолодела — а вдруг они больше не выкатятся никогда? Но, слава богу, все кончилось благополучно. И тогда я увидела с удивлением, что глаза у Натальи Ивановны мокрые. Да-да, мокрые от слез, а ведь она, как я уже говорила, никогда не плакала: ни тогда, когда ночью взяли ее отца, белого генерала, ни тогда, когда ушла из жизни ее незабвенная мамочка (Наталья Ивановна всегда именно так ее называла), ни тогда, когда они вдвоем с дворничихой покатили по мерзлой дороге расхлябанную тачку, в которой лежал гроб, грубо сколоченный сыном дворничихи, ни в других драматических случаях жизни. Наталья Ивановна очень гордилась

своей выдержкой. А моя бабушка говорила: «Вот что значит настоящее воспитание!»

А сейчас Наталья Ивановна плакала, и даже всхлипывала и шмыгала носом (что уж совсем неприлично), и, кажется, вовсе не стеснялась этого.

Так, значит, в жизни бывают такие моменты, когда не стыдно то, что в другие моменты стыдно и неприлично? Это открытие весьма озадачило меня.

Наталье Ивановне тоже не удалось помахать нам рукой, потому что и в этот день мы не уехали. И снова солнце садилось за кучу щебня, а на его место выкатывалась большая луна, смотревшая на нас с любопытством (я смотрела на нее, а она на меня), а мы всё стояли.

Уехали мы только в следующую ночь. И момент отъезда я, конечно, пропустила, хотя очень старалась не пропустить. И все-таки я уснула и не слышала, как тронулся поезд.

Румарчук Л.И. Зеленый велосипед
на зеленой лужайке. Москва:
Самокат, 2017. 288 с.: ил.

Галина ФАДЕЕВА

Галина Константиновна Фадеева родилась в Уфе в 1956 году. Закончила вечернюю школу № 24, курсы инструкторов служебного собаководства, курсы инструкторов-спасателей, тренерские курсы, в Уфимском производственном комбинате прошла обучение на фотографа. Имеет права водителя широкого профиля. Является кандидатом в мастера спорта, членом Союза журналистов РБ и РФ.

Работала шофёром, тренером по плаванию и общей физической подготовке; корреспондентом газет «Уфа-центр» и «Вечерняя Уфа».

ВИТЬКИНЫ ГОЛУБИ
- на три месяца опередили похоронку

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с каким-нибудь удивительным происшествием, которому больше подходит

определение «мистическое». История эта произошла в Уфе в семье моей мамы - Серафимы Андреевны Окуневой в 1943 году. Ее младший брат Виктор, как и многие мальчишки того времени, держал голубятню. Жили они на улице Зенцова в частном доме.

Витькина голубятня была особенной. Отец – столяр-краснодеревщик сделал ее в виде русского терема с резными окошечками и петушком на крыше. Парнишка с детства помогал отцу столярничать, а заработанные деньги тратил на голубей. Мама вспоминала, как брат по утрам выходил во двор, привязывал рубаху к шесту и, размахивая им, поднимал своих питомцев в небо. Из соседних дворов к ним присоединялись другие сизари, и раздавался оглушительный свист голубятников.

Витькины голуби имели человеческие имена: Пётр, Акулина, Мария... Любимица Лизавета – белый турман с черным хохолком и двумя черными полосками на крыле – частенько провожала Витьку на завод, сидя у него на плече, а потом взмывала в вышину и, кувыркаясь в воздухе (особенность этой породы), возвращалась домой.

В семье Окуневых среди семерых оставшихся в живых детей Витька был единственным сыном. Когда началась Великая Отечественная война, несмотря на слёзы матери и сестер, парнишка рвался на фронт. Комсомолец, разрядник по стрельбе и плаванию он мечтал служить на флоте, но судьба распорядилась иначе. Осенью 1942 года Виктора направили в артиллерийскую часть. Перед отъездом он долго и подробно объяснял сестрам, чем кормить и как ухаживать за голубями. Мама говорила, что на фронт брат уходил спокойно, как на работу, но, прощаясь со своими крылатыми друзьями, расплакался. Перецеловал каждого голубя, а сестрам наказал: «Берегите их! Я скоро вернусь с победой.»

От Витьки получили только одно письмо; он сообщал, что идет в свой первый бой. В конце февраля 1943 года, когда мама пришла домой после дежурства в госпитале, следом за ней в дверь ворвалась Лизавета. Она летала по дому, билась в стекла, а потом села на сундук, где раньше спал Витька, и заворковала. Бабушка прижала руки к груди и бессильно опустилась на табуретку: «Девоньки мои, Витенька погиб!» Взглянули на календарь: 25 февраля 1943 года. Именно эта дата будет указана в похоронке,

которая придет почти через три месяца. Место гибели: Ленинградская область, Старорусский район, деревня Сычево.

Утром, после происшествия с Лизаветой, сестры полезли на голубятню: дверь и окошечки были открыты, голубятня пуста. Если бы голубей украли, кто-нибудь из них все равно нашел бы дорогу домой. Да и поверить в то, что вор отважился пройти мимо злобной, похожей на волка Динки, очень трудно. Собака обязательно почуяла бы чужого человека и залаяла. Девушки обегали знакомых голубятников, но тщетно... Мама несколько раз в день выходила на крыльцо, всматривалась в серое зимнее небо, а бабушка, словно окаменевшая с горя, повторяла: «Не жди, Симонька, голубей! К Витеньке они улетели...»

Единая Россия – Башкортостан.
2017. № 18 (11 мая). С. 1.

Ирина ЕНТАЛЬЦЕВА

Ирина Николаевна Ентальцева, библиотекарь-библиограф, член Союза краеведов России, родилась в Уфе в 1957 году в семье участника Великой Отечественной войны Николая Семёновича Ентальцева (1924-2004). Её отец ушёл на фронт добровольцем в 17 лет, подделав для этого дату в паспорте. Был снайпером, служил в разведке, получил два ранения. Вернувшись с войны, устроился на тяжёлую работу, ведь у матери отнялись ноги, а сестренка с 14 лет работала на заводе. Отправил сестренку Надю учиться, а сам стал учиться заочно. Они стали одними из лучших инженеров Химпрома. Как коммунист, он переходил в отстающие цеха и поднимал их. Добивался для лучших рабочих квартир, а сам долго жил с семьей в коммуналке. Ирина Ентальцева окончила Челябинский гос. институт культуры (1978 г.) и работала в библиотеках Уфы, Москвы, Челябинска и др. С 2000 года заведует библиотекой Уфимской Крестовоздвиженской церкви, часть которой составляет Епархиальная учебная библиотека для студентов-заочников духовных учебных заведений. Публиковалась в газетах «Уфимские епархиальные ведомости», «Воскресение», «Истоки», «Вечерняя Уфа» и др., в журналах «Бельские просторы», «Уфа», в коллективных сборниках Уфы, Перми, Самары, Москвы, на сайте Уфимской епархии, на сайте

«Православные лики России» и др. Главные темы публикаций: история Уфимской епархии, православие и культура.

СТОЯНИЕ В ВЕРЕ

Уфимский Сергиевский собор в годы Великой Отечественной войны

Небольшой деревянный храм, стиснутый высотными зданиями, стоит в Уфе неподалеку от Монумента Дружбы. Построен он в 1868 году на месте древней церкви, основанной еще в XVI веке на пологом склоне реки Белой, когда прибыли на этот берег московские стрельцы и пушкари, чтобы воздвигнуть здесь Уфимскую крепость для защиты местного населения от набегов ордынцев. С ними прибыли и попы-черноризцы из Троице-Сергиевой лавры, были построены первые храмы, монастыри.

Наш великий земляк, художник Михаил Нестеров, с детства любил этот простой Сергиевский храм, он почитал преподобного Сергия Радонежского, в котором видел «черты лучшего человека древних лет». Всю жизнь М.В. Нестеров искал и находил таких «лучших людей» своего времени. С благодарностью вспоминал он в своей книге «Давние дни» о «батюшке Сергиевском», отце Федоре Троицком из Уфимской Сергиевской церкви, человеке талантливом, бескорыстном, «воодушевленном», к которому шел народ в горе и радости.

Сейчас, когда говорят о Сергиевской церкви, в первую очередь называют имя преподобного Моисея Уфимского, чьи мощи находятся в храме. Он много лет прослужил в Сергиевской церкви. К нему приезжали люди издалека, ища совета и утешения, и для всех он находил нужные слова, помогал молитвой, имел дар пророчества и исцеления. Столп православия. Так еще при жизни его называл старец Савва (Остапенко), схиигумен Псково-Печерского монастыря. Он говорил уфимским паломницам, приезжавшим к нему для совета: «У вас же есть в Уфе столп православия – от земли и до неба! Отец Моисей. Идите за советом к нему».

Как же смог вырасти в Уфе такой столп православия в советское время, когда были закрыты многие храмы и монастыри?

В годы духовного становления отец Моисей нашел себе достойных учителей в Сергиевском храме. О подвиге жизни их в военное время и пойдет речь в этой статье.

Маленькая деревянная Сергиевская церковь после того, как был занят обновленцами Воскресенский собор, закрыт Никольский собор и другие каменные храмы Уфы, получила в 1933 году статус кафедрального собора Уфимской епархии. Здесь служил епископ, здесь был центр управления епархией.

К началу Великой Отечественной войны в результате сталинских репрессий в стране были закрыты почти все храмы и все монастыри, священнослужители были арестованы, многие из них погибли в тюрьмах и лагерях. «Общее состояние епархии к этому периоду являлось удручающим», – писал протоиерей Владимир Сергеев в своей статье «Судьбы святынь и подвижников Уфимской епархии в период 40-50-х годов».

В 1937 году архиепископ Уфимский Григорий (Козлов) вместе со всем причтом Сергиевского собора был арестован, и вскоре многие из них были расстреляны. Храм стоял пустой.

Ксения Глухарёва рассказывала, что матушка Маргарита (Чумакова), бывшая игумения Бугабашского монастыря, хлопотала о том, чтобы храм снова открыли, ходила по домам, собирала подписи, ведь без решения «двадцатки» церкви не открывали. И без священника тоже. Она пришла к иеромонаху Ксенофонту (Синютину), которого освободили из заключения с больными ногами, отмороженными на лесоповале, и попросила его пойти служить в пустующий Сергиевский собор. «Вы сперва сухари сушите и котомку мне шейте, а потом я пойду», – тяжело вздохнул отец Ксенофонт, ожидая за это скорый новый арест. Но пошел. И случилось чудо, его допустили до служения в храме.

Протоиерей Владимир Сергеев писал о дальнейших событиях так: «Митрополит Сергий (Страгородский) 2.03.1938 г. назначил протоиерея Николая Бурдукова настоятелем кафедрального собора и исполняющим обязанности благочинного г. Уфы. По епархии оставались незакрытыми еще 51 церковь. В 1940 году в результате гонений осталось только 9 незакрытых церквей. Но открыто действующей в пределах трех епархий осталась только одна – Сергиевская церковь в Уфе. Конечно, духовная жизнь не

прекратилась. По ночам совершались нелегальные богослужения заштатными священниками в частных домах.

В апреле 1941 года была предпринята попытка закрытия Сергиевской церкви в городе Уфе... Власти столкнулись с упорным сопротивлением». Настоятель храма, протоиерей Николай Бурдуков, был арестован и осужден 11 апреля 1941 года на 5 лет. В тот же день в Сергиевском соборе назначается настоятелем иеромонах Ксенофонт (Синютин). Через месяц отца Николая Бурдукова неожиданно освобождают, но уже через полгода, 6 января 1942 года, в канун Рождества, отца Николая все-таки удаляют из храма, его мобилизуют на фронт. В храме остается служить один иеромонах Ксенофонт. Его арестовывают 5 марта и он находится под судом до 21 июня 1942 года. В это время политика Сталинского правительства по отношению к церкви начинает меняться, иеромонаха Ксенофонта освобождают, и он возвращается в уфимский Сергиевский собор.

«Благодаря его удивительной стойкости церковь удается отстоять… Вокруг отца Ксенофонта сплачиваются верующие люди, помогают оплатить непомерно высокие поборы», – писал протоиерей Владимир Сергеев в своей статье.

Игумен Ксенофонт (Синютин)

Рассказы старожилов об отце Ксенофонте похожи на жития святых первых веков: «Он был афонский монах. На Афоне явилась ему Божия Матерь и сказала: «Ступай в Уфу, в Сергиевскую церковь и сохраняй ее, ты там нужен». Говорили, что он был мощный, грузный, огромного роста, и не давал милиции закрыть церковь, усевшись в алтаре в кресле – не сдвинешь его, отказываясь уйти из храма. А ведь эта мощь была не физическая, а духовная. Его могли застрелить на месте. Говорили, что такое «сидение» повторялось не раз. А потом долгие годы отец Ксенофонт платил огромные, нескончаемые налоги на церковь, иначе храм бы закрыли за их неуплату. Это была обычная практика для закрытия храмов с двадцатых годов.

Между службами отец Ксенофонт плотничал, делал печи в окрестных частных домах, выполнял там любые работы взамен ушедших на фронт мужчин. Мастер был на все руки. Все заработанные деньги отец Ксенофонт отдавал налоговой. И все

деньги, которые приносили в церковь ее прихожане – сразу в мешок и относил в налог: «А мне довольно два ломтя хлеба с кануна и я сыт». Это был бесконечный подвиг смирения среди всеобщего голода и усталости.

В Сергиевскую церковь приезжали верующие не только со всей Башкирии, но и из Челябинской, Оренбургской, Самарской епархии. Отовсюду, где были закрыты храмы, приезжали, чтобы креститься, исповедоваться, причащаться, отпевать заочно покойников, привозили записки на литургию от тех, кто сам не мог приехать, помянники разоренных монастырей. «Крестилось людей полный храм», – вспоминал иеросхимонах Аарон (Дудинов). Часто верующие до Уфы шли пешком многие километры. Отец Ксенофонт был духовником монашествующих. После закрытия монастырей, отбыв сроки в тюрьмах, ссылках и лагерях, монахини и монахи добирались до Сергиевской церкви. Преподобный Моисей Уфимский был с молодых лет учеником отца Ксенофонта и разделял все его труды.

Иеромонах Ксенофонт жил в строгой аскезе, соблюдая афонский устав, был требователен к себе и милостив к другим. На исповедь к нему всегда стояла большая очередь. Говорили, что он никогда не терял присутствия духа, и приветливая улыбка не сходила с его лица. А ведь это свидетельство высокой духовной жизни. Впрочем, он мог быть решительным и суровым, когда это было нужно. Он был немногословен, выражался простонародно. Занимался церковным хором, был прежде певчим, регентом, всю жизнь писал иконы. Все свои многочисленные таланты он отдал на служение Богу.

Иеросхимонах Аарон (Дудинов) называл отца Ксенофонта спасителем Сергиевской церкви и говорил, что он многих людей «держал и направлял» в Уфимской епархии. От него первого я услышала рассказ о том, что в Уфу отца Ксенофонта прислала с Афона Божия Матерь. В послужном списке отца Ксенофонта указано, что он принял постриг в Свято-Николаевском монастыре Челябинской епархии, где и подвизался до закрытия монастыря. В этом монастыре был афонский устав. Он был связан с Оренбургским афонским подворьем. Его иноки ездили на Афон. Были случаи, когда монахи перебирались через границу и в советское время. Так преподобномученик Гавриил (Гур) после

закрытия Николаевского монастыря выехал на Афон и вернулся потом в Россию, где вскоре был арестован. Возможно, что так был арестован и отец Ксенофонт (Синютин). Но когда он был на Афоне, выяснить не удалось. На Афоне много монахов жило без регистрации.

В некрологе игумена Ксенофонта, опубликованном в «Журнале Московской патриархии» в 1959 году, указано, что он «с 1930 по 1956 год нес пастырское послушание при кафедральном Сергиевском соборе г. Уфы». Некролог составлен был в годы очередного усиления гонений на церковь. Он очень краток, в то время не принято было перечислять в официальных публикациях, каким подвергался репрессиям человек. Цензура бы не пропустила. Вероятно, что здесь дата «1930 год» означала первое появление отца Ксенофонта в Сергиевском соборе как пастыря, духовника. Ведь 1930 год указывается на сайте «Открытый список», как дата его ареста в Уральской области. Затем был арест в 1932 году. Сколько раз и лет он был в заключении, неизвестно. Штатным священником Сергиевского собора он упоминается в послужном списке только с апреля 1941 года.

Все для фронта, все для Победы

Этот лозунг с начала войны был воспринят всем народом. В военкоматах толпились добровольцы, требуя своей скорейшей отправки на фронт. Люди, оставшиеся в тылу, на работе перевыполняли нормы за тех, кто на фронте. К станкам становились подростки и старики. Для Церкви лозунг «Все для фронта, все для победы» обернулся временным ослаблением репрессий. Практически все действующие храмы собирали у прихожан средства для помощи фронту уже с лета 1941 года, хотя всецерковный призыв трудами и пожертвованиями содействовать фронту митрополит Сергий (Страгородский) огласил 14 октября.

Возможно, что это послужило одной из причин, кроме причин политических, что побудило Сталина разрешить вновь открыть небольшую часть храмов. Сталин вынужден был доказывать союзникам свою лояльность к церкви. Планировалось, что откроют вновь храмы только на время войны.

Из мест заключения для служения в храмах была возвращена часть священнослужителей, в основном, старики и инвалиды, других отправляли на фронт.

Новый архиепископ Уфимский Стефан (Проценко) освободился из заключения в 1942 году и был назначен к Сергиевской церкви. Владыка Стефан отбывал срок в Красноярском исправтрудлагере, где он к тому времени пробыл уже 5 лет и 10 месяцев вместо 5 лет заключения по приговору. И неизвестно, сколько он там находился бы еще, и выжил ли там, если бы его не отправили служить в Уфу. Красноярский лагерь – это лесоповал в тайге среди непроходимых болот, полчища гнуса, высокая смертность среди заключенных. «Летом 1941 года в Краслаг пригнали многотысячный этап литовских граждан. Немалая их часть погибла в 1941-1942 годах… В январе 1942 года в Краслаг в трудармии загнали несколько тысяч поволжских немцев… Строительство лагерных пунктов не прекращалось ни днем, ни ночью…», – написано об истории Красноярского лагеря в «Открытом списке», в фейсбуке. Впрочем, такая картина была в лагерях повсеместно.

Лозунг «Все для фронта, все для победы» обернулся полной беспощадностью к людям со стороны властей. Было ужесточение мер наказаний за опоздания. Дети работали у станков вместо взрослых, ушедших на фронт, бывало, что по две смены. Они с 12 лет, как и взрослые, получали реальные сроки в лагере – за опоздание свыше 20 минут – на 6 месяцев или на год, и до 8 лет – за прогул. Проспав от усталости выход на работу, опоздав на трамвай или забежав по дороге к матери, бывшей на работе круглыми сутками на другом производстве, они оказывались в заключении вместе с уголовниками.

Так мама протоиерея Бориса Развеева, возрождавшего в 90-е годы собор Рождества Богородицы в Уфе, в возрасте 17 лет была арестована за опоздание на работу и послана на Колыму на 5 лет (опоздала она, потому что у нее в этот день рожала сестра). Освободившись по окончании срока, Аврора Ивановна вышла замуж там же, на Колыме, за Бориса Развеева, отбывшего в заключении 18 лет, и в честь него дала имя своему старшему сыну, будущему священнику. Мы с Авророй Ивановной вместе в начале 90-х годов разгружали кирпич для колокольни храма Рождества

Богородицы, стоя в одной цепочке. Она приветливо встречала дома несметное количество духовных чад отца Бориса, неизменно усаживала их за стол, очень вкусно кормила, но, бывало, вдруг испугавшись, что кто-нибудь из посетителей, возможно, «стучит» на отца Бориса, подчеркнуто игнорировала нежеланного гостя. Годы заключения не прошли для нее даром.

Но вернемся к событиям военного времени.

Уфа была переполнена эвакуированными, их подселяли к семьям местных жителей. Бывало, что семьи уфимцев выселяли из их жилья, чтобы разместить особо важных работников эвакуированных предприятий. Часто приезжие рыли себе землянки и жили семьями в них годами. К.М. Кастелина вспоминала, как к их семье в комнату подселили семью с двумя парнями из Рыбинска, которые ездили на работу с улицы Менделеева около Сергиевского собора на моторный завод в Черниковск. Можно себе представить, как они торопились на трамвай утром, чтобы успеть на работу вовремя! А ведь трамваи шли переполненными. Многие оставались ночевать на работе. Жили трудно, не хватало хлеба. На школьников выдавали в день по 50 граммов хлеба, но люди старались помогать друг другу, бывало, что делились последним с чужими детьми. Кастелина подчеркивала, что у них «никакой неприязни к эвакуированным не было». Люди жили дружно. Когда она, молоденькая девчонка, устроилась работать на почту и разносила телеграммы, часто и по ночам, ни разу никто из прохожих ее не остановил и не попытался обидеть.

В годы государственного террора, тяжелого военного времени, люди оставались людьми, но в то же время у них было чувство гнетущего страха перед властями.

Время было голодное. За несколько колосков или картофелин, унесенных с колхозного поля, давали срок. За неосторожное слово или анекдот можно было получить политическую статью.

Протоиерей Димитрий Логачевский

С 1943 года в Сергиевском храме стал служить протоиерей Димитрий Логачевский. К началу Великой Отечественной войны отец Димитрий, как и другие священнослужители, прошел тюрьмы и лагеря. Куда бы его ни высылали, везде за ним следовала его

супруга Мария: «Ведь без меня он там не выживет, у него с детства здоровье слабое». Они знали друг друга с рождения, их отцы, протоиерей Андрей Логочевский и диакон Венедикт Агров, много лет служили вместе в Христорождественском храме Бедеевой Поляны, и дети дружили. Выросли, обвенчались. Отец Димитрий стал сельским священником в 20-е годы, в разгар гонений на церковь, вскоре он был арестован, потом опять... Матушка Мария искала его по тюрьмам, делала для него передачи с продуктами, потом поехала вслед за ним в ссылку в Сибирь. Детей у них не было, и всю свою жизнь без остатка она посвятила мужу, а он – служению Церкви. После очередного срока шел вновь служить в храм. Отец Димитрий не мыслил своей жизни без литургии. По воспоминаниям тех, кто их знал, отец Димитрий и матушка Мария до самой смерти являли собой образ любви к Богу, к ближним. И друг к другу. В их обращении всегда была интеллигентность, отец Димитрий умел держать дисциплину в храме, не повышая голоса на молодых. Он приглашал всех служащих церкви к себе домой на Пасху и Рождество. Любого зашедшего в их дом человека прежде всего усаживали за стол, угощали.

Матушка Мария в конце жизни с горечью говорила Галине Старухиной, что, когда отец Димитрий был в Уфе в тюрьме, она пришла переночевать к родственнице и та испугалась: «Прости, Маруся, но не ходи к нам ночевать, у меня дети малые». Больше она ни к кому из родных не стучалась. Зачем людей подводить, и, правда, пострадать могут, ведь отца Димитрия объявили врагом народа. Спала на скамейках на речном вокзале, в других местах.

Потом Логачевские принимали радушно у себя дома всех своих родных, которые с ними боялись общаться в годы гонений, и радовались, когда кто-то из них опять начинал ходить в церковь. Так одна из младших сестер Марии, спортсменка и комсомолка, в газете отреклась от веры в Бога и от отца-диакона, бывшего в заключении, жизнь ее не сложилась, и позже она стала снова ходить в храм. Приезжала она и к Логачевским.

Когда в начале Великой Отечественной войны отца Димитрия забрали в трудовую армию, по официальным источникам он был «на строительстве оборонительных сооружений в защиту героического Ленинграда и там же получил ранение», был «отправлен на излечение в Уфу». Отец Димитрий рассказывал в

старости, что «был в штрафбате и там, куда их послали, вообще есть нечего было, только было рядом поле с мороженой картошкой. Ее и ели… В 1942 году меня вдруг вызывают в штаб и говорят: «Ты – поп?» – «Поп» – «Давай, собирайся, езжай». И его послали с фронта в Уфу, служить в Сергиевский собор. Приехал он в Уфу хромой, от нагноения на ноге пошла гангрена, от ампутации ногу чудом спасла на фронте местная жительница, накладывая повязку с березовыми листьями, и он потом всем советовал так лечить нарывы. В Уфе сначала он был в заключении «в Уфимских лагерях», маляром, с больной ногой.

Уфимские старожилы рассказывали, что на первые службы отца Димитрия приводили под конвоем солдат. Потом разрешили жить с семьей дома. Снимали жилье они в полуподвале недалеко от храма. Матушка Мария стала в военное время передовой швеей, она шила рукавицы для фронта. Хотя в Уфе не было такого голода как в блокадном Ленинграде, но даже у Сергиевского собора была съедена вся крапива и лебеда. В годы войны в Уфе были засажены картошкой и овощами все пригодные для этого места. Матушка Мария занималась огородничеством, садоводством. У нее были золотые руки, и она всегда «могла из ничего сделать вкусный обед». Она выходила еле живого от истощения мужа.

Отца Димитрия вскоре назначили настоятелем Сергиевской церкви и он стал помогать владыке Стефану вновь открывать храмы в Уфимской епархии.

Как открывали вновь храмы в годы войны

В годы войны священников и монахов освобождали из заключения далеко не всех, комиссовали инвалидов и стариков, а многих священников из лагеря посылали сразу на фронт. Не прекращались аресты и священнослужителей, еще остававшихся на свободе, за тайные совершения треб и богослужений на дому у верующих.

«Гонения не прекращались. Так иеромонаху Иоасафу (Миронову) к 10 годам лагерей в 1944-ом добавили еще 5 лет. Небольшие поблажки властей, выражавшиеся в открытии всего 9-ти храмов [в Уфимской епархии], никак не отражали насущных духовных потребностей значительной части населения.

Стали поступать ходатайства верующих об открытии храмов. К 1944 году таких ходатайств (по Башкирии) было уже 58. Семь из них было удовлетворено. В Уфе в 1943 году была открыта вторая церковь, Крестовоздвиженская. Открыты были церкви в селах Байки, Силантьево, Константиново-Александровка, Ново-Петровское, Иткули, Знаменка, Ломовка, в г. Белорецке. За 1944-48 гг. было подано более 150 заявлений об открытии церквей, из которых удовлетворено было 34. Такое соотношение – всего 7 ходатайств удовлетворено из 58 к 1944 году, 34 – из 150 в 1944-48 годах было не случайным. «В 1944-45 годах в целом по СССР было удовлетворено всего около 17% ходатайств», – писал протоиерей Владимир Сергеев.

Открытие храмов тщательно дозировалось властями, все бумаги пересылались для окончательного решения в Москву, в этой волоките порой проходило до трех лет. Зато списки людей, ходатайствующих за открытие храмов, с указанием их точного адреса, и сейчас хранятся в архивах. А в годы войны люди, подписывающие такие ходатайства, знали, что могут поплатиться за это годами заключения или жизнью.

208 ходатайств от групп верующих было в годы войны об открытии православных храмов в Башкирии, а закрыто их было в советское время, по свидетельству историка Павла Егорова, более 700. 208 ходатайств – много это или же мало? Ведь нужна была не только личная храбрость людей, ставивших подпись под заявлением. Когда повсеместно закрывали храмы в 30-х годах, то от местного руководства требовали, чтобы церковные здания не оставались пустыми, а сразу же были заняты под клуб или под школу, детсад. Церковная утварь, иконы сразу же вывозились или уничтожались тут же.

Подавая заявление об открытии церкви, люди брали на себя обязательства на свои средства восстановить, а чаще заново построить храм или молитвенный дом, собрать заново церковную утварь, иконы, которые удалось спрятать по домам при разорении прежнего храма. Надо было платить налоги на церковь, участвовать в сборе средств для фронта, когда дома были свои голодные ребятишки. И от зари до зари эти люди, женщины и старики, работали на колхозном поле или в городе на производстве.

Руфина Ключникова вспоминала, что, когда в Башкирии стали открываться храмы во время войны, «налоги на них были кошмарные», и отец Ксенофонт ходил с ее братом, Георгием Черных, и Николаем Чигвинцевым, будущим старцем Моисеем Уфимским, деньги зарабатывать на налоги, они печки клали. Отец Ксенофонт, наверное, вообще не спал. Все время служил, работал.

Священнослужителей катастрофически не хватало. «В начале 1945 г. все православное духовенство Уфимской епархии состояло из 23 священников и 2 диаконов. Возрастной состав священников был следующим: до 40 лет – 1 человек, от 40 до 50 лет – 3 человека, от 50 до 60 лет – 3 человека, от 60 до 70 лет – 12 человек, старше 70 лет – 4 человека. Оба диакона были старше 70 лет». Не случайно художнику Петру Храмову запомнилось, что в Сергиевском соборе его в военном детстве крестил «очень старенький священник». Возвратившиеся из тюрем и лагерей, священники были изможденными и седыми. В 50-60 лет они выглядели стариками. Но на церковной фотографии 1944 года их лица светятся от благодати, а праздничное убранство храма радует глаз.

Архиепископ Стефан (Проценко)

Степан Проценко учился в Киевской духовной академии на 3-м курсе, когда в 1918 году она была закрыта, и он окончил историко-филологический (или по другим данным историко-археологический институт) в 1922 году. В это голодное время, время усиленных гонений на церковь, он принял священство, а затем монашество, и вскоре стал архимандритом, потом епископом. Прошел тюрьмы и лагеря. Он не проводил без богослужения ни одного воскресного и праздничного дня, служа и в городских, и в сельских храмах. Всегда много внимания уделял благоукрашению собора. Был отзывчивым, добрым человеком, любил детей, никто из посетителей не уходил от него, не получив утешения, о нем шла молва как о «благостном владыке». Эти черты его характера, отмеченные впоследствии харьковским протоиереем Евгением Садовским, были присущи ему на протяжении всей его жизни. Ни годы, проведенные им в заключении, ни тяжкие условия жизни военного времени не изменили его взглядов на служение в церкви.

Он требовал от себя и священников не только благоговейной уставной службы, но и непрестанной работы над собой. Он писал в «Памятке священнослужителя»:

«Проводи жизнь чистую и нравственно безукоризненную, потому что пример скорее влияет и оставляет в душах пасомых несравненно более глубокий след, чем самые красноречивые поучения и длительные наставления…»

«Твердо помни, что, если дело Христово во вверенной тебе пастве падает, то ответственность за это ложится только на тебя, ибо твоему попечению вверены драгоценные человеческие души, а потому будь особенно бдителен к себе, – будь трезвым, честным, смиренным, кротким, целомудренным, примерным семьянином и любвеобильным. Как «добрый пастырь», ты должен, по слову апостола, быть «всем вся» и делить с твоей паствой как радость, так и особенно горе, – «где горе слышится, будь первым там…»

Его «Памятка священнослужителя», насчитывающая 9 подробных разделов, была опубликована в «Журнале Московской Патриархии» в 1947 году и стала основой «Пастырской этики», предмета для обучения в семинарии, разработанного позднее. Она напоминала новому поколению священнослужителей, пришедших после войны на смену потомственным священникам, погибшим в тюрьмах и лагерях, о многовековых традициях служения Богу и людям – от преподобного Сергия Радонежского до скромного «батюшки Сергиевского», отца Федора Троицкого, и сонма других.

Были слова в этой памятке, явно написанные в военные годы.

«Свято исполняя вверенное тебе служение Богу, не менее добросовестно выполняй и свой гражданский долг, неуклонно воспитывая в своих пасомых любовь к Отчизне.»

Вот свидетельство тому из хроники военных лет: «Ко дню проведения праздника Пасхи 16.04.1944 г. архиепископ Стефан Уфимский вечером в Сергиевской церкви произнес речь: «Гитлер – враг христианства и всего человечества». Специальные молебны о победе над врагом были проведены в Сергиевской и Крестовоздвиженской церквах Уфы. Общее количество присутствующих в обеих церквах и оградах около 2500 человек всех возрастов». Любовь ко Христу и любовь к Отчизне здесь были явлены неразделимо.

Возможно, именно в этот торжественный пасхальный день и был сделан в 1944 году снимок священнослужителей и детей в Сергиевском соборе. Такое праздничное убранство храма бывает на Пасху или на Троицу, скорее, на Пасху.

Помощь Церкви фронту и госпиталям

В архивах сохранились документы военного времени. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Н. Козлов, назначенный в 1943 году, писал в отчете: «По Уфимской епархии Русской Православной Церкви по двум церквам и по двум молитвенным домам за период с 22.06.1941 по 1.07.1944 г. патриотическая деятельность в материальном выражении была следующей:

1) собрано духовенством и верующими на цели обороны деньгами – 442048 руб.;

2) собрано духовенством и верующими на подарки в Советскую Армию деньгами – 286200 руб., продуктами и вещами – 630 руб.;

3) собрано духовенством и верующими больным и раненым в госпитале деньгами 10000 руб., различными предметами – 50 р.;

4) собрано духовенством и верующими на помощь семьям воинов Советской Армии – деньгами 54500 руб. Итого: деньгами – 792748 руб., натурой – на сумму 680 руб.».

В 1944 году, «в Башкирии разразился сильнейший голод, а тем временем епархия сдает более 1 миллиона рублей в фонд обороны, оказывает помощь госпиталям и семьям погибших», – писал священник Владимир Сергеев.

«За патриотизм и материальную помощь делу обороны церкви Сергиевская и Крестовоздвиженская г. Уфы, Татьянинская г. Стерлитамака и Троицкая г. Белорецка были удостоены благодарности Главнокомандующего И.В. Сталина».

3 июня 1944 г. архиепископом Стефаном (Проценко) была получена телеграмма с благодарностью Сталина верующим Сергиевской церкви г. Уфы, собравшим 200 тыс. руб. в фонд Обороны Союза ССР и 140 тыс. руб. на подарки воинам. В 1945 г. настоятелю Сергиевской церкви протоиерею Дмитрию Андреевичу Логачевскому, а также всему духовенству и верующим Сергиевской церкви была вынесена благодарность командования

госпиталя № 4018 за переданные в госпиталь средства, подарки и помощь раненым. В 1946 г. весь причт церкви награжден медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Только за 1945 г. приходом Сергиевской церкви было пожертвовано 119500 руб. Неоднократно благодарности за патриотическую деятельность получались от руководящих органов Кировского района и от госпиталей. Протоиерею Логачевскому, а также всему духовенству и верующим Сергиевской церкви была вынесена благодарность командованием госпиталя № 4018 за переданные в госпиталь средства, подарки и помощь раненым.

«Приход Сергиевской церкви по своим пожертвованиям занимает первое место среди остальных приходов Башкирской АССР. За период 1945 года по настоящее время приходом Сергиевской церкви было пожертвовано 919500 рублей, приобретено облигаций на сумму 300000, сдано облигаций в государство на 240000 рублей».

Церковная жизнь в Сергиевском соборе

В Сергиевском соборе в военное время на богослужениях пели три хора. По воспоминаниям Л.М. Курамшиной, в правом хоре пели профессиональные певцы, эвакуированные из Москвы и Ленинграда. Ее детская память запечатлела, что «там были две тети Кати, заслуженные артистки из Москвы, тетя Катя большая, у нее был дискант, сопрано, у тети Кати, которая была поменьше, был альт, а тенора были из Ленинграда». Фамилии их она не запомнила.

На левом клиросе пели монахини, добравшиеся до Сергиевского храма из своих разрушенных монастырей и снимавшие, а потом и покупавшие вскладчину комнаты в частных домах вокруг Сергиевского собора. Сама Лариса Курамшина росла в семье отца Димитрия Логачевского, она была племянницей его жены и с шести лет пела на клиросе в храме. Она вспоминала, что с ней «целый год занимался регент правого хора Федор Иванович, композитор из Москвы», для того, чтобы маленькая Лариса могла выходить на клиросе петь соло «Да исправится молитва моя». У нее был сильный и чистый голос, дискант.

В Сергиевском соборе был и отдельный детский хор из пяти человек, руководил детским хором Николай Михайлович Черных,

сын расстрелянного священника и сам впоследствии священник. Руфина Ключникова, его сестра, пела на клиросе Сергиевского храма с восьми лет. Она вспоминала, что дети пели на ранней литургии, и что «архиепископ Стефан (Проценко) очень любил наш детский хор и приходил на раннюю службу, чтобы послушать наше пение». У всех детей из семьи Черных были красивые сильные голоса, в отца. Они любили церковь. Руфина и ее старшая сестра Нина (впоследствии схимонахиня Рафаила) многие десятилетия пели на клиросе Сергиевского собора. Преподобный Моисей Уфимский часто бывал в их доме еще с довоенных лет, он помогал вырастить в трудное время детей, давал деньги, продукты, укреплял их духовно. Почти каждый день прибегал он проведать семью Черных, ведь мать все время была на работе. А отец Моисей любил детей, и дети любили его. Георгий Черных ходил вместе с ним и игуменом Ксенофонтом класть печки. На Пасху и Рождество в Сергиевском соборе тайно устраивали для детей праздники, ребятишки ходили колядовать по домам священников. Поминала добрым словом Руфина Ключникова и регента Федора Ивановича: «Федор Иванович – очень хороший был человек, но его, бедного, мучили, часто таскали к уполномоченному, и он рано умер. Их всех мотали-мотали, и отца Дмитрия, и отца Моисея, потому что очень уж много человек стало к ним в церковь ходить. Уж больно люди они были хорошие». Отец Ксенофонт помимо службы все больше молчал, «за день скажет несколько слов и все». К 65 годам он стал абсолютно седым и выглядел стариком. У него все сильнее болели ноги. Хотя его в 1943 году наградили саном игумена, а в 1944 году пришла телеграмма с благодарностью Сталина за помощь фронту всем верующим Сергиевского собора, но к ним продолжали ходить милиционеры и вели себя нагло. В любую минуту священники могли ожидать ареста. Храмы, открытые во время войны, были под надзором властей. После каждого прихода милиции отец Ксенофонт зычно кричал местной монахине: «Нюрка, суши сухари, да побольше».

Кто же был регент Федор Иванович, о котором все вспоминали с такой любовью? На Сергиевском кладбище в одной ограде с могилой игумена Ксенофонта (Синютина) стоит еще один крест с надписью «Феодор Иванович. 1868-1944». Почему они похоронены в одной ограде? Ведь отец Ксенофонт умер в 1959

году. У отца Ксенофонта был брат, которого звали Федор Иванович, все братья Синютины с детства пели на клиросе, у них в крестьянской семье был целый домашний оркестр – от балалайки до скрипки. Родные рассказывали, что у всех братьев были золотые руки, они сами строили себе дома, толково хозяйствовали на земле – «прямо как фермеры», и их всех потом раскулачили. Но о судьбе Федора после 1932 года ничего не известно. Может быть, он тайком перебрался в Москву? Но Федор Синютин родился в 1886 году, а не в 1868. Тогда на кресте написана дата с ошибкой? И почему на кресте не указана его фамилия, он скрывался? Но фамилия не указана и на кресте игумена Ксенофонта. Таблички на крестах, похоже, сделаны позже и написаны одним почерком. Может быть, просто на прежних табличках фамилии стерлись, а с течением лет и забылись? Здесь много вопросов. Возможно, кто-нибудь из краеведов еще сможет дополнить эту страницу истории Сергиевской церкви, найдя более полные списки эвакуированных в Уфу музыкантов. Среди архивных материалов Сергиевского собора сведений о тех, кто пел на клиросе в годы войны, не обнаружено.

Преподобный Моисей Уфимский

Имя преподобного Моисея (Чигвинцева) неразрывно связано с историей Сергиевской церкви с начала 30-х годов. До принятия иночества он носил имя Николай, работал на железной дороге, приходил на богослужения раньше всех и уходил позже всех, мечтая стать монахом. Но все монастыри были уже закрыты. Старенький странник вручил ему большой деревянный крест и сказал никогда не снимать его. Так и ходил Николай с большим крестом на груди, в деревенском кафтане, в лаптях, терпя на улице насмешки и оскорбления от взрослых и от детей. В тридцатые годы, когда везде уже вовсю шли гонения на церковь, он поднял на себя подвиг юродства.

В 1936 году Николая Чигвинцева призвали на срочную службу в армии. Он стал дисциплинированным солдатом, но когда у него отобрали Евангелие и крест, он потребовал их вернуть и объявил голодовку, не ел, не пил, не вставал с койки, отказываясь без них выполнять приказы. Его отправили в психиатрическую больницу в Уфе. И хотя ему в больнице сразу выбили зубы, но вскоре выяснилось, что в его присутствии успокаиваются самые

буйные больные. Он помогал разносить еду по палатам, мыл посуду и чистил снег во дворе, на повозке с лошадью доставлял в больницу воду и хлеб, его одного стали выпускать за стены больницы. Врачи понимали, что у него психических заболеваний нет, и что сидит он за веру. К нему в психиатрическую больницу стали приходить люди за духовным советом. Его лечащий врач, татарочка, тайно приняла православие.

Из психиатрической больницы его взяла на поруки – под расписку – та же матушка Маргарита (Чумакова), бывшая игумения Бугабашского монастыря, которая хлопотала и об открытии Сергиевского собора. В армию Николая Чигвинцева после психиатрической больницы больше не мобилизовали, он работал чернорабочим и помогал отцу Ксенофонту во всех его трудах.

По воспоминаниям Руфины Ключниковой, в 1940 году Николай Чигвинцев уже работал сторожем в Совбольнице и в свободное время бывал на службах в Сергиевском соборе, скромно стоя у входа в храм. Но люди замечали все больше, что слова сторожа с детскими голубыми глазами сбываются, и все больше обращались к нему за советом.

В 1944-45 годах матушка Маргарита (Чумакова) устроила Николая Чигвинцева сторожем в Крестовоздвиженский храм, где она стала церковной старостой. Вскоре оттуда его забрали в Сергиевский собор, где он и принял столь долгожданный постриг. Протоиерей Димитрий Логачевский и игумен Ксенофонт (Синютин) хлопотали о нем перед новоприбывшим на уфимскую кафедру владыкой Иоанном (Братолюбовым), сменившим архиепископа Стефана (Проценко), которого перевели на Харьковскую кафедру. В 1945 году Николай Чигвинцев стал монахом, затем иеромонахом, приняв в монашестве имя Моисей.

Строгий пост и молитва в жизни отца Моисея были очень похожи на афонский устав в жизни отца Ксенофонта. От зарплаты он отказывался в пользу других монашествующих. Многие монахини пели на клиросе бесплатно, работая санитарками в госпиталях или на другой тяжелой мало-оплачиваемой работе. Им нужно было платить за жилье.

У отца Моисея своего жилья не было, он жил в церковной сторожке, потом в сараюшке, в старой баньке. Толком не спал, полусидя подремлет, и все. Когда захотели его в архиерейский дом

поселить, то он не согласился: «Куда мне, убогому!» Согласился он жить там только в подвале. Спал он на досках, подложив под голову чурбачок.

Так он делал до самой старости. Два раза в жизни духовные чада строили и дарили ему дом, но каждый раз он отдавал его молодым женатым священникам. Протоиерей Борис Развеев рассказывал, что как-то в отсутствии отца Моисея он решил прилечь на его топчан и крепко ударился головой о чурбак в наволочке. Да и под стареньким покрывалом чувствовались доски.

Постился отец Моисей смолоду так, что первый раз в день ел в три часа дня. Куска черного хлеба, двух картофелинок и одной луковицы ему хватало на день, иногда добавлял он немного квашеной капусты или огурец, чеснок или квас. Чай он не пил никогда. Еду, которую приносили ему, он раздавал детям или нуждающимся матерям семейств. Не разговлялся он даже на Пасху, а в первую неделю Великого поста и в Страстную седмицу ничего не ел. В войну, бывало, подолгу он обходился одним куском хлеба.

Матушка Мария Логачевская, когда он заходил к ним, всегда пыталась его заставить хоть что-нибудь съесть, но он отказывался. «Мы послушники, я уже съел просфорку и сыт», – говорил он. Отец Димитрий вздыхал: «Он же голодает»! И записал даже потом, в 1954 году, в личном деле отца Моисея, что «он имеет некоторые странности. Старается выполнять правила Василия Великого [аскета-подвижника четвертого века]. Как помощник незаменим». А через год отец Димитрий записал в его личном деле просто: «Истинный монах-аскет».

«Среди вас живет подвижник четвертого века», – сказал об отце Моисее патриарх Алексий I, когда за одним с ним столом изо всех яств выбрал отец Моисей гроздочку винограда, взяв по незнанию ее вилкой, чем вызвал смех у гостей. «Не смейтесь, – строго сказал Патриарх, – среди вас живет монах четвертого века».

Отец Моисей проводил время в непрестанном труде и молитве. Он с детских лет был кротким, но на исповедь и причастие в начале его служения к нему подходить боялись, ведь он мог выкрикнуть на весь храм своим звонким тоненьким голосом: «Я не допускаю Вас до причастия, вы не сказали вот этот грех!» Дар прозорливости проявился у него рано, и порой он не мог сдержать горьких слов, не зная еще, что человек растет из меры в

меру, и постепенно дается ему видение своих грехов. Поэтому поначалу «все шли исповедоваться к отцу Ксенофонту, он добрый был, всех допускал до причастия», а к отцу Моисею идти боялись. Это была хорошая школа. Отец Моисей учился у игумена Ксенофонта быть требовательным к себе и милостивым к другим, учился говорить людям то, что им поможет стать лучше, а не вгонит в уныние. Это были отношения старца и ученика, ставшего впоследствии старцем.

«Я увидел неискажённое лицо Родины – милосердное, простое и вечное…»

Сохранилось описание Сергиевской церкви военного времени в автобиографическом романе «Инок» художника Петра Храмова.

«Несколько раз, возвращаясь из детсада по вечерам, я слышал плывущее из неё непривычное, совсем не похожее на радиомузыку, стройное, тихое и ласковое пение. Я полюбил это пение поразительно быстро, и оно уже не мнилось мне странным, а казалось естественным, как звуки жизни, и изначально родным, как глаза матери. У ограды садика, росшего у церкви с трёх сторон, я останавливался, бывало, чтобы послушать это пение и ещё раз испытать благость сердечной растроганности. Дабы меня не заподозрили, что я слушаю именно церковное пение (как же, сын учительницы – позор), мне приходилось перешнуровывать ботинки или нетерпеливо озираться, делая вид, что я кого-нибудь поджидаю... Я приучался жить в родной стране, как в тылу врага – таинственно, скрытно, молчаливо».

Это свидетельство современника важно. Хотя во время войны власти разрешили временно открыть часть храмов, но отношение государства к церкви как «к религиозным предрассудкам», подлежащим искоренению, не изменилось, даже слушать церковное пение считалось «позором» и могло повредить родителям. Это понимали даже детсадовцы.

А вот как описывал Петр Храмов свое крещение в Сергиевской церкви в 1945 году. «Мы подходили к церкви. С каждым шагом она становилась всё больше и больше, и я невольно залюбовался ею: была она бирюзового цвета, стройненькая с густо-синими куполами и ажурным крестом, который сиял в ясные дни, а сейчас выделялся сложными и тёмными своими узорами. У самого

порога храма мы остановились. Елена Григорьевна присела передо мною, оправила моё пальто и сказала, что сейчас меня будут крестить. Заметно волнуясь, она призвала меня к спокойствию и пояснила, что так делали со всеми русскими людьми сотни и сотни лет, что после крещения я стану настоящим русским мальчиком, и всю оставшуюся жизнь меня будет вести и защищать Бог. Я вообще доверял Елене Григорьевне – доверял её доброте и незаметности, и тому пристальному вниманию к маленьким традициям жизни, которое так ценится детьми – и поэтому послушно кивал и её словам, и той интонации, с которой приобщают слушателя к хорошей и важной тайне. Смутившись горячей благодарностью, я глянул ей в глаза – она была первым человеком, который не отделил меня, такого маленького, от того немыслимо великого, что называется Россией и христианскою её верою. Я почувствовал, что она поняла мой взгляд и как-то жалко растрогалась.

Мы вошли в храм. Я – первый раз в жизни. Елена Григорьевна сняла с меня картузик и не машинально, а вроде благословляюще, замедляя движение руки, пригладила мне вихры и, попросив обождать, куда-то ушла, озабоченно ссутулившись. Я огляделся и вздохнул: было красиво, но очень уж непривычно. Дома я видел голые беленые стены, на коих висели два отцовых пейзажа и портрет Сталина. Поэтому отсутствие чистых, не изукрашенных пространств показалось мне странным.

Я осматривал обилие красот, но невнимательно – предстоящее событие меня волновало. По этой причине я не отчётливо помнил обряд крещения: смутно помнилось, что сначала меня обнажили и поставили в таз с водою, потом очень старенький священник попросил меня присесть и поливал меня святой водою из очень красивого ковшика. Я хорошо помнил холодную щекотку воды, озноб моего стыда и слёзы растроганности в глазах Елены Григорьевны. Она стояла с новеньким белым полотенцем наготове и тотчас же по окончании обряда вытерла меня, приговаривая что-то одобрительно-облегчающее […]

Впервые в жизни мне захотелось всплакнуть не от обиды, а слезами умиления и добра. Что говорить, такие мгновения (или воспоминания о них) и привязывают нас к этой жизни. Священник надел на меня оловянный крестик. Перед выходом из храма Елена Григорьевна дала мне денежку. Когда мы вышли под громадное

небо, я понял для чего – на ступенях крыльца сидела бедная женщина, с укутанным в тряпье ребёнком. Она тихонечко пела. Около неё стояла кружечка. Елена Григорьевна опустила (именно опустила) в неё свою денежку, я – свою. По дороге домой я впервые назвал Елену Григорьевну крёстною. Мы бодро шли по тугой весенней грязи, и было нам хорошо обоим. Мы знали, что участвовали в деле несомненном и праведном, а я чувствовал – чувствовал, что через немыслимо сложные отражения времён и судеб не столько взором, сколь догадкою души увидел, впервые в жизни увидел неискажённое лицо Родины – милосердное, простое и вечное. Я впервые понял, что моя Родина – это не только гордый, алый, отважно взметнувшийся, несдающийся флаг, но и смирнёхонько притулившаяся нищенка, поющая колыбельную.

В общем-то (как я сейчас полагаю) произошло чудо: пшеничное зёрнышко догадалось, что оно – часть бывшего и, может быть, будущего урожая. Дома крёстная, медленно и волнуясь, рассказала маме и бабушке о «таинстве» и сняла свои руки с моих плеч. Важные и сильные места из её рассказа я дополнял жестами и мимикой. Нас выслушали и поздравили без особого воодушевления. Мама спросила, не видел ли нас кто – она боялась, что сознательные граждане донесут «о религиозных предрассудках» и у неё будут неприятности в школе и техникуме, где она работала по совместительству. С несвойственной ей твёрдой суровостью, крёстная, не глядя на маму, сказала одно только слово «нет». Потом мы впятером попили шиповнику и стали ждать вечерней сводки фронтовых новостей. Ожидания наши были не напрасны – Берлин пал».

Маленький Петя Храмов, приняв крещение, почувствовал себя частью того «немыслимо великого, что называется Россией и христианскою её верою», и это чувство слилось для него воедино с победой в Великой Отечественной войне.

Он «впервые в жизни увидел неискажённое лицо Родины – милосердное, простое и вечное». Вряд ли Петр Храмов знал тогда, когда писал о вечном лице Родины, что о «лице земли нашей» говорил и его великий собрат-художник Михаил Нестеров.

Еще в октябре 1941 года, когда гитлеровцы стояли у стен Москвы, М.В. Нестеров выступил в печати с обращением к защитникам Отечества, где вспоминал лучших сынов России –

преподобного Сергия Радонежского, Минина и Пожарского, Кутузова. Они в грозные часы истории возглавляли защиту Москвы как символа русского духа, общенародной святыни. И «хотя лицо земли нашей… изменилось до основания», М.В. Нестеров призывал новых героев на защиту святыни и выражал уверенность в их победе.

Залогом победы было небесное заступничество преподобного Сергия Радонежского, игумена Земли Русской, и всех ее святых. И возвращение к неискаженному, милосердному, христианскому лику России.

Уфа, февраль 2020 г.

Пётр ХРАМОВ

Пётр Алексеевич Храмов (1939-1995) – русский писатель, художник-монументалист. Сын уфимского художника А.В. Храмова. Учился в Московском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова. Работал художником-монументалистом в Уфе и других городах республики. Автор рассказов и стихов, оставшихся неопубликованными. В 2003-2004 годах в международном журнале «Крещатик» были опубликованы главы из первой части его романа «Инок». В 2008-2011 годах в Уфе, в журнале «Бельские просторы» роман был опубликован целиком. В 2012 году в издательстве «Китап» вышло первое книжное издание романа, а в 2018 году в издательстве А.А. Словохотова – дополненный вариант с иллюстрациями и комментариями. 29 ноября 2019 года во 2-м корпусе Национальной библиотеки РБ им. А.-З. Валиди состоялись Первые Храмовские чтения.

ИНОК
(Фрагменты из романа-воспоминаний)

Сидели мы однажды при свечке, ждали маму из школы и вечернего радиосообщения о положении на фронтах. Бабушка стояла у карты Европейской России, которая была утыкана булавками с флажками, кои она, сообразуясь с обстановкой, перекалывала с выражениями весьма разнообразными – судьба

русской армии (бабушка никогда не говорила «Красная Армия») болезненно её волновала. Составив себе мнение, бабушка подошла к окошку, увидела «звёздоньку» и спросила: «Ну, что нам сейчас скажет Левитан, вещунья моя милая?». «Мигнула», - сообщила бабушка с ироническою значительностью и, подойдя к круглому чёрному радио, сжала руки и стала, глядя в пол, ждать. В положенное время «тарелка» ожила и бодрым голосом стала перечислять бои и сражения, населённые пункты и города, а потом стала называть фамилии и звания полководцев. Я сидел у печки и «мусорил» - выстругивал из чурки очередной пистолетик. Вдруг я заметил, что бабушка очень взволнована – ходит, сжимая и разжимая руки, то кутается в шальку, то её снимает… и приласкала меня как-то рассеянно. Наконец пришла мама с двумя стопками тетрадей. Бабушка с несколько напряжённой торжественностью села за стол и сказала: «Галя…» Потом, перебарывая волнение, погладила рукой клеёнку и, вроде бы цитируя радио, сказала: «Сегодня нашими героическими войсками…», но не сдержалась, заплакала. Потом, утирая слёзы, но не убирая морщин со лба, почти спокойно сказала: «Наши Ростов взяли». Мама положила тетради и перекрестилась. Я впервые видел, чтобы она при мне осенила себя крёстным знамением. Да, перекреститься – совершить тысячелетний жест предков - можно было лишь втайне от доверчивого простодушия собственных детей. Но мама, конечно, напрасно беспокоилась: я, как и все дети, был гораздо проницательнее, чем предполагалось, и совершенно ясно сознавал, что о тёплой глубинной внутрисемейной нашей жизни в мире внешнем и поверхностном нужно помалкивать. Странно, но именно скрытность внутреннего моего характера породила простецкую открытость характера внешнего.

* * *

Рядом с высоким, стройным и розовым нашим теремом распласталась похожая на барак лесопилка – организация весьма разнообразная: от работников – мрачная, от пил – звонкая, от опилок и стружек – пахучая. Сырьё для этого предприятия приплывало по Белой в виде бесконечно длинных плотов и доставлялось под пилы способом совершенно варварским. Несколько брёвен связывались цепью, и две лошади по бокам их

тащили «долготьё» вверх по довольно крутой горе. Связку из трёх брёвен лошади влекли споро и даже хвостами помахивали от возбуждения, хотя упирались, конечно, и шеи выгибали с напряжением. Так бы работать и работать, но нет. Погонщики лошадей, как и все нетерпеливые натуры, воображение имели извращённое и мятежное: почти постоянно будучи «выпимши», они наивно полагали, что чем больше связать брёвен и чем страшнее погонять лошадей, тем работа пойдёт успешнее. Укреплял их в этом заблуждении и парторг лесопилки, человек нечеловеческой энергии, словом своим пролетарским, страстью своей партийною. «Больше связывать бьёвен и стъоже с этими клячами, бить их и бить, и план, и план, а вам, товаищи, – пьемиальные», – грассируя, скандировал он, за чудовищным неимением времени справляя малую нужду тут же на берегу, даже не отворачиваясь.

Угрюмые погонщики безнадёжно смотрели на его срам, мысленно сопрягая его вид с будущими своими дивидендами. Повинуясь воле партии и химерам своего невежества, мужики-фантазёры связывали вместе пять, семь и даже девять брёвен. Мат и побои увеличивались соответственно. При девяти брёвнах лошади явно надрывались, но погонщики невменяемо гнали и гнали их вверх похабными воплями и истязаниями.

Господи, как же они их били: мученически вытягивая шеи и тыкаясь губами в грязь, лошади падали на колени, а потом валились на бок в конвульсиях, хрипели, их кроткие глаза выкатывались и, глядя в одну точку, замирали в горестном и недвижном недоумении. Тут погонщики с «широким русским надрывом» картинно бросали оземь кнуты и, матерясь до пены, ее, лежащую, избивали уже сапогами, светясь особым пролетарским сладострастием. А она, не владея уже телом, вздрагивала только кожей, и отрешенный ее взор, вроде бы намекая на мольбу, по-прежнему оставался неподвижным, даже когда появлялась кровь.

Сердце мое разрывалось – я мучился не меньше четвероногих своих братьев. Ведь это ясно как день: три раза по три бревна гораздо быстрее, чем один раз по девять брёвен. «Так же быстрее» - говорила бабушка истязателям, показывая на отвергнутую связку из трёх брёвен. «Просто быстрее», - повторяла и повторяла она с нервическим подёргиванием головы и, нелепо, смешно и жалко сжимая мощные свои ладони, умоляюще глядела на стоящих

животных, опасаясь глянуть на распластанное живое существо. Засуетилась. Потерялась. Отчаялась. Наконец, бабушка взяла себя в руки, «успокоилась» и вместе с одним пожилым башкиром с трудом помогла лошади встать на ноги. И та стояла, родимая, пошатываясь, растопырив ноги, в крови, сначала низко-низко опустив голову, а потом, приподняв её, всё-таки держалась, слабо помаргивая и как бы ища точку опоры.

Как я понял значительно позже, зрелище это было весьма символическим: бабушка стояла перед «народом», просто–таки олицетворяя трагедию русской интеллигенции, – в шляпке (нарочито барской), в чёрном, «ещё из Ростова», штопаном-перештопаном английском костюме, таковых же «счастливых» перчатках, в пенсне, с завитым маленьким локончиком около большого уха - потерянным изумлением перед бессмысленной жестокостью и родственным состраданием к живому существу. На глаза её наворачивались слёзы бессилия – её было жалко не меньше лошадей. Она говорила с «народом» о добре. О, господи! Меня почти до озноба трогали её деликатное заступничество, вежливая попытка лицемерия: «Вы же советские люди», её верность своему классу в чувствах, поступках, манерах, даже в облике своём, для окружающих чуждом и нелепом, «не нашем».

Внезапно на крыльцо лесопилкиной конторы выскочила девчонка и радостно выкликнула фамилии кнутарей с приглашением на партийное собрание. Раздумчиво матерясь, беспощадные люди поплелись в административные чертоги, оставив лошадей на попечение пожилого и озабоченного башкира. Между ним и бабушкой тотчас же начался осторожный, нащупывающий вероятную степень доносительства, но дружелюбный разговор.

Мне скучно было их слушать, и я занялся внезапно появившимся Лобиком, заметно подросшим за время нашего знакомства. За это время сам собою выработался ритуал наших встреч. Увидев Лобика, я обязан был упасть оземь, раскинуть крестом руки и «умереть». Лобик же должен был, вихляя хвостиком, взобраться мне на грудь, громко обнюхать и заскулить. Тут я должен был внезапно вскочить, взвизгнуть и носиться кругами, а Лобик за мной. Замечательно. Это – если сухо, если же сырость и грязь, то я просто пожимал ему лапку, а он, прикрывая

глаза, подставлял мне горлышко – чесать. Так было и на сей раз: я присел на бревно рядом с пожилым башкиром и бабушкой, слушал мерный успокоительный тон их беседы, почёсывал Лобикино горлышко и поглядывал на свой тополь, не вдруг его узнавая. После сильного и горького напряжения с лошадьми и унижений бабушкиного заступничества душа как-то успокаивалась, вроде уютно укладывалась где-то в глубине меня, и всё окружающее, казалось, снова появилось на свет и не совсем таким, как обычно, а вроде проще, понятней, родней.

Но всё же что-то томило краешек души, что-то надсадно её тревожило. Я догадался – злоба. А бабушка, едва я научился говорить, всегда внушала мне, что злоба, направленная наружу, – яд, и она перестаёт быть ядом, если направлена вовнутрь, против своих грехов. Я встал, походил, нашёл средь штабелей долготья укромный уголок, где меня никто не мог видеть, огляделся и освоился. Лобик обнюхал все углы и сел, подняв ко мне мордочку. Я встал лицом к брёвнам, закрыл глаза и помолился, уж как умел, помолился за кротких и несчастных лошадей и за буйных и несчастных их обидчиков. Вроде бы полегчало.

Не без таинственности выбрались мы с Лобиком из древесного лабиринта, и я опять сел на брёвнышко и опять стал смотреть на свой тополь. Я смотрел на невесёлую и негрустную его естественность, на серенькое наволочное небо и его неяркий свет покоя над этой неяркой и простой землёй. И в душе моей творилось что-то простое, неяркое и тихое. И Лобик рядом сидел тоже тихонький. И вдруг где-то слабо почувствовалось солнце – всё изменилось вокруг, и показалось, что небо хочет что-то сказать, но стесняется; или Господь, подумалось мне, так улыбчиво ответил на мою молитву и молчаливо призвал к терпению.

* * *

О немцах я слышал ежедневно: соседи говорили о них как о стихии, которая вроде дождя - когда-нибудь все же кончится; радио же упоминало о них тоном совершенно непонятным из-за вечной своей грозной и официальной торжественности. Мама о них и «слышать не хотела», а бабушка, читая в газете описания фашистских зверств, покачивала на них головою, но удивлялась не очень: «немцы же». Немцы. Я страшно взволновался поэтому,

когда в самом конце войны услышал в темном коридоре: «Вон немцев-гадов пригнали баржи разгружать, склад у нас во дворе будет». И невидимый голос добавил с плутовской шкодливой и подло усмешливой растяжкою слов: «С дровишками будем».

Я рассматривал пленных немцев с любопытством необычайным и пугливым – злодеи же, но потом, подстраиваясь под взрослых, стал корчить безразличие с оттенком «патриотической» гадливости. В глубине души мне казалось, что взрослые тоже изображали суровое своё негодование, не понимал я только, что в основе этого лицемерия многих был привычный и вездесущий страх. Запомнились немцы странными своими шинелями и какой-то особой настороженной молчаливостью. Даже на внезапный шум, обрушившуюся поленницу, например, они реагировали как-то заторможенно: поворачивали на звук не столько головы, сколько глаза. Впрочем, иногда они что-то горячо обсуждали между собой, с удивительным согласием начиная и заканчивая свой галдёж. Отдыхая, они не обменивались шуточками, не бравировали, как русские, своей усталостью, а тихо покуривали и почему-то часто смотрели на Белую.

Меня удивило, что наши конвоиры на немцев не злобствовали, - напротив, после обеда наш солдат, приподняв половник, кричал: «Добавки кому?» В ответ несмело приподнималось несколько (не более пяти из полусотни) плоских котелков. Всегда разных. Я догадался, что немцы по очереди подкармливали друг друга. Странно, но только на примере других наций – башкир, евреев, немцев - я узнал, что между людьми одной национальности существует братская и кровная связь. Русским же, как мне смутно чувствовалось, для осознания своей национальной общности требовались условия особые и противоестественные: бунт и пожар, смерть и война или, на худой конец, героическая пьянка с мордобоем. «Мы жа все свои, руски мы, ё-моё», - рыдал один слесарь с лесопилки, избитый в кровь буйными своими собутыльниками.

Эта немецкая взаимопомощь весьма меня тронула: в ту пору я был очень внимателен к еде и человеческой дружбе. И вот с одним из этих пленных я бессловесно подружился. Он казался мне очень похожим на отца, не внешностью, просто тем, что был молчаливее, печальнее других и как-то особенно одинок. Таким, казалось мне,

должен быть отец там, на войне, - печальным и одиноким, без мамы и меня. Немец, видимо, почувствовал симпатию в случайных (и не случайных) моих взглядах, и в ответ что-то смягчалось в нездешних его глазах.

Мне понравилось, что он осматривал удивительный наш дом, как дети осматривают новогоднюю ёлку, то поднимая голову для восхищения, то опуская её для уяснения виденной красы. Однажды он меня выручил.

В ту пору я имел обязанность собирать для печки щепочки и кору в большую сумку, которую с несколько мелодраматическим выражением бабушка надевала мне через плечо. Я был впечатлительным человеком с уклоном в созерцательность и, заглядевшись на пророческое отражение облаков в реке (мне многое в детстве казалось пророческим - и направление дождя, и цвет снега, и полет птиц) или на нелепую драку слесарей на лесопилке, я «забывался» и являлся домой с «непузатой» торбой, за что бабушка осыпала меня укоризнами.

Однажды, решив доказать «всем» свою «приспособленность к жизни», я украл берёзовое полешко и потащил его восвояси меж высоких белых поленниц. Преисполненный гордостью, предвкушая радостное изумление домашних, я очень торопился и вдруг наткнулся на двух немцев. Один крякнул, забормотал нечто осуждающее и рывком отобрал у меня добычу. Другой же, «мой», что-то сказав товарищу и несколько его даже потеснив, отобрал полешко, вернул его мне и как-то дружелюбно сморщился. Сначала медленно, а потом быстрее я пошёл домой, очень довольный своей «жизнеспособностью» и избранником своего воображения. Потом на белом от поленниц дворе мы встречались уже знакомыми взорами, но все равно – встречались и отводили глаза.

Я стал обдумывать план, чем порадовать мне моего заступника. Постоянное чувство голода подвигнуло меня на решение самое натуральное: я украл дома две большие (очень большие) варёные картошки, соль и тайком принёс ему. Одну картошку он протянул мне. Я отказался и ушёл домой с тихой радостью, впервые в жизни ощутив в душе тот удивительный свет, который вложен в нас Богом, но я не знал, как он называется. Выходя во двор, я всегда искал его глазами, и, если работала не его смена, мне становилось как-то скучно, даже щенки не так радовали. Я заметил, что он тоже

симпатизирует щенкам, особенно одному, степенному и важному. Однажды, тоже тайком и вроде бы между прочим, он подарил мне солдатскую алюминиевую пупырчатую пуговицу и карточку кошки. Чтобы домашние не приставали с расспросами, я спрятал подарки в сарайчике – таинственность этих отношений, безмолвная их многозначительность сильно меня волновали. И во всю мою последующую жизнь меня очень трогали вещи таинственные и невыразимые никаким человеческим словом: церковь, Родина, могила матери, полонез Огинского, посмертная маска Пушкина, рублёвская «Троица», старческий взор.

А потом немцев увезли. Я стоял на берегу и смотрел, как они грузились на баржу. Грузились чётко, строем, беспогонные их офицеры ими командовали. Уже на барже, средь толпы, я разглядел «своего». Мы встретились взглядами. Я боялся махнуть ему рукой, да и он, видимо, тоже: неуверенно приподнял было руку, но поправил только воротник и стал смотреть в сторону. Внезапно пароход закричал, захлопал колёсами и, дрогнув тросом, повлёк баржу. Я посмотрел на небо, Бог знает почему, и было на нём великое множество облачков вроде перламутровых булыжников. Я долго стоял на берегу, пока баржа и пароход не стали совсем маленькими. Как ни странно, это была первая потеря в моей жизни.

* * *

С самого начала войны, примерно раз в год, мама и бабушка получали от какой-то организации сто или двести солдатских шапок, кои нужно было выстирать, высушить, где надо починить и через ту же организацию вернуть в действующую армию. В эти дни мы жили среди шапок, они были везде - рядами, ровненькими, покорными судьбе и жутковатыми.

Однажды мы сидели с бабушкой над очередной партией шапок – она чинила, а я, польщённый доверием, помогал ей: почти торжественно. На днях наша армия начала штурмовать Берлин, и мы полагали, что эта партия шапок - последняя. Мы ещё не знали о будущей войне с Японией. Закончив чинить шапку, бабушка осматривала её со всех сторон, одобрительно поворачивая голову, потом, склоняясь над ней, как над живым существом, то место, где звёздочка, мелко-мелко крестила – «от пули» и затем передавала мне. Я должен был выдернуть белые нитки намёток, почистить

щёточкой и положить в мешок. Если бабушка не видела, я тоже старался перекрестить шапку, но уже в других местах – «для верности».

Я очень внимательно следил, чтоб ни одна шапка не осталась без нашего благословения. Работали не торопясь, но споро: кучечка белых ниток увеличивалась и мешок наполнялся. Было уютно, тихо и ласково: бабушка с доброй усмешкою рассказывала о том, как я был «маленьким», и о том, как тотчас же по объявлении войны отец повёл меня фотографировать, чтоб взять на фронт мою карточку. Посмеиваясь, бабушка говорила, что когда меня перед съёмкой прихорашивали – подравнивали «чуба» и причёсывали, я упорно зажмуривал глаза. Боялся смотреть в зеркало. Бабушка лукаво улыбалась «Ну ладно, тогда ты боялся, что волосы в глаза попадут, но вот я заметила, что ты, дурачишка, по сей день в зеркало никогда не смотришься – как собачонка на него косишься. Отчего так, внучек? - спрашивала она уже серьёзно. – Объясни, мне это интересно, ну давай». Я помолчал, помялся и, дабы прояснить вопрос, подошёл к зеркалу. Со знакомым уже выражением пережидания я смотрел в него и не мог понять, что есть общего между этим выражением и мною. Бабушка меня подзадоривала: «Ну что там за тайны такие, видимые-невидимые? Язычник ты, что ли?» - совсем уж смеялась она. Мне радостно было, что бабушка смеётся, и сам я вроде улыбался, но, ещё улыбаясь, задумался. Несколько минут ворочал я в себе очень сложные вещи, вещи невыразимые для шестилетней души, ибо то, что я считал собою, включало в себя почти всё, что волновало свежесть моего воображения. Тут были и дожди – то кроткие, то вспыльчивые, тут был и таинственный туман, похожий на божье сотворение мира, и беспощадно ясное солнце, похожее на конец его. Тут были и замедляющие жизнь матовые морозы, и убыстряющие её ослепительные ручьи; тут были и тревожащие мир мятежные птицы, и успокаивающая его, на все согласная Белая – родная моя река. Тут были и неожиданные вспышки глубочайшей, головокружительно-внезапной нежности к людям, совсем разным, даже незнакомым прохожим. Была нежность даже к тому, с чем соприкасались их душа, тело, взор; так я испытывал любовь к пальтишку (я его даже гладил), которое согревало маму, и испытывал благодарность к своему тополю за то, что мама

взглядывает на него порою, словно припоминая что-то хорошее и надежное.

И еще было одно ощущение: мне казалось в те военные времена, что совсем разные вещи – и дожди, и туманы и даже розовые солнечные снега, и задумавшиеся люди, и озябшие старушки, и важничающие щенки, и вербочки, и осиротевшие книги – всё важное и значительное, что меня волновало, было освещено (или подсвечено) неярким светом плакучей свечечки, которая, погибая и возрождаясь, светила нам всю войну в медном, стареньком «ещё из Ростова», дореволюционном бабушкином подсвечнике. Словно бы та, ушедшая из этой жизни Россия, зная о нас и о войне, посылала нам молчаливый, неяркий и, как выяснилось позднее, никогда не гасимый свет. Как я мог в неполные шесть лет объяснить бабушке эти переполнявшие меня чувства, ощущения, предчувствия, их-то я и считал собою. Но отвечать было надо, и простодушная бабушкина заинтересованность, и её искреннее любопытство к моей персоне, вероятно, впервые в жизни подвинуло меня на «обобщение». Тогда я сказал, что зеркало показывает не меня, а моё лицо. Очевидно, бабушка меня поняла: она встала, ближе подошла к окну и, слабо прищурясь, стала смотреть на мой тополь. Я тоже затих, прислушиваясь к тишине во дворе, в душе и в доме. Помолчав, бабушка сказала с той тихой, искренней простотой, которая при внешней нейтральности тона как-то неожиданно и естественно превращается в сердечность: «Я тоже так думаю». Мы помолчали немного и продолжили кроткую радость дела несомненного и полезного.

Внезапно (мы аж вздрогнули) в нашу дверь что-то сильно ударило – так сильно, что она затрещала, потом еще и еще раздались удары, сотрясавшие не только дверь, но и стены. Бабушка подошла к зеркалу, поправив маленький локончик у большого уха, поправила шальку на плечах и с «бесстрастным» лицом пошла узнавать причину грохота, необыкновенного и наглого. Резко откинув крючок, бабушка вышла в сени, я вышмыгнул следом – перед нами отступил, открыв рот, покачивая головой и делая «сонные» глаза, совершенно хмельной Афзал Гимаевич – сосед и демобилизованный воин. В новенькой гимнастёрке с множеством наград, он держал в руке помойное ведро со смерзшимися нечистотами, коим он и колотил в нашу дверь – ошмётки помоев

валялись перед нею. «Что здесь происходит? - спросила бабушка «спокойным» голосом. - Что Вам угодно, Афзал Гимаевич?».

Решив, что выражение «сонных» глаз следует изменить, Афзал Гимаевич вытаращил их совсем уж по-безумному и захрипел: «А-а, выползла, дворянская крыса, сука, падла белогвардейская, интилли–генка бродячая, испугалась пролетарского гнева. Что мне угодно? Мне угодно не жить под одной крышей с врагами народа, я – коммунист, я не могу, я кровь проливал за Савецку власть!» Далее пошли слова нецензурные, но все-таки, хоть и в истерике, он увидел бабушкин взгляд. Взгляд был очень светлый и в выражении его коммунист, очевидно, увидел что-то такое, отчего истошный его хрип перешел в неясное бормотание, закончившееся икотой и рвотой уже во дворе. Бабушка стояла чрезвычайно прямо, вроде ещё и ещё выпрямляясь, стояла спокойно, но смотреть на неё было тяжело и страшно. Не сразу бабушка вздохнула, зашла в дом, взяла веник, ржавенький совочек и стала выметать нечистоты из сеней. Увидев, что я топчусь тут в серееньких носочках, бабушка меня прогнала.

* * *

Вечером, уже после бабушкиного триумфа, поужинав, мы просто так сидели - спать готовились. Атмосфера почти бессловесной доброжелательности словно бы помогала маленькой свечке освещать невеликие пределы скромного нашего уюта. Мама первая встрепенулась от едва слышных позывных московского радио: «Широ-ка стра-на-а моя род-на-я». Бабушка встала, подошла к «тарелке», прибавила звук, стиснула могучие свои руки и замерла, ровненькая и светлоглазая. Мама сидела, приложив ладошку к губам, и медленно-медленно раскачивалась.

Долго волновала наши души государственная мелодия - очень долго. Я успел взглянуть на еле видный свой тополь. Он тоже ждал. Наконец выступил товарищ Сталин. Контраст между спокойным, бытовым тоном его речи и грандиознейшим смыслом сказанных им слов был разителен. Он объявил Победу. Снаружи послышались крики. Мы вышли в коридор. Все семьи вышли. Все двери были открыты. В каждой комнате горела свеча или керосиновая лампа. Свет был жёлтый и тёплый, тени почти чёрные и нервические. Они двигались, увеличиваясь и уменьшаясь, и, ломаясь, пересекаясь и

переплетаясь, принимали формы самые разнообразные. Казалось, что среди нас, живых, мечутся, мучаясь, тени павших на фронтах воинов. Все обнимались и плакали. Особенно тяжело было видеть, как человек из последних сил сдерживал рыдания и, не стерпев, срывался, содрогаясь совсем уж беспомощно. Откуда-то явилась брага, называемая в наших краях кислушкою. Все вышли со своими посудинками. Афзал Гимаевич, уже выпивший, был «виночерпием». Прежде чем наполнить бабушкин стаканчик, он «галантно» поцеловал ей руку, бабушка улыбнулась, сделала ему шутливый «щелбан» и, наклонившись, что-то сказала ему на ухо, кивнув головою в конец коридора. «Ярар», - сказал Афзал Гимаевич и тоже взглянул в конец коридора с мгновенным прищуром сочувствия. А в конце коридора, у открытой своей двери, стояла, прислонившись к косяку, молодая бледная женщина. Все знали, что недавно она получила «похоронку». И вот теперь стояла она у своей двери и не плакала, а смотрела и слушала, но смотрела так, что лучше бы уж она плакала. К ней и пошла бабушка, осторожно неся через толпу полненький стаканчик. Бабушка к ней подошла, наклонила, здороваясь, голову и что-то сказала. Женщина опустила взор, видимо смутилась и, отвернувшись, старалась спрятать лицо. Бабушка положила ей на спину свою руку, нагнулась к ней, и они вместе вошли во вдовью комнату. Я взобрался на картофельный ларь, чтобы лучше всё увидеть и услышать.

Говорили все одновременно и на самые разные темы, говорили и спокойно, и горячась, но единство происходящего меня поразило - я увидел человеческое братство. Впервые в жизни. Я сидел на ларе, завороженно поворачиваясь то в сторону одного, то в сторону другого разговора, и чувствовал, что все мы - родные и близкие, братья и сёстры, семья человеческая. Благости святых этих чувств я больше никогда не испытывал. Вдруг я заметил, что балякей таинственными жестами приглашает меня вниз, к себе. Я спустился. Деликатно, но настойчиво, малыш повлёк меня через людей по длинному нашему коридору. Дойдя до свободного места, он потоптался и вдруг, встав на четвереньки и расширив глаза, сказал суровым голосом: «Ав-ав-ав». Я улыбнулся, но тотчас же сообразил, что в педагогических целях мне следует поужасаться. Очевидно, это получилось неплохо: смеялся родненький балякей,

смеялся, сгибаясь от радости. Среди всеобщего напряженно счастливого говора самой, казалось, истории, как-то странно звучал звонкий его голосочек. Я пошёл восвояси. Дверь наша всё ещё была открыта. Мама с Еленой Григорьевной сидели на порожке, обнявшись и соединившись головами, тихо пели: «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться - я б тогда не стала гнуться и качаться». Это была хорошая, но грустная песня.

Я сел на наш порог и задумался: день победы я представлял себе не совсем таким - очень уж много плакали. Раньше, когда шла война и я то обстоятельно, то мельком мечтал о победе, мне казалось, что явится она как-то особенно: сияющим днём - днём бело-лимонно-голубым с трепещущими алыми знаменами и грозновесёлыми песнями. Но случилось не так, и осветилось событие тёплым, жёлтым, мирным светом свечей, изуродованным чёрными тенями, тенями мученическими.

И зазвучало событие не бравой радостью воинской доблести, а тихой печалью осиротевшей души. Потом я узнал, что такой колорит называется рембрандтовским, а песни - народными. И словно бы мудрость веков осенила простотою и скромностью сиюминутную свежесть ещё не осознанной победы. Я вошёл в комнату - бабушка стояла перед портретом Сталина и смотрела на него с выражением неизъяснимым. Я долго лежал на печке и долго не мог уснуть: в сознании моём мелькали события великого дня - мелькали с удивительной отчётливостью. Я ни в чём не мог разобраться, но чувствовал, что в моей душе этот день - навеки.

Бабушка сидела на кухне и смотрела то перед собой, то в ночное окошко. Пришла мама, окликнула меня: «Ты тут?» - и быстренько легла спать. А бабушка всё сидела и сидела перед крохотной уже свечкою, и в выражении её фигуры мне почудился стоицизм, тот застенчивый и деликатный стоицизм русской интеллигенции, который так поразил меня, когда я читал и перечитывал «Три сестры». Бабушка молчала, изредка приподнимая брови и вздыхая - молчала, но сейчас мне кажется, что она повторяла про себя заключительные слова вечной этой драмы - слова Ольги Прозоровой: «Если бы знать, если бы знать».

Храмов, П. А. Инок : роман-воспоминание
/ подготовка текста А.Н. Борецкого и О.Г. Храмовой;

предисл. П.И. Федорова; коммент. И.О. Прокофьевой, А.Л. Чечухи, Я. С. Свице. Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2018. С. 32-41, 53-56, 74-77.

СОДЕРЖАНИЕ

Фёдоров П. Наш «Бессмертный полк» ……3
Скачилов В. Вечеринка ……9
Романкевич Т. Учёба и дружба в годы войны ……..13
Сбитнева П. Годы войны ……16
Светлаков А. Моё военное детство ……23
Гончарова В. «Всем смертям назло» ……28
Белоусова О. Дядя Серёжа ……..33
Григораш Н. От Кронштадта до Курил ……45
Иванова Г. Дневник моего отца ……....48
Малкин Г. О Великой Отечественной и Великом Отечестве …….91
Пахомов Н. «Сим победиши» ……96
Иванова Э. Уфа в годы войны ……98
Курчатов В. Страницы воспоминаний ……106
Попов Б. Уфимские истории ……113
Шабанова Н. Воспоминания о себе, о времени, в котором жила …141
Морозова Н. В уфимской ссылке ……159
Каретникова И. Портреты разного размера ……177
Румарчук Л. Город моего детства ……184
Фадеева Г. Витькины голуби ……240
Ентальцева И. Стояние в вере ……..242
Храмов П. Инок ……264

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ

Воспоминания, дневники и письма уфимцев и эвакуированных в Уфу о Великой Отечественной войне

Составитель и автор
вступительной статьи: П.И. Фёдоров
Дизайн обложки
и компьютерная вёрстка: А.А. Словохотов

Подписано в печать 15.03.20. Формат 60х90/16
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman
Усл. печ. л. 17,5 Тираж 100 экз.
Заказ № 4\20

Отпечатано в издательстве А.А. Словохотова
450052, Уфа, ул. Аксакова, д. 72